3 р.
(по подписке – 2 р.)

23-1-14

ИНДЕКС 73274

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

Василий БЕЛОВ.
В кровном родстве. Рассказ.

Ирина ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА).
Побежденные. Роман. Книги 2-я и 3-я.

Сергей ЕСИН.
Стоящая в дверях. Повесть.

Михаил ВОРФОЛОМЕЕВ.
Куст шиповника. Повесть.

Валентин ПИКУЛЬ.
Судьба князя Мышецкого.

Владимир СОЛОУХИН.
Камешки на ладони.

"Дело" Ивана Приблудного (Из архивов ОГПУ – КГБ).

Арсений ГУЛЫГА.
Формула русской культуры. Статья.

Евгений ВАГИН.
Бердяевский соблазн. Статья.

Статьи Дмитрия БАЛАШОВА, Александра КАЗИНЦЕВА,
Валентина КУРБАТОВА, Олега МИХАЙЛОВА.

Наш современник, 1992, № 2, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №2 1992

ISSN 0027-823

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№2 1992

губ. г. Владимиръ.

Лица «забытой» войны





В Москве группа молодых историков объединилась для составления "Российского офицерского мортиролога, списка-справочника чинов русского офицерского корпуса, погибших и пропавших без вести в годы Отечественной войны 1914—1918 годов". Детям, внукам и правнукам солдат и офицеров двух мировых войн стало ясно, что исцелить нашу память, разрубленную на "до" и "после" семнадцатым годом, можно только одним способом — назвав поименно всех, кто честно исполнил свой долг перед Отчизной, сражаясь на фронтах Первой мировой войны, но больше семидесяти лет остававшихся забытым. Только восстановив это звено нашей памяти, которое и является мостом между "до" и "после". Итак, мы предлагаем вам заглянуть в глаза русским офицерам, сложившим головы в 1914, 1915, 1916 годах, а также обращаемся к вам с просьбой.

Если вы можете поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родственниках, погибших в 1914—1917 годах, пишите по адресу: 123480, г. Москва, ул. Героев-панфиловцев, дом 18, корп. 1, кв. 21. АЛАБИНУ Игорю Михайловичу.

На снимках: поручик П. Е. Рикман, командир взвода 13-й роты 85-го пехотного запасного полка; унтер-офицеры: Подосинников, Седов, Гвоздков, Саланин, Емдогиев. ● Командир 2-го батальона лейб-гвардии Павловского полка полковник Л. Н. Сапожников. Убит разрывом немецкого "Чемодана" в июле 1915 года. ● Поручик 14-го Финляндского стрелкового полка Н. В. Годяев. Погиб в бою на юго-западном фронте в 1915 г. ● Поручик 7-го гренадерского Самогитского полка А. В. Антонов с женой и сыном перед отправкой на фронт. Погиб в октябре 1914 года.





НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей Российской Федерации и трудовой коллектив редакции

№2 1992

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
МОСКВА

Содержание

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Исключительное право на распространение за рубежом, перепечатку, тиражирование, перевод на другие языки принадлежит МП «Русло»: 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.

Технический редактор Л. Л. Ежова. Корректор М. В. Масленникова.

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 928-32-16 (заместители главного редактора), 200-24-94 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 13.11.91 г. Подписано к печати 06.02.92 г. Формат 70×108¹/₁₆ Бумага типографская № 2 Высокая печать. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,96. Тираж 176 015 экз. Зак. 2794.

ИПО Союза писателей. 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.



МИХАИЛ СОПИН



ОДНА ЭПОХА. И СУДЬБА ОДНА...

* * *

Кем надо быть, чтобы, любя страну,
Вогнать ее
В гражданскую войну:
В разор,
В позор,
В пожар,
В братоубой,—
И славу петь
Расправе над собой?
Кем надо быть народу самому,
Чтоб называть
Свободою
Тюрьму
И восторгаться подвигом, —
Казня! —
Героикой,
Которая — резня?
Кем мне себя считать,
Больная честь?
И честь сказала:
«Тем, каков ты есть.
Нет разницы — последний
или первый.
Преступником. Пособником.
И жертвой.
Одна эпоха. И судьба одна.
Ты болен тем же самым,
Чем страна».

* * *

Иду по закатному полю.
Приучен к побоям, к ярму.
Меняю напасть на недолю
И свет на словесную тьму.
Глупца на глухого невежду,
Холеру души на чуму,
Эмблему, кокарду, одежду...
Не учит нас жизнь ничему.
Россия. Снега. Занавески.
Дорога сквозь нети пуста.
И гордо мычат по-советски
Зашитые болью уста.

СОПИН Михаил Николаевич родился в 1930 году. Во время Великой Отечественной был «сыном полка», участвовал в боях, дошел до Берлина. После войны безвинно осужден за «пособничество врагу» и восемнадцать лет отсидел в лагерях. Живет и работает в Вологде, издал в последние годы три книги стихотворений.

Руки

Нечем думать.
И веровать нечем.
Пролетарии,
Проданный класс,
Ветр столетья,
Прикрыв наши плечи,
Индевеет от вымерзших час.
К небу,
В землю —
Землистые лица...
Церковь в куреве снежном —
Как чели.
Вздеты руки —
Крушить ли, молиться?
Но кого?
Но кому?
Но о чем?.

✦✦✦

После боя

Бой глуше. Дальше. Стороной.
Я награжден безумной кликой —
Беззвучно плакать над страной
В период гласности великой.
Не страшно то,
Что страх во мне
Истлел, испеплился навечно.
Чем больше павших и калечных,
Тем громче
Слава о войне.
К тому и шли,
Мечту веков
Осуществив впервые в мире.
Дым разнесло.
В державном тире —
Ни белых, ни большевиков.
Кто потянулся к грабежу,
Кто к ностальгии о тиране.
Прижав ладонь к тяжелой ране,
На бруствере один лежу.
Мне, отшагавшему в строю,
Сценарий ясен:
Враг дал деру,
Приспело время мародеру —
По душу смертную мою.

✦✦✦

Кроны и корни

Забвенье — старикам.
Сынам — бои.
Закрыла ты, земля,
От скорби очи —
В одеждах белых
Дочери твои
В незримые костры уходят молча.
По сторонам
Прах конников и псов.
Скулеж — себя сжирающего
сброда.
В визгне мутантских
Диких голосов
Мне слышен зов
Последнего
Исхода:
«Стой...
Че-ло-век...»
Вгляделся, не дыша:
Ржавь проволоки,
Пихты да березы.
Я сдвинул камень,
А под ним — душа.
Прильнул к травинкам —
Зазвенели слезы.

✦✦✦

* * *

Кипит снегами полынья,
Бьет по лицу, по синей коже —
Стоит над тундрой
Тень моя,
На сорок лет
Меня моложе.
Над белой бездной бытия —
Глаза, глаза... Живых и бывших.
Читаю ли,
Молюсь ли я:
Прости, земля,
Меня убивших.

* * *

За мной стена. Передо мной стена.
Душа от скверны освобождена:
От зависти,
Судилища сплеча.
Как мучали они,
Как докучали.
Теперь их нет.
Остался ровный свет —
Моей судьбы вечерняя свеча.
Глядят во пламя
Два зрачка печали.
И голова моя от дум седа,
От светлых дум...
Судьбу свою итожа,
Я счастлив тем,
Что выпало мне все же
Покаяться
До Страшного Суда.

Общество

Приливы да отливы,
Как утлое тряпье,
Смывают торопливо
Сошествие твое.
Грай воронов о благе.
Ветр созиданья сед.
И на багряном флаге
Слезы горючей след.
Фатальная картина?
Духовный недород?
Шамана на кретина
Меняешь ты, народ.

* * *

Гляди, душа, —
В снежинках млечных лица.
Они во сне
Врачуют сны людей:
Богатым — рай,
Голодным — пища снится,
Толпе — волхвы,
Ущербным — блуд идей...
Такие мысли
Над страницей белой...
Пока пуста —
Ни света в ней, ни тьмы.
Клясть нечто
И бранить —
Пустое дело.
Все в нас самих.
Россия —
Это мы.





ПРОЗА

ИВАН ЕВСЕЕНКО



ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

ПОВЕСТЬ

Редко теперь где встретишь в наших краях старинную ветряную мельницу. Еще во времена гражданской войны многие из них сгорели, порушились, первыми вступая на деревенских околицах в бои и сражения то с белыми, то с красными, то Бог его знает еще с какими воителями. Те же, что уцелели, в скорые, совсем уже смутные годы раскатали где на нехитрые колхозные амбарчики и сараи, а где так и просто на дрова.

А вот на дальнем, затерянном среди лесов и болот хуторе Журавлиные Выселки мельницы сохранились, и не одна, а целых три. Стоят они на выгоне, неподалеку от реки, в окружении березняка и соснового теперь уже высоко поднявшегося бора.

Построил их, говорят, при общем согласии и помощи, деревенский мастеровой мужик Степан Василинович Новожилов.

Бывало, только закончатся жатва и молотьба, как со всей округи тянутся к хутору обозы, груженные и рожью, и пшеницею, и ячменем. В такие дни Степан Василинович не знает ни сна, ни отдыха. С утра до ночи его мельницы гудят, рокочут, безостановочно машут крыльями, подгоняемые знойным августовским ветром.

ЕВСЕЕНКО Иван Иванович родился в 1943 году в с. Займище Черниговской области. После школы служил в армии, учился в Курском педагогическом институте. В 1973 году закончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор многих книг прозы. Член Союза писателей. Живет в Воронеже.

Ничто вроде бы не предвещало Степану Василиновичу беды и разорения. Какие ни приходили времена, какие ни объявлялись власти, а хлебушек надо есть всем. Стало быть, без мельниц, без него, Степана Василиновича, никак не обойтись.

Но вот однажды, в канун Петрова дня, когда Степан Василинович, готовясь к скорой жатве, снял жернова и заново набивал их зубилом, пришли к нему сразу трое: один свой, в лаптях и заячьей шапке, а двое других — в шинелях и при оружии. Побродив недолго по мельницам, поглядев на жернова и зубило, пригласили они Степана Василиновича в дом и без долгих разговоров зачитали ему бумагу, что, мол, так и так, с нынешнего дня и часа объявляется он злейшим врагом новой власти и что надлежит ему собираться в дальнюю дорогу на Соловецкий северный остров.

— Ну что ж, в дорогу так в дорогу, — ответил им Степан Василинович и не стал даже заносить зубило и молоток в кладовку.

Собрался он действительно в одночасье. Погрузил на подводу нехитрый свой скарб, посадил жену, четверых ребятишек да и отправился на неизведанные эти Соловки. Но, проезжая мимо мельниц, он, говорят, не выдержал, упал перед ними на колени, перекрестился вначале сам, а потом троекратно перекрестил и каждую из них.

Те двое приезжих, в шинелях и при оружии, посмеялись над его крестным знамением, а свой деревенский, в лаптях и заячьей шапке, крепко подвыпивший по случаю такого праздника, так еще и плюнул вслед уезжающему Степану Василиновичу, чтоб повеселить честной, собравшийся вокруг мельниц народ.

Народ, правда, развеселился не очень, повздыхал, почесал затылки, но и за Степана Василиновича заступиться не осмелился, назад его не вернул. Да и как было заступиться, как было вернуть, когда те двое в шинелях стояли здесь же на бугорке, позвякивая саблями и шпорами, да и свой деревенский следил за односельчанами зорко и безотрывно.

Так и уехал Степан Василинович при полном молчании, ни разу больше не оглянувшись на родные свои мельницы, на родной хутор Журавлиные Выселки и даже на родную свою хату, над которой вился еще сизый неугасимый дымок...

Мужики между тем принялись за жатву и молотьбу. Но чем ближе дело двигалось к помолу, тем все с большей тревогой стали они поглядывать на брошенные Степаном Василиновичем мельницы. Тут уж молчи не молчи, а в их крестьянском хозяйстве без мельниц никак не обойтись — обозы куда-то править надо.

Крепко посовещавшись и поспорив возле новой колхозной конторы, они вначале взялись было за мельницы сами: как умели, наладили жернова, подновили ковши и на утренней заре, когда подоспел хороший разгонистый ветер, принялись запускать мельницы в работу.

Но не тут-то было! Ни на одной из них широкие раскидистые крылья даже не дрогнули. Мужики немало этому удивились, послали на самую верхотуру отчаянного деревенского парня Прошку, не боявшегося никакой высоты, чтоб он проверил, не заклинило ли где вал. Прошка смотался наверх минутою, обследовал и вал, и крылья, но никакого изъяна в них не нашел.

Тогда мужики призвали к мельнице старого, доживавшего свой век на покое и отдыхе бондаря Мирона Головача, помогавшего когда-то Степану Василиновичу ошиновывать жернова. Но и Мирон Головач ничего с мельницей поделать не мог. Ветер гудел, рвался в ее крыльях, но ни одно из них с места так и не стронулось.

Новая власть, состоявшая все из того же веселого, в лаптях и заячьей шапке мужика да еще нескольких, тоже веселых и решительных, мигом отстранила Мирона и Прошку от мельниц и призвала из уездного города настоящего мельничного инженера. Тот долго ходил между ветряками с аршином, что-то измерял, что-то вычислял на лоскутике бумажки, а потом объявил озадаченным мужикам:

— Тут все по наитию сделано, без расчетов.

— А как же работали? — полюбопытствовали настырные мужики.

— А уж это не мое дело, — ответил инженер, выпил с новым начальством по рюмке водки да и уехал в уездный свой город.

В общем, дела мужичьи были совсем плохи. То ли от их неучености и темноты, то ли от крестного знамения Степана Василиновича, но мельницы встали окончательно и навечно. Мужики еще малость с ними помучились, повозились, а потом, делать нечего, направили свои обозы в дальние чужие места, где, по слухам, завелись какие-то новые, с электрическими моторами мукомолки. Но и там у них дела не заладились. Не успеют мужики приехать, как вдруг следует распоряжение: мол, так и так, чужим мелем только по пятницам (а они, как на грех, заявились во вторник); или еще хуже: вдруг возьмет да куда-то исчезнет этот невиданный электрический ток, или испортится мотор; или совсем уже беда — вдруг ни с того ни с сего обломаются они где-либо в дороге всем обозом да так и сидят посреди поля под дождем и ветром с лопнувшими осями и ступицами. Плюнули вскорости мужики на все на это и мало-помалу обзавелись домашними ручными крупорушками, да с тем, кажется, и пребывают до сегодняшнего дня.

Само собой разумеется, что новое начальство, по примеру других сел и деревень, хотело было мельницы разобрать — не то для избы-читальни, не то для какого-то иного неотложного строения, но Бог миловал. Во-первых, вдруг нежданно-негаданно рухнул вроде бы и крепкий ещё на вид дубовый мосточек через торфяное болотце, со всех сторон окружавшее хутор (а ремонтировать его было недосуг да, кажется, и неохота); а во-вторых, не было надлежащего указания. В тех, других деревнях было, а вот на хуторе Журавлиные Выселки — не было. В те годы такое, говорят, часто случалось...

Так и простояли все три мельницы в окружении болотца, березняка и высоко поднявшегося соснового бора до нынешних времен.

Мельницы простояли, а вот хутор исчез. Старые, помнившие еще Степана Василиновича мужики, все поумирали, кто на войне погиб, а кто и здесь — от тяжкой работы, тяжких болезней или просто так — от неурочного, подоспевшего не ко времени случая. Дети же их одни за другими перебрались в соседнее село Отрадное, на центральную усадьбу, да там и осели навсегда, а внуки — так и того хуже: вовсе разъехались по белому свету и даже забыли, что был когда-то в их округе такой хутор — Журавлиные Выселки...

После всех этих разъездов осталась на хуторе одна-единственная хата Саньки Перекати-поле. До недавнего времени жила в ней его мать Парасковья Кирилловна, совсем уже старенькая и немощная, которая целыми днями, бывало, сидела на крылечке да выглядывала горемычного своего Саньку. А его и на самом деле, словно перекати-поле, носило из одного края земли на другой — по лесосплавам, золотым прискам, всяческим «стройкам века» да, кажется, и по тюрьмам.

Но вот лет пять тому назад умерла и Парасковья Кирилловна. Санька на похороны не приехал, а лишь отбил откуда-то издалека телеграмму: «Приехать не могу. Хороните без меня. Скорблю и печалюсь». Скорбь Санькину приняли во внимание, сельсовет выделил какие-никакие деньги, мужики вырыли могилу да и похоронили Парасковью Кирилловну на бывшем хуторском кладбище под высокой елью.

Окна и двери, как всегда и водится в подобных случаях, забили досками крест-накрест, без всякой, признаться, надежды на возвращение наследника и хозяина. Санька ведь и в прежние времена, при жизни матери, появлялся на хуторе в кои веки. Налетит, бывало, настоящим вихрем с какой-либо очередной женой или невестой, погуляет, покуражится месяца полтора, а потом опять засобирается в дорогу, намекнув перед этим матери, что неплохо бы продать теленка или кабана,

потому как дорога ему предстоит дальняя и ухабистая. Парасковья Кирилловна, вздохнув раз-другой, продавала и теленка, и кабана, а случалось, так и последнюю курицу. Тут уж что ни говори, как ни сокрушайся, а был у нее Санька одним-единственным сыном, любимым и ненаглядным.

Теперь же, после смерти матери, приезжать Саньке на хутор было вроде бы и вовсе не резон. Раздобыть на обратную дорогу каких-либо пусть даже самых малых денег ему было не у кого. Вот разве что продать дом! Но кому он был нужен, старый, полуразвалившийся, да еще и за торфяным болотцем, далеко от села и людей!

Но Санька на удивление всем приехал. Правда, не так, как в прошлые времена, вихрем и с молодой невестой, а налегке, худой, заросший щетиною и впридачу ко всему еще и с палочкой в руках. Говорят, на каком-то таежном лесосплаве или на нефтеразработках его угораздило сломать ногу, и он, кое-как отлежавшись, добрался до дома, чтоб пережить тут год-другой да маленько окрепнуть. Само собой понятно, что никаких денег в запасе у Саньки не было, и он, ссылаясь на свое увечье, напросился в колхозе на посильную по его здоровью и характеру работу. Стал разъезжать по селу на старой кобыле, от двора к двору, да собирать у хозяек молоко. Материн огород, заросший лебедою и полынью, он перепахивать не стал, не посеял на нем ни зернышка.

— И так проживу! — весело отбивался он от мужиков, когда те пробовали укорять его за такое нерадение. — На кой он мне ляд?!

И действительно, зажил Санька на Журавлиных Выселках не хуже людей. Из своей, казалось бы, такой пустяковой должности он быстро наловчился извлекать немалую выгоду. В его полной власти было — откуда, с какого края села начинать утренний или вечерний объезд. Можно было из Залесья, с самых дальних хат, а можно было и от речки, от центра села. Саньке, понятно, без разницы, куда вначале направить свою груженную пустыми бидонами подводу, а вот хозяйкам разница, и большая. Пока не сдашь злополучное это молоко, ни за какое иное дело толком не возьмешься, будешь бегать без конца на улицу да выглядывать, не покажется ли Санькина подвода. И тут уж хочешь не хочешь, а чтоб задобрить Саньку, наливали они ему рюмку водки, зазывали по очереди и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Это, конечно, во-первых. А во-вторых, что там ни говори, а в руках у Саньки была хоть и плохонькая, а все ж таки подвода — гужевой транспорт. И зарились на нее не одни только женщины. Самые что ни на есть серьезные мужики нет-нет да и шли к Саньке с просьбой: то лесину какую-либо надо подвезти, то копенку сена, то за глиной в урочище съездить. Каждый раз для незаметных этих крестьянских дел машину у бригадира просить не будешь. Санька мужикам в просьбах не отказывал, хорошо зная, что уж стакан-другой ему за такую бескорыстную помощь тоже обломится.

Одним словом, зажил он опять как настоящее перекати-поле: сегодня — здесь, завтра — там, всегда сыт и хмельной, да еще, глядишь, и обласкан какой-либо разведенкой, которых, надо сказать, на центральной усадьбе завелось в последнее время немало.

Кто его знает, может, жил бы он так и до сегодняшнего дня, если б не приключилась с ним вдруг одна совершенно невероятная для наших мест история.

Крепко однажды подгуляв где-то на селе, возвращался Санька поздно ночью к себе на хутор. Прихрамывал и притопывал на шаткой торфяной дорожке, поглядывая на темнеющие вдалеке мельницы, да еще напевал, говорят, веселую частушку, которую привез из дальних своих северных странствий:

Не хотится ль вам пройтиться
Там, где мельница вертится,

Лепестричество сияет
И фонтанчик шкандыряет?

От жизнерадостных этих слов идти ему было легко и отрадно, да, признаться, и не так страшно на пустынном торфяном болотце.

Часам к двенадцати Санька мало-помалу стал подходить к ветряным мельницам и вдруг на полушаге оборвал частушку и замер как вкопанный. Ему почудился какой-то странный рокочущий звук, исходивший, казалось, откуда-то из ночного, залитого лунным сиянием неба. Такого звука Санька, объехавший без малого весь свет, нигде ни разу не слышал: ни в северных краях, ни в южных, ни даже на Дальнем Востоке, на острове Сахалин, где он однажды подрядился ловить рыбу. А уж там-то такой звук запросто даже мог быть — там всякие тайфуны и стихийные бедствия на каждом шагу.

Санька запрокинул голову и совсем уже окаменел, боясь пошевельнуться и обронить хоть единое слово. На самом крайнем, стоящем поближе к его хате ветряке во весь разгон и силу крутились, издавая так напугавший его звук, мельничные широкие крылья. Санька вначале этому не поверил. Думал, все это почудилось ему от веселого настроения да ещё, может быть, от слишком яркого сияния луны. Да и как можно было поверить?! Сколько Санька жил на белом свете, ни разу эти крылья не стронулись с места, стояли мертвые и потемневшие от времени, будто какое-то распятие.

«Пить надо меньше», — решил про себя Санька и сделал было несколько робких шагов к дому, надеясь, что наваждение это исчезнет само собой.

Но неожиданно к рокочущему звуку примешался еще один, тяжелый, монотонный и далеко слышимый в августовской ночи.

«Жернова, что ли?» — совсем оторопел Санька и уже не просто замер, а как бы даже врос в торфяное болотце.

Вполне даже могло быть, что в следующее мгновение он развернулся бы и со всех ног кинулся назад в село, к мужикам, которые засидели еще где-нибудь на крылечке возле колхозной конторы, играли в домино или в карты. Но ему вдруг почудилось, что там, внутри рокочущей и вздрагивающей от тяжелой работы мельницы, горит какой-то огонек, не то электрическая лампочка, не то керосиновый фонарь. Ночной этот, устрашающий свет, казалось бы, совсем должен был испугать Саньку. Но вышло все наоборот. Санька неожиданно приободрился и единым махом решил загадку всего происходящего. Да ребятишки это! Забрались на мельницу и завели все ее крылья и жернова. Они теперь народ ушлый, в технике понимающий. Любой электронике применение найдут, а уж несчастную эту мельницу пустить в ход им ничего не стоит. Раскрутили ее на всю катушку, а теперь небось сидят вино пьют да с девками балуются. А того не понимают, что от этого баловства да от керосинового фонаря запросто даже может случиться несчастье, пожар. Мельницы сгорят — Бог с ними. Все равно от них никакого толку нет, одно устрашение и мрак. А вот если займется Санькина хата, тогда как? Куда ему тогда опять подаваться при хромой-то ноге, до конца еще не залеченной?!

Приободрив себя такими вот размышлениями, Санька покрепче сжал в руках посошок и уже совершенно твердо и смело шагнул к неостановимо машущей крыльями мельнице. Нащупав кованую заржавевшую ручку, он с силою рванул на себя ворота, предвкушая, как сейчас с испугу кинется во все стороны распоясавшийся вконец молодняк.

Ворота, и вправду, пошли на Саньку легко, почти без скрипа, яркий фонарный свет на мгновение ослепил его, но не послышалось ни вскрика, ни взвизга, на которые Санька так рассчитывал, никто не кинулся ни к воротам, ни к потайным, непременно где-либо оборудованным лазам, чтобы поскорее выскочить из мельницы да и растаять в темноте неузнанным. Ничего этого не было, ничего не случилось.

Но зато произошло совершенно уж неожиданное и не поддающееся никакому пониманию.

Из дальнего затаенного угла вдруг вышел под фонарный свет и остановился перед Санькой — Степан Василинович! И как раз в том возрасте и в той поре, в какой был выслан на дальний Соловецкий остров. В душе у Саньки все похолодело, покрылось какой-то ледяной, нетающей коркой; несколько раз гулко, будто с похмелья, ударило сердце в груди, а потом в одну секунду одеревенело и замерло. Кто знает, может, на этом и закончилась бы вся Санькина безутешная жизнь от испуга и злого умысла, но Степан Василинович, измерив Саньку каким-то пристальным, твердым взглядом, неожиданно произнес:

— Здорово, что ли?!

— Здрасте, — кое-как пролепетал Санька, чувствуя себя считай уже на том свете.

Но Степан Василинович чувств этих Санькиных, кажется, не понял, еще раз оглядел его с ног до головы, поочередно задерживаясь то на старых, истерханных сапогах, то на сереньком пиджачке с прорехой под мышкой, то на северной велюровой шляпе, с которой Санька и здесь, в селе, никак не хотел расставаться.

Наконец Степан Василинович отвел взгляд чуть в сторону, давая Саньке хоть малую передышку, а потом спросил его:

— Ты чей же это будешь?

— Дак Санька я, Перекати-поле, — уже немного осмелел тот в надежде на благополучное продолжение разговора.

— Лопушков, что ли?

— Ну да! Лопушковые мы: из хутора. Может, помните?

— Отчего же, помню, — ответил Степан Василинович и вроде бы хотел еще о чем-то спросить Саньку, но в это время в мерной тяжелой работе мельницы послышался какой-то сбой, звук стал раскатистым, дребезжащим, и Степан Василинович, резко крутанув на себя приделанную возле ковша ручку, вдруг прикрикнул на Саньку:

— Ну, что стоишь, засыпай!

Санька мгновенно опомнился, пришел в себя и, забыв о своей хромоте, в два-три шага взлетел по шатким ступенькам на помост. Там в углу он заметил десятка полтора мешков с зерном. Схватив один из них, он быстро развязал тугую бечевку, потом единым махом, опять-таки не обращая никакого внимания ни на хромоту, ни на Бог знает почему вдруг начавшую одолевать его одышку, закинул мешок на ковш. Зерно тут же стало стекать по янтарно-желтым стенкам ковша в мерно вздрагивающий на тугой пружине лоток, а оттуда уже на жернова. Те заработали сразу надсадней, глуше, звук опять превратился из дребезжащего холостого в натужный и тяжелый. Санька несколько мгновений смотрел во все глаза на это давно им забытое волшебство, потом стал хватать один мешок за другим и опрокидывать их в ковш, пока не засыпал его по самые венчики. Теперь можно было, наверное, с минуту передохнуть, стереть с лица горячий, заливающий глаза пот, но Степан Василинович этой минуты ему не дал. Он вдруг закричал снизу от деревянного короба, как обычно кричат все мельники во время ночной неостановимой работы:

— Отгребай!

Санька опять заполошно вскинулся, вытряхнул пустой мешок и побежал к коробу, куда уже вытекала из брезентового рукава горячая, забивающая ноздри хлебным живым запахом мука. Накинув один край мешка на специально забитый в коробе гвоздик, Санька пошире развернул другой и начал насыпать в мешок муку кленовым, замысловато вырубленным совочком. От хлебного запаха голова пошла у него кругом, затуманилась, и Санька даже не заметил, как Степан Василинович несколько раз низко склонялся над коробом, мял в руках муку, проверяя, не крупный ли идет помол, нюхал ее, а потом отошел в сторону и присел на невысокой мельничной колодочке.

Ему и правда можно было сейчас немного передохнуть, задремать под мерный гул жерновов. В прежние свои мельничные годы он всегда, наверное, так и делал. В самые трудные предутренние часы садился на колодочке и задремывал минут на двадцать, чтоб потом уже до самого рассвета неотступно следить и за ковшом, и за жерновами, и за очередью, в которой, случалось, возникали всякие недоразумения и беспорядки.

Санька несколько раз оглядывался на него и даже прикидывал в уме, а не выскользнуть ли потихоньку за ворота да и растаять где-либо в темноте подальше от всего этого приключения. Но мука все сыпалась и сыпалась из коротенького брезентового рукава, наполняла короб, и Саньке стало вдруг жалко, что вот он выскользнет, растает, а мука станет вскоре сыпаться через край короба на темный, затоптанный пол, смешается с песком и пылью и пропадет без всякой пользы. Он подхватил новый мешок, приладил его на место прежнего, уже наполненного, и снова взялся за кленовый совок, все больше и больше втягиваясь в работу. За Санькой такая причуда водилась. На золотых ли приисках, на рыбной ли ловле, или в тайге на лесосплаве — любую работу Санька всегда начинал с ленцой и с неохотой, за что ему частенько попадало и от напарников, и от начальства. Но потом, незаметно для самого себя, он втягивался в эту работу как-то на редкость основательно и прочно, ломил, не щадя себя, не думая ни о перекурах, ни о конце смены.

Так вот и ныне: набрав второй мешок и оттащив его поближе к воротам, чтоб потом легче было грузить на машину или подводу (смотря что там подойдет), он вошел в немалый азарт и без всякого уже принуждения и окрика мотался то наверх к ковшу, то опять к коробу. Одышка у него постепенно прошла, хромая нога хоть и побаливала, но несильно, терпимо, нисколько не мешая ему в неожиданной этой ночной работе, чему Санька особенно обрадовался. Раз выдерживает она здесь, на мельнице, на шатких ступеньках и помосте, то, значит, выдержит и на лесосплаве, на приисках, куда с весны определенно уже можно будет податься. Не век же ему сидеть на хуторе в порушенной, иногда неделями не топленной хате да собирать по дворам несчастное это молоко.

Санька не на шутку размечтался о весне, о новых странствиях, о том, как покатит он опять по городам и весям, нигде подолгу не задерживаясь, не приживаясь. Но потом вдруг под тяжелое гудение жерновов, под рокотание крыльев вспомнились ему далекие детские годы, мать и точно такая же августовская ночь на мельнице в районном центре.

Было в ту пору Саньке, кажется, лет десять-двенадцать. Сжали они с матерью на огороде серпами рожь, обмолотили ее в клуне, хорошенько просушили на печке да и собрались на помол в районный центр. Свои-то мельницы давным-давно не работали, стояли на выгоне пустыми и заброшенными.

Время в колхозе было еще горячее, страдное, и мать с большими трудами выпросила у председателя вола. Откладывать помол им с Санькой нельзя было ни на день. Мука со старого урожая закончилась еще в начале лета, и они жили теперь где в долг, а где и впроголодь.

Нагрузив на подводу все свои пять мешков зерна, они ранним утром и отправились в дорогу за двадцать верст в районный центр, где тогда при мебельной фабрике как раз открылась небольшая электрическая мельница. Приехали в город только к вечеру. Ведь на воловьей тяге да по песчаной разбитой дороге особенно не разгонишься.

Народу на мельничном дворе было полным-полно, завоз дня на три, не меньше. Да и как ему было не образоваться, когда и по другим окрестным селам ветряные и водяные мельницы тоже давно были порушены и разобраны.

Мать пошла занимать очередь, а Санька распряг вола, стреножил

его и отогнал на небольшой пустырь за мельницей, где их паслось уже целое стадо. Ночь между тем наступила совсем уже глухая, не по-августовски прохладная, туманная, и Санька, потуже натянув на голову отцовскую заячью шапку, зорко следил то за волом, то за мешками. Время ведь было тревожное, послевоенное: и оглянуться не успеешь, как мешка-другого на возу уже и нету. Случалось, что уводили и волов с таких вот ночных заброшенных пустырей и пастбищ...

Очередь их двигалась медленно: то вдруг сломается мотор или порвется приводной ремень — и мужики во главе с мельником до полночи чинят его; то в самый разгар работы ни с того ни с сего отключат ток на электрической станции — и опять получается непредвиденный перерыв, задержка; то вдруг заспорят два мужика до обидных слов, до драки за очередь, и тогда раздосадованный мельник послушает-послушает всю эту ругань, а потом возьмет плюнет да и закроет часа на два мельницу на обед. В общем, набедовались Санька с матерью вдоволь: кое-как, сменяя друг друга, спали на мешках, зорко следили и за волом, который то и дело норовил отбиться от стада, и за очередью. Народ ведь на мельнице был тоже весь обозленный, невыспавшийся, и если промахнешься, пропустишь свою очередь, то после никакого снисхождения не жди, никто тебе не уступит, тут уж и сам мельник ничем не поможет...

Дождались они своей очереди лишь к вечеру третьего дня и уже начали было заносить мешки на весы, как вдруг заехал на мельничный двор целый обоз с колхозным зерном. Правило же на мельнице было такое: колхозное зерно засыпается на ковш без всякой очереди.

Мать, понятно, сразу в слезы, в просьбы, но колхозные мужики ни в какую. Работы у них, считай, на всю ночь, и терять им хотя бы даже час-другой неохота, да еще после долгой, тоже, поди, двадцативерстной дороги. Сняв с весов материны мешки, они начали затаскивать свои, но, правда, не больно поспешая, не торопясь и все чаще поглядывая на мать с какой-то хитростью и намеком.

Мать у Саньки была женщина догадливая, за послевоенную свою вдовью жизнь много чему обученная. Намеки эти и хитрости мужиков она быстро разгадала, вынула из платочка все, какие были у нее с собой, деньги и послала Саньку в дежурный магазин за водкой.

Санька смотался минутою. Притащил целых пять бутылок «Московской» и кое-какой закуски: консервов, селедки. Мужики сразу подобрели, расселись вокруг водки кружком, пригласили мельника, налили полрюмки и Саньке. Об очереди, конечно, разговора больше не шло. Хорошо на дармовщинку выпив и закусив с дороги, мужики сами затащили материны мешки на помост, засыпали их в ковш и, весело перекликаясь, кинули вниз опорожненные мешки.

— Отгребай! — тоже заметно повеселев, крикнул Саньке с матерью мельник.

Мать что-то замешкалась у помоста, а Санька, проворно подхватив мешок, точно так же, как сегодня, нацепил его на гвоздик и стал подбирать совком первые две-три горсти муки. И вдруг — то ли выпитой водки, то ли от бессонницы и голода, от мучного ли туманящего голову запаха — не выдержал и заплакал. Ни мужики, ни мать в сумерках слез этих его не заметили, но он-то до сих пор хорошо помнит их...

И еще кое о чем помнит, не забывает Санька. Мелькнула тогда у него в голове одна нехорошая, преступная даже, можно сказать, мысль: стащить от напольных весов гирьку да незаметно и бросить ее в ковш с колхозным зерном. Пусть после пьяные эти, нахальные мужики помучаются, поломают как следует голову, почему это вдруг мельница взяла и застопорилась. А уж застопорится она точно. Плоская, с прорезью посередине гирька, чем-то похожая на нынешнюю хоккейную шайбу, обязательно проскользнет через лоток в жернова и заклинит их.

Но Бог, как говорится, Саньку миловал. Кое-как добрав последний

мешок, он побежал запрягать вола, чтоб поскорее, не дожидаясь рассвета, отправиться в дорогу. Ведь еще дома, только собираясь на мельницу, они мечтали с матерью, как вернутся назад, как заведут в деже, на донышке которой лежит кусочек кисловатой закваски, тесто, подождут, пока оно как следует не подойдет, а потом посадят его на капустных листах в жарко натопленную печку и будут поминутно туда заглядывать, любоваться, как оно прямо на глазах превращается в пахучий, покрытый темно-коричневой корочкой хлеб.

Точно так оно всё и было, точно так и случилось. Доехали они вполне благополучно, затопили печку, завели тесто и к вечеру уже ели горячий пахучий хлеб. Преступная, нехорошая Санькина мысль насчет гирьки как-то сама собой забылась, вылетела из головы, и до сегодняшнего дня он ни разу о ней не вспоминал — не было в том никакой необходимости...

Не было ни на золотых приисках, ни на лесосплаве, ни на рыбной ловле в морях и океанах, хотя случались там с Санькой приключения и пострашней мельничных. А вот нынче взяла она вдруг да и пришла ему снова в голову, вернулась, так сказать, на круги своя.

Оглянувшись и раз, и другой на дремавшего Степана Василиновича, Санька потянулся уже было к весам, к гирькам, которые строго по ранжиру висели на рейке, но в это мгновение в маленькое мельничное окошко робко брызнул первый почти предрассветный еще лучик солнца. Степан Василинович тут же пробудился, повернул голову к этому нечаянному лучику, а потом вдруг поднялся, заглянул в пустой, хорошо подчищенный Санькой короб и объявил:

— Ну, на сегодня, кажется, хватит.

— Хватит так и хватит, — немедленно согласился Санька, только теперь, кажется, по-настоящему почувствовав, как он умаялся на этой неожиданной ночной работе, как ломит у него поясницу и хромую недолеченную ногу.

За такую работу и за такую ломоту от хозяина полагалась бы, конечно, рюмка-другая — не за здорово же живешь пластался тут Санька, таскал мешки, дышал мучною, забивающей все легкие пылью!

Санька приободрился, набычился и хотел уже было подступить к Степану Василиновичу с законным своим работничьим требованием, но тот, не обращая никакого внимания на Санькины намеки, открыл ворота и медленно пошел в сторону соснового бора по луговой росной тропинке. Не прошло, наверное, и двух минут, как Степан Василинович исчез, будто растаял в августовском низко повисшем над землею тумане...

Санька в сердцах плюнул, обернулся назад и едва не упал на холодный мельничный пол от неожиданности и испуга. На мельнице было по-ночному темно и глухо, где-то высоко под крышей попискивали летучие мыши, окошко, намертво затянутое паутиной, едва-едва серело от наступающего далекого еще рассвета. Но главное, не было слышно никакого шума и рокотания, жернова давно дастопорились, будто и не работали безостановочно всю ночь. Не обнаружил Санька и мешков с мукой, которые он, грешным делом, уже думал куда-либо загнать, если не за деньги, то хотя бы за выпивку, за трехлитровую, к примеру, банку самогона, который ныче в особой цене и почете.

Кое-как одолев свой испуг и онемение, Санька прожогом выскочил на улицу, чтоб поглядеть, вертятся ли мельничные ребристые крылья. Но крылья тоже стояли мертво и неподвижно, как и неделю, как и месяц, как и десятилетия тому назад. «Ну, кажется, допился до ручки», — в отчаянии подумал Санька и совсем уже уныло поплелся домой в надежде хоть полчасика передохнуть перед утренним своим молочным объездом. На мельницу он старался не оглядываться и даже не думать о ней, боясь, что ночные его видения опять каким-либо образом вернутся к нему, заморочат похмельную голову, и тогда, чего доброго, возьмешь да и поверишь, что все это действительно было, случилось именно с ним, с Санькой Перекати-поле. А ведь быть такого не могло! Какая там к черту мельница, жернова, Степан Василинович, о котором во всей округе ни одна живая душа уже ничего не помнит и не знает!..

Но каково же было удивление Саньки, когда, войдя в дом, он вдруг обнаружил, что и велюровая его, почти еще новая шляпа, и серенький, с прорехою под мышкой пиджачок насквозь пропитаны мучной въедливой пылью. В сердцах Санька со всего размаху ударил шляпою о столешницу, крепко выматерился и дал себе последний ненарушимый зарок: «Все, завязываю окончательно! — и для пущей верности еще добавил совсем уже клятвенное, слышанное в местах не столь отдаленных: — Иначе гад буду!»

Спать ему сразу расхотелось, и он, кое-как вытряхнув шляпу и пиджачок, пошел на колхозный двор запрягать Сивку-Бурку. Кличку эту старой, вконец изработавшейся кобыле он дал самолично. Прежняя ее кличка — Варавка — пришлась Саньке не по вкусу. Не кличка, а дразниловка какая-то, прозвище. Небось, мужики по пьяной лавочке нарекли. Даже обидно за скотину. Впопыхах, правда, да с похмелья Санька тоже дал маху, спутал грешное с праведным. Сивка-Бурка по всем сказкам и былинам был все ж таки конем, да не абы каким, а самым что ни на есть молодецким. Но, во-первых, Санька об этом вконец запамятовал; а во-вторых, какая ему была разница — конь Сивка-Бурка или кобыла. Главное, чтоб для слуха приятно да чтоб возила она его исправно от дома к дому, не выказывая лошадиного своего нрава, когда Санька бывал во хмелю или, как вот сегодня, не в духе.

Хмурый и неразговорчивый, начал он объезд от речки, от центра, хотя с вечера, помнится, обещал первым делом заглянуть в Залесье. В двух местах Саньке подносили по рюмке, но он остался твердым и непреклонным, решительно отстранил подношение и даже озадачил дарующих суровыми, укоряющими словами:

— Нечего баловаться с утра!

Дарующие немало этому подивились, в изумлении пожали плечами, но настаивать не посмели, боясь рассердить жестокого Саньку, от которого все ж таки зависела их ежедневная жизнь и хозяйство.

Устоял Санька и возле колхозной конторы, где мужики, несмотря на раннее время, затеяли какую-то выпивку и, само собой разумеется, пригласили Саньку, хотя у того в кармане не было и рубля, чтоб внести свою долю.

Усталость и бессонная ночь помалу начали одолевать его, и Санька, по-быстрому сдав в молочарню бидоны, отправился домой, чтоб теперь уже на законном трезвом основании как следует отоспаться и с вечера начать совершенно новую непьющую жизнь...

Но вечером с ним случилось непредвиденное. В Залесье, куда он, исправляя утреннюю свою оплошность, направил груженную бидонами подводу, медичка Оксана Викторовна, женщина одинокая, молчаливая, поглядев на осунувшееся, посеревшее Санькино лицо, зазвала его в дом и поднесла рюмку чистейшего медицинского спирта, настоянного на боярышнике и чаге. Санька долго колебался, боролся с собой и почти уже поборол, осилил непереносимое это искушение, но Оксана Викторовна тут возьми и скажи:

— Ладно тебе, опохмелись, а то еще помрешь где-либо.

И Санька не устоял. Опохмелиться, прийти немного в себя после всех ночных страхов и приключений ему надо было. А то вон руки дрожмя дрожат, кнутовища не держат. Действительно, упадет в какой-либо болотине или бурьяне, и все — конец. «Черт с ним, — решил Санька, — в последний раз перед зароком можно, отходная, так сказать».

Оправдание было, что там и говорить, серьезное, убедительное, и Санька, больше не мучая себя сомнениями, принял от Оксаны Викторовны первую рюмку. Ну а за первой пошла и вторая, и третья. Оксана Викторовна, хорошо зная, что одна рюмка Саньку не спасет, не останавливала его, не корила, а лишь молча сидела напротив да смотрела куда-то в окошко...

Тут надо особо рассказать об Оксане Викторовне. Не сегодня и не вчера завязался у них с Санькой узелок, потянулась, как говорится, ниточка... Лет десять тому назад, как раз после рыбалки на Сахалине, заскочил Санька ненадолго в Журавлиные Выселки. Рыбалка в тот год выдалась удачная, денежки кое-какие у Саньки водились, и ему захотелось пощеголять ими не где-нибудь на стороне, не на курортах и не в столицах, а именно в Журавлиных Выселках, в Отрадном, чтоб и мать, и другие-прочие отрадненские мужики, которые обидно прозвали Саньку Перекати-полем, поглядели, какой он на самом деле Перекати-поле, какие у него денежки и какая удаль.

Ходил Санька на рыбалку, понятно, простым матросом. Но заявляться в таком звании в Журавлиные Выселки он посчитал для себя зазорным и поэтому еще на Сахалине, перед самой отправкой на материк, купил на барахолке капитанский шитый галунами китель и такую же капитанскую с «крабом» на тулье фуражку.

Одеяние это пришлось Саньке до того по душе и до того впору, что он не стал даже на этот раз прихватывать с собой очередную жену или невесту, которых всегда вдоволь было в портах и в сахалинских ресторанчиках. При такой форме да при таких деньгах найти невесту Саньке ничего не стоило и в Отрадном.

И действительно, не успел он объявиться на родине, зайти в отрадненский клуб на танцы, как ему тут же и доложили: мол, появилась в селе новая медичка, Оксана Викторовна. И не какая-нибудь там пигалица из недавних выпускниц медучилища, а женщина серьезная, самостоятельная, лет тридцати. Причем появилась, судя по всему, не на год, не на два, как все эти выпускницы, а навсегда. Иначе зачем бы ей было покупать в Залесье дом и обзаводиться хозяйством?! Какая там была у Оксаны Викторовны до этого жизнь, какие замужества-разводы, о том в Отрадном никто толком не знал. Всякое поговаривали. Но Санька на все эти разговоры — ноль внимания. Ему главное, что женщина Оксана Викторовна интересная, привлекательная... и одинокая. А женское одиночество он больше всего на свете любил...

Выждав денек-другой, Санька почистил-погладил капитанскую свою форму, заломил набекрень фуражку с «крабом» и заявился под вечер к Оксане Викторовне на прием.

Та, как и полагается врачу, приняла его вначале строго, усадила напротив себя на стульчике, спросила:

— На что жалуетесь?

— Да вот,— ответил Санька,— в груди что-то жжет.

Оксана Викторовна усмехнулась таким его жалобам, но виду не подала, приказала:

— Раздевайтесь по пояс. Послушаем.

Санька разделся: снял кителек, тельняшку и предстал перед Оксаной Викторовной во всей своей красе. А краса у него на груди была, и правда, несказанная. С правой стороны на плече выколота темная вечноцветущая роза, а с левой, как раз над сердцем — морская чайка и дальний материковый берег.

Оксана Викторовна на эту розу и на эту чайку внимания вроде как бы и не обратила, обошла их стороной, но Саньку не обманешь, он сразу почувствовал, что сердце у нее в груди тоже забилось и затрепетало. И тут уж надо совсем ничего не понимать в женских сердцах, чтоб не вздохнуть поглубже и не задержать в себе это дыхание подольше...

В общем, завязалась у Саньки с Оксаной Викторовной настоящая дружба. Что ни вечер, он к ней на прием. Она, правда, в первые дни на расстоянии его держала, сомневалась все, испытывала. Но потом все ж таки не вытерпела, доверилась. Закроются они, бывало, в медпункте на щеколду, задернут занавески да и просидят иной раз до самого утра. Случалось Саньке бывать у Оксаны Викторовны и дома, и

уж тогда пивал он настоянный на чаге и боярышнике чистейший медицинский спирт.

А потом произошла у них с Оксаной Викторовной размолвка. И, надо сказать, не по Санькиной вине. Появился вдруг у нее еще один ухажер. Против Саньки он, конечно, мелко плавал — агрономишко какой-то, сельхозник. Перевели его в Отрадное из дальних, заброшенных мест вроде как с повышением — в главные агрономы. Но, как на грех, молодой он, неженатый. Вот у Оксаны Викторовны и заметалась душа, запрыгала мячиком. Санька, что там и говорить, капитан, орел и сокол, роза у него на плече, чайка над сердцем, но человек он вольный: сегодня — здесь, завтра — там. А агрономишко этот к земле привязан, в начальство еще может выйти, в председатели, да и остаться навечно при Оксане Викторовне. Тут уж хочешь не хочешь, а заволнуешься, запрыгаешь, как птичка в клетке. Одним словом, Оксана Викторовна и раз и другой втайне от Саньки заговорила с этим агрономом возле медпункта, у калитки даже постояла...

Санька вначале в скандал, в драку. А потом смекнул, что это сам Бог подослал ему агрономишку. Деньги у Саньки к тому времени уже закончились, китель поизносился — пора и в дорогу, а то, чего доброго, застрянешь тут надолго, в землю врастешь, как последняя сухопутная живность. Тем более что и мать его к этому подбивала: мол, до каких же пор я буду все одна да одна, внучат бы уже пора нянчить. Но Санька устоял и перед матерью, и перед Оксаной Викторовной. Зашел к ней в последний раз, выпил посошок и объявил со всей строгостью:

— Раз у вас, Оксана Викторовна, другой ухажер на примете, то я отваливаю, уезжаю то есть, дабы не мешать вашему счастью!

— Уезжай,— не стала удерживать его Оксана Викторовна. — Только счастью моему ты не помеха, поскольку нет его у меня и не будет.

Ответ этот, честно говоря, Саньке не понравился. Прежние его жены и невесты в подобных случаях сразу кидались в плач да в слезы. Но Саньку этим не проймешь, потому как женским слезам цена — копейка. А эта, вишь, что удумала: езжай, мол, на все четыре стороны, коль ты такой ревнивый и гордый.

— Это как же так? — попробовал отрабатывать назад Санька, но было уже поздно: Оксана Викторовна лишь вздохнула, усмехнулась ему на прощанье да и захлопнула калитку. Вот какая женщина!

Санька покуражился еще, наверное, с недельку в Журавлиных Выселках, походил волком вокруг медпункта, а потом, делать нечего, уехал на свои севера, думая, что никогда уж у них с Оксаной Викторовной пути-дороги не сойдутся. А оно, гляди, как все обернулось — сошлись, перехлестнулись и, может, даже самым серьезным образом. С агрономишкой этим, полеводом, дела Оксаны Викторовны, как и предвидела она, как и загадывала наперед, не заладились. Постоял он с ней возле калитки, поточил лясы, а потом, глядь, перевели его опять на повышение, и на этот раз не в колхоз какой-нибудь, а в город, к тому же сразу в областной. Рука, должно быть, где-то в верхах у него была. Там, среди городских улиц и переулков, и затерялся его след.

А Санька — вот он — опять в Журавлиных Выселках, опять в Отрадном, потому как родина это для него, отчий дом. Оксана Викторовна тоже для Саньки человек не посторонний. Вспоминал он ее на своих северах. Не часто, тут уж не надо грех брать на душу, но все ж таки вспоминал. По приезде, на трезвую голову, Санька к ней не заходил, как-то не с руки было, да и одежка не та, не капитанская. А как выпил первый раз, так и потянуло. Вначале, правда, по делу лишь, за молоком. А потом и просто так стал захаживать, по старой вроде бы дружбе. Она сразу обо всем догадалась, все поняла. Спиртом Саньку нет-нет да и угостит, спасет от верной похмельной гибели.

Вот и нынче сидит Санька перед Оксаной Викторовной, пьет беспрепятственно рюмку за рюмкой, приходит в нормальное человеческое

состояние, и уже не удержишь его, уже тянет Саньку рассказать Оксане Викторовне о дальних своих странствиях, о разных трудностях и сомнениях, которые довелось перенести ему в разлуке с ней. Оксана Викторовна, подперев голову рукой, слушала Саньку внимательно, почти как в прежние годы, и даже несколько раз, как показалось ему, глубоко вздохнула, как будто ей тоже хотелось в дальние моря и странствия и теперь уж чтоб непременно с ним, с Санькой. От такого вздоха и от такого желания Оксаны Викторовны разгорячился Санька еще больше и едва не поведал о ночном мельничном приключении, после которого она, конечно, тут же начала бы собираться в дорогу, несмотря на позднее время. Но в самое последнее мгновение, вполне даже трезво пораскинув умом, Санька сдержал себя и решил перенести этот рассказ на завтра, а может, даже и на послезавтра, когда Оксана Викторовна пополнит свои спиртные запасы. Уж на что, на что, а на подобные сокровенные тайны у Саньки был просто собачий нюх. Сославшись на Сивку-Бурку, которая уже призывно бьет за окном копытом, торопит его в дорогу, Санька самым серьезным образом распрощался с Оксаной Викторовной, хотя, кто его знает, может, стоило и остаться, может, у нее где-нибудь в заветном тайничке запрятана соточка-другая и на опохмелку... И если как-либо невзначай напомнить Оксане Викторовне о ее прошлом, о ее измене и исчезнувшем агрономишке, то, глядишь, она тайничок свой и откроет. Тем более что и вздохи у Оксаны Викторовны самые затруднительные, покаянные, требующие немедленного участия и помощи...

Но Санька опять-таки вовремя сообразил, что все эти вздохи, как и опохмелка, дело далекого и даже неопределенного будущего, а веселье ему надо продолжить сегодня, и чем скорее — тем лучше.

И Санька не ошибся. В двух местах ему еще обломилось. В одном, через три дома от Оксаны Викторовны, отмечали какой-то праздник, не то встречу, не то проводы, все были уже в возвышенном состоянии и приветили Саньку как самого дорогого гостя. А в другом, возле молочарни, Санька напросился на последнюю рюмку сам. Зная надежный, покладистый нрав бабки Моти, которой всегда приходилось ждать Саньку дольше других, он попросил ее чистосердечно, без всякой утайки и обмана:

— Недобор получается, Матрена Ивановна! Налей-ка стопочку!

В темноте бабка Мотя не разобрала, что Санька и без того уже хорош, и прощальную, завершающую стопочку ему налила.

С бабкой Мотей у Саньки отношения тоже особые. Родственные даже, можно сказать, отношения. В давние его, юношеские еще годы вполне могла она стать Саньке тещей, а он ей зятем, одним-разъединственным, самым любимым и долгожданным.

Тут, конечно, история покруче, чем с Оксаной Викторовной.

Была у бабки Моти дочь Тонька, почти ровесница Санькина, всего-то года на два и моложе. Еще в школе, в последних классах, стали поглядывать они друг на дружку с любопытством. Дальше — больше. Что ни вечер, сидят возле Тонькиного дома, звезды считают, соловья залетного слушают, ну и все остальное, что полагается в этом возрасте. Дело вроде бы уже к женитьбе шло. Но Саньке еще служба в армии предстояла, а Тоньке надо было школу закончить. Думали они, думали с ней да в согласии и порешили: три года этих окаянных пережить, вытерпеть.

И пережили. Тонька под присмотром бабки Моти в строгости себя держала, ни с кем из деревенских ребят не провожалась, на лавочке не сидела. Иначе бы Саньке дружки, оставшиеся в Отрадном, сразу бы доложили. Он тоже по первому году в увольнении на городских девок не заглядывался, пропускал их мимо глаз, Тонькины заветные слова помнил, обещание, ей данное, соблюдал. Но потом — дело молодое, солдатское — одну-другую зазнобу себе, конечно, завел. Не больно, правда, серьезно, а так, лишь бы ребята не приставали да не подначивали: мол, деревня ты деревней — девок боишься.

Но, как бы там ни было, отслужил Санька, вернулся. Тонька его еще больше расцвела, ну прямо тебе маков цвет. Тут бы и свадьбу сыграть, в зятья к бабке Моте определиться. Да Санька уже другой жизни нагляделся, к другому обхождению попривык. «Вот что,— говорит он Тоньке,— терпели мы с тобой три года, давай еще годик потерпим. Завербуюсь я на золотые прииски, заработаю большие деньги да и вызову тебя к себе, чтоб завести нам богатую семейную жизнь в каком-нибудь хорошем городе. А здесь, в Журавлиных Выселках или в Отрадном, будем мы с тобой до самой смерти волам хвосты крутить!»

Тонька опечалилась вначале, поплакала даже, а потом и согласилась. «Ладно,— отвечает,— потерплю еще годик».

Сговорились они, значит, таким образом, и завербовался Санька на лесосплав, уехал. А там, на лесосплаве, своя жизнь, только успевай пить-опохмеляться, девок вербованных навалом, одна другой краше. В Отрадное Санька всего-то, может, писем с пяток и написал. То некогда ему, то голова с похмелья болит-разваливается, то девки эти, вербованные, письмо у Саньки выкрадут да со смехом и прочитают...

А у Тоньки тем временем дела пошли самым неожиданным образом. Работала она вначале звеньевой в колхозе, и надо сказать, хорошо работала, портрет ее всегда на «Доске почета» висел, в районной газете про Тоньку не раз писали. И дописались! Приметила ее председатель сельсовета Полина Илларионовна, женщина крутая, своевольная. Санька от нее немало натерпелся, когда вербовочные документы оформлял. Приметила она, значит, Тоньку и давай сманивать секретарем в сельский Совет: почерк у Тоньки был больно уж каллиграфический, да и насчет грамотности она первой ученицей в школе считалась: все диктанты на одни только пятерки и писала.

Тонька посомневалась-посомневалась, с Санькой даже посоветовалась, а потом и дала согласие. Все-таки почетно молоденькой совсем девчонке в сельсовете работать, да оно и полегче, не то что в поле, где все время на жаре да на ветру. А о том Тонька не подумала, что сельсоветская эта работа к добру ее не приведет. И всему, конечно, виной Полина Илларионовна. Женщина она была мало того что крутая и своевольная, так еще и любительница выпить. Ничего тут особо удивительного нет. Деревенские женщины все понемножку выпивают: на праздниках там всяких, на свадьбах или именинах. Но Полина Илларионовна и в будний день выпить была не прочь. Да и как не выпить при такой должности, как у нее? То справку какую-либо выдашь, печать поставишь, то земельный вопрос решишь, то законный брак оформишь — и всякий раз расплата одна: выпивка-закуска, благодарственное слово. Санька ей при вербовке тоже, помнится, не одну бутылку отнес.

Ну, мало-помалу начала втягиваться в эту жизнь и Тонька. Там рюмочку пригубит, там из полустаканчика попробует, и пошло-поехало. Женщины ведь, как известно, скорее мужиков к водке привыкают, крепче втягиваются в нее, в заразу. Санька в своих странствиях под самую завязку нагляделся на все их загулы по пивнушкам и общежитиям. Не одна такая у Саньки в подружках числилась, раскручивая его, случалось, до последней копейки.

Но с Тонькой, может, все еще и обошлось бы, останься она и дальше при сельсовете. Все-таки на людях всегда, при исполнении, блюсти себя надо, Санькиного вызова дожидаться. Но Полина Илларионовна возьми да и переведи ее продавщицей в магазин. Проворовался там кто-то, что ли, и Тоньку вроде бы как на исправление запущенного дела выдвинули. Но магазин есть магазин, да еще по тем веселым временам. То мужики заладятся выпивать по какому-либо случаю и Тоньку, понятно, не обнесут, предложат и винца, и водочки; то воскресная выездная торговля в городе на базаре — и опять без выпивки, без обмы-

вания не обойдется; то вдруг налетит в село к Полине Илларионовне какое-нибудь непредвиденное начальство — тогда уж совсем дело разгульное: двери в магазине на крючок, и давай наводить ревизию, да так, что Тоньку иной раз бабка Мотя с трудом домой доводила.

Дальше — хуже. Из магазина Тоньку, понятно, вскорости уволили, растрата какая-то там у нее получилась по пьяной лавочке. Полина Илларионовна едва-едва ее от тюрьмы спасла.

Определилась после этого Тонька в город. Вначале пивным ларьком заведовала, потом овощной палаткой, а после и вовсе уже покатилась — посуду стала принимать. И что ни день — пьяная.

Доберется кое-как домой, сядет на крылечке да песню поет:

Зачем тебя, мой милый, я узнала-а-а...

Бабка Мотя и ругать ее пробовала, и лечить, но все напрасно. Так и умерла Тонька, сидя на крылечке да песню свою разгульную распевая...

После бабка Мотя не раз об этом с Санькой заговаривала:

— Женился бы ты тогда на Тоньке, Сашка (она его всегда Сашкой зовет), может, ничего бы и не случилось.

— Может, и не случилось бы,— ответит ей Санька да и переведет поскорее разговор на что-либо иное: чего тут прошлое вспоминать, старые раны, почти уже зажившие, тревожить...

Бабка Мотя вздохнет, покачает головой да и отпустит Саньку с миром, стопочку даже иной раз нальет по-родственному, счастливой дороги пожелает.

Вот и сегодня не отказала: и рюмочку доверху налила, и за калитку проводила, и счастливого пути до дома пожелала...

Путь у Саньки действительно получился счастливый. Расставшись с бабкой Мотей, с Сивкой-Буркой и бидонами, он, как и вчера вечером, весело шагал по торфяной мягкой тропинке, без всякого страха и упрека поглядывая на темнеющие вдалеке мельницы, о Тоньке больше не вспоминал, не думал, а вот об Оксане Викторовне, которую оставил в немалом, кажется, томлении, вспомнил и даже повторил больно уж полюбившиеся ему строчки:

Не хочется ль вам пройтиться
Там, где мельница вертится...

Вполне даже возможно, что Оксане Викторовне и хотелось...

Но чем ближе подходил Санька к мельницам, тем все больше брало его сомнение. Черт его знает, что может тут произойти, среди темноты и полного душевного одиночества! Несколько раз он даже останавливался, напрягал слух и зрение, стараясь различить, не крутятся ли на ветряке крылья, не рокочут ли жернова. Но пока все было вроде бы тихо и нерушимо, луна и та, содействуя Саньке, благоразумно зашла за тучку. Радуясь такому удачному стечению обстоятельств, Санька уже и калитку приоткрыл, чтоб поскорее прошмыгнуть в дом да и завалиться там до утра на топчане или на лежанке, тем более что душа и тело требовали полнейшего, абсолютного даже, можно сказать, покоя. И вот именно в это самое мгновение на второй по счету мельнице четырехметровые темные крылья вздрогнули и при свете вновь появившейся луны сделали первые два-три оборота, а потом послышался и тяжелый рокот работающих жерновов.

— Тьфу ты, Господи! — прихлопнул назад калитку Санька. — Опять начинается!

Конечно, можно было, не обращая никакого внимания на мельничное это происшествие, забежать все ж таки в дом, покрепче набросить на пробой крючок да и завалиться на мягком, набитом столярною стружкою топчане, и пусть крылья и жернова хоть в разнос пойдут. Санька уж если заснет, захрапит, да еще вот так крепко выпивши, то никто его после не разбудит и не подымет. Не раз это проверено и испытано в самых, как говорится, экстремальных условиях.

Но наперекор всем законным Санькиным порывам и устремлениям какая-то неведомая твердая сила развернула его на тропинке и направила к рокочущей, работающей уже на полную мощь мельнице. Вначале, правда, Санька шел кое-как, вразвалочку и враскорячку, едва-едва переставляя ноги, но потом он вдруг встрепенулся, протрезвел и, чувствуя, что сегодня порядком, кажется, припаздывает, засеменил по тропинке настоящей рысцой.

Степан Василинович встретил его с неодобрением и укором:

— Не годится так, Александр Данилович!

— Да это все Оксана Викторовна... — начал было оправдываться Санька (и кажется, удачно), но Степан Василинович не дал ему закончить, дернул за какой-то ремешок, идущий от лотка к коробу, и без особых разговоров отдал строгое свое мельничное приказание:

— Засыпай!

Тут уж было не до оправданий. Санька опять минутою взлетел на помост и начал один за другим засыпать в ковш мешки с зерном, а потом побежал назад, к коробу, схватил совок и приготовился собирать муку. Вначале она пошла мелкими, похожими на снежные хлопья горстями, но вскоре брезентовый рукав раздулся, отяжелел, и мука потекла ровнее, гуще, забивая Саньке и без того трудное похмельное дыхание. Но он крепился, не выдавал себя, хотя несколько раз и проносил наполненный до самых краев совок мимо мешка. Степан Василинович, правда, Санькиной этой оплошности не заметил; медленно и не спеша он обошел всю мельницу, обследовал и ковш, и жернова, помял пальцами, как и в прошлую ночь, щепотку муки и лишь после этого уселся на мельничную старинную колодочку. Санька облегченно вздохнул, дал себе небольшое послабление, чтоб как-то сбить пьяную, начавшую уже всерьез одолевать его дрожь. Со временем ему это удалось, да и как могло быть иначе, когда вторую подряд ночь такие вот страхи и такие испытания! К тому же и работа, надо сказать, была нешуточной: одному справляться и на ковше, и возле короба, тут только успевай поворачиваться, успевай оттаскивать мешки. Степан Василинович молча сидел на колодочке и даже, кажется, дремал, но чувствовалось: случись в работе мельницы самый незначительный сбой, и он тут же пробудится и пойдет искать неисправность.

Но пробудился Степан Василинович совсем по другому поводу. Уже к самому рассвету, когда Санька окончательно умаялся и несколько раз с нехорошими своими давними мыслями поглядывал на увесистые разнокалиберные гирьки на весах, он вдруг приподнял голову и как бы ни с того ни с сего спросил ненадежного своего помощника:

— Отец-то жив?

— Какой там — жив, — обрадовался Санька неожиданному этому вмешательству, отвлекающему его от преступных замыслов.— На войне еще убило.

— А мать? — допытывался дальше Степан Василинович.

— Мать здесь умерла недавно. Я приехать не мог. Далеко был...

— Ну-ну,— всего-то и ответил Степан Василинович, но Саньке стало как-то не по себе. Он стоял возле ковша, весь побелевший от мучной пыли, чахлый, и с надеждой поглядывал на все еще темное мельничное окошко...

Но вот оно почти на глазах начало сереть, наливаться теплом и светом, солнечный лучик скользнул по мешкам и ковшу. Степан Василинович тоже взглянул на окошко, поколебался самую малость, а потом, не говоря больше Саньке ни слова, направился к воротам и вскоре исчез в дальнем, затянутом туманом березняке.

— Ну уж нет, уж этому больше не бывать! — с отчаянием и злостью вскричал Санька, когда, оглянувшись назад, опять не увидел ни

мешков с мукой, ни горевшего еще минуту тому назад фонаря, ни старинных весов с гирьками на отполированной рейке.

Он со всего маху хлопнул воротами и направился домой, решив, что ни за каким молоком сегодня не поедет, скажется больным, тем более что вчера заходил к Оксане Викторовне, жаловался. Надо хорошенько отоспаться, обрести жизненные силы, а то действительно от этой пьянки запросто можно даже свихнуться, сойти с ума, и уже не одни только мельницы начнут тебе чудиться по ночам. Ребята, знающие в этом деле толк, Саньке не раз в былые времена рассказывали, что и как может привидеться в ежедневном, безостановочном пьянстве. Так что надо поостеречься и, по крайней мере, сегодня к Оксане Викторовне или к бабке Моте не ездить... Хотя похмелье, конечно, штука жестокая, погонит в любую даль и неизвестность. Это тоже Санькой не раз испытано и проверено.

Но сегодня случай был особый, с прежними не соотносимый. Критический, можно сказать, случай, и Санька, пересилив нешуточную головную боль, твердо направился домой. Там он опять поосновательней закрыл на крючок входную дверь и, не раздеваясь, не снимая даже сапог, упал на топчан.

Через полчаса из молочарни к Саньке прибежал гонец, бойкий, смышленый мальчишка. Он долго барабанил в дверь, заглядывал в окна, но все было напрасно — Санька спал беспробудно и, возможно, даже счастливо...

Проснулся он тоже в возвышенном, счастливом расположении духа. Была уже ночь, тихая и по-августовски томительная. Захватив папиросы и спички, Санька выбрался на улицу и уселся на шаткой узенькой лавочке — единственном сооружении, которое он воздвигнул здесь по возвращении из странствий. Лавочка ему была просто необходима. Сколько раз она выручала его в самых тяжелых непредвиденных случаях. Придешь в иной вечер из Отрадного в таком состоянии и в таком откровении, что последние три-четыре шага до двери кажутся тебе совершенно непреодолимыми, не говоря уже о старом навесном замке, который в такие минуты не поддается никакому усилию. И вот она — твоя спасительница-лавочка! Упадешь на нее, привалишься спиной к забору да и проспишь иногда до самого утра, пока не вернутся к тебе силы и способности...

Хотя случалось, что иногда не доходил Санька и до лавочки, а падал где-либо на травке, а то и на сырой земле, и досыпал недоспанное под дождем ли, под солнышком ли. Мужики иной раз подойдут к нему, потрогают — жив ли Санька? Жив — ну и слава Богу, поговорят, поволнуются да и свернут в сторону, чтоб не нарушать его сон и покой. Санька на следующий день за это всегда мужикам благодарность выносил. «Вы,— говорит,— меня хмельного не трогайте, с земли не поднимайте, я от нее ума-разума и силы набираюсь...»

Трезвому сидеть на лавочке Саньке приходилось очень редко. Как-то не с руки оно было, да и некогда. Трезвым его всегда тянуло в село, на люди, где какая-никакая беседа, воспоминания, а к вечеру, глядишь, и выпивка.

Сегодня же, впервые, может быть, усевшись на лавочку по-настоящему трезвым и выспавшимся, Санька не без удивления обнаружил: какое все ж таки ладное получилось у него сооруженьице. Узенькое — это правда, но зато как удачно и соразмерно отнесено от забора. Сидеть на нем — одно удовольствие, будто в каком-то заморском кожаном кресле: не затекают ни ноги, ни спина. А покурить здесь на свежем воздухе — так и вовсе выше любого удовольствия...

Санька курил, без всякой опаски и смятения глядел и на ярко светившую луну, и на дальние полуразрушенные мельницы, любовался августовской предосенней ночью и даже думал, что вот именно такой ночью рядом с родительским домом как раз и надо давать зарок — решительно отказаться от недостойного пьянства и безобразия. Зарок этот будет особенно прочным, несокрушимым, он надежно и навсегда охранит Саньку от всяких видений и глупостей...

Но лучше бы Санька так не думал на ночь глядя, лучше бы не вспоминал ни Степана Василиновича, ни мельницы. Ведь не успел он еще как следует насладиться этими думами, не успел докурить до конца папироску, как — вот оно: крылья на третьей мельнице завертелись, натужно заработали жернова — и все повторилось точь-в-точь как в прошлые ночи...

Непобедимая, твердая сила опять подняла Саньку с места и, не давая ему возможности ни разу не оглянуться назад, на дом и лавочку, погнала к мельнице. А там все уже было в работе, в круговерти: Степан Василинович, тяжеленные мешки, зерно и мука. Думать и гадать Саньке, почему оно и на трезвую голову все повторяется заново, было некогда. Работа не ждала, требовала от него немедленного участия и помощи.

Не дожидаясь от Степана Василиновича никаких указаний, Санька сам, добровольно взобрался на помост и стал развязывать мешки с отборным, хорошо просушенным — Бог его знает где — зерном. Но если в прежние ночи делал он все это в какой-то горячке и испуге, ни о чем не думая и ничего толком не соображая, то теперь не на шутку обозлился, рвал изо всей силы бечевки и грозно поглядывал на Степана Василиновича. Это что же такое получается?! Это что же за обман и издевательства?! Ну ладно, причудились по пьяной лавочке глупость и недоразумение, но почему же и на трезвую, ясную голову то же самое: мельница, жернова и всякая прочая чертовщина?! Или он действительно уж совсем того... Но вроде бы не похоже, днем-то он за собой ничего подозрительного не замечает: и еду себе иной раз какую-нибудь сварит, и дров нарубит, и по молочной его ответственной части тоже пока никаких сбоев не получается. Иначе бы ему на селе верные люди шепнули, подсказали: мол, так и так, Санька, поостерегись, сбавь обороты. К примеру, та же Оксана Викторовна и подсказала бы, медицинский все-таки работник. Нет, братцы, бежать надо отсюда, улетучиваться, пока не поздно!

Санька до того разгорячился, до того пришел в негодование, что твердо и неотступно решил: сегодня же утром, как только чуть-чуть рассветет и Степан Василинович исчезнет в темных своих лесах, немедленно собраться и тайком, ни с кем не прощаясь, исчезнуть с хутора. Во-первых, это ему не впервой — исчезать так вот нежданно-негаданно; а во-вторых, больная его нога заживет и в каком-либо ином, более надежном месте, где и работа полегче, и медички повнимательнее...

Но утром случилось вот что. Степан Василинович, прежде чем распрощаться с Санькой и уйти по тропинке в туманную даль, вдруг посмотрел на одинокое его подворье и спросил:

— Огород засевать не собираешься?

— А на кой он мне ляд! — повторил Санька заученную свою отговорку и, стараясь хоть как-то досадить Степану Василиновичу, выдал ему свои намерения: — Все равно уеду отсюда! В Тюмень, к примеру, или в Читу! У меня там друзья-товарищи!

— В Читу — это хорошо,— усмехнулся чему-то Степан Василинович. — Но ведь земля-то пустует.

— Да мало ли ее здесь пустует,— не сдавался, стоял на своем Санька. — Вон, глянь, от края до края.

— И то верно,— вроде бы как согласился Степан Василинович. — Но все ж таки, если надумаешь, могу поддержать зерном, одолжить мешок-другой.

Предложение это привело Саньку не то чтобы в обиду или негодование, а просто в какую-то оторопь.

— Это чтобы я да одалживать?! — чуть ли не приступом пошел

он на Степана Василиновича. — Да мне кладовщик Егор Барсученок за бутылку хоть весь амбар отдаст!

— Ну, гляди,— только и ответил Степан Василинович да с тем и сгинул с глаз долой, растаял в тумане и сумраке.

А с Санькой продолжало твориться что-то совсем уж необъяснимое. Вернувшись домой и кое-как отдышавшись от ночной работы, он едва ли не впервые за эти полгода, что жил на хуторе, выбрался вдруг на свой заросший непроходимым бурьяном огород.

Окинув его невнимательным и даже каким-то насмешливым взглядом от забора до пойменных грядок, где у матери всегда росла разная огородина: лук, морковь, огурцы, Санька, по-прежнему все еще злой и сердитый, на чем свет стоит костерил Степана Василиновича. Тоже мне, понимаешь, умник нашелся — огород ему засевай, зерно одалживай! Охота тебе, так и засевай, так и одалживай, а у нас другие делазаботы!

Но потом Санька немного поуспокоился, присел на меже и, сбив на затылок велюровую перемазанную мукой шляпу, принялся вдруг рассуждать как-то совсем по-иному, непривычно для себя и даже опасно. Оно, конечно, если тут пахать, так надо непременно трактором, дернина-то вон какая за пять лет слежалась, обыкновенным конным плугом ее не возьмешь. Санька не поленился — прикинул, как сюда получше трактором заехать, чтоб не зацепить старую, полузасохшую яблоню. По его расчетам получалось, что заехать вполне даже можно, если маленько, конечно, порушить дикорастущий, соседский когда-то вишенник. Не откладывая дела в долгий ящик, Санька решил немедленно идти в колхозную контору и требовать себе трактор для вспашки огорода. Уж кому-кому, а ему-то не откажут, человек он все ж таки в селе заметный, необходимый, можно сказать, человек.

Но уже возле калитки Санька вдруг поостыл. Нет, ребята, с трактором дело не пойдет. Знаем мы этих трактористов-комбайнеров! Не успеешь с ним договориться, не успеешь заехать на огород, как он тут же потребует бутылку. Да, поди, еще и не одну! Это — во-первых. А во-вторых, трактор через болотце, через проклятую трясину, которая теперь подступила почти к самому Санькиному дому, еще и не переберется. Завязнет где-либо посередке и будет торчать целый день. Тогда уж одной-двумя бутылками не отделаешься! Тогда выставляй полный магарыч с настоящей закуской и, само собой разумеется, завтрашней опохмелкой. Ну, а в-третьих, все ж таки яблоня. Она хоть и старая, хоть и почти засохшая, а десятка полтора яблок Санька на ней насчитал. Надо будет взобраться да сорвать, какая-никакая, а прибыль в хозяйстве, пополнение, свой, так сказать, урожай. А трактористам этим с пьяных глаз что яблоня, что телеграфный столб — никакой разницы, зацепят — и вся недолга, не свое ведь, не собственным горбом нажитое.

В общем, о тракторе тут и говорить не приходилось. Санька это решил окончательно и бесповоротно. Тут надо конным плугом, потихоньку да полегоньку, аккуратно, чтоб нигде ничто не потревожить. Ну а если конным, так это мы и сами могём, без посторонней помощи. Подвода, Сивка-Бурка, слава Богу, в своих руках, позволения ни у кого спрашивать не надо. А навык кое-какой в этом деле у Саньки имеется. В молодые свои деревенские годы не один гектар им вспахан. Начинал, понятно, на волах, а потом и лошадей доверили. С утра в колхозе соток сорок вспашешь, а после обеда по частным подворьям отправляешься, чтоб и лошадей подкормить да и самому щей похлебать. Времена-то были не Бог весть какие сытные — послевоенные. Так что кое-чего знаем, кое-чего помним...

Мы с чудесным конем
Все поля обойдем —
Соберем, и посеем, и вспашем... —

окончательно воодушевил себя Санька, в пылу воодушевления, правда, решительно забыв, что «чудесный конь» — это как раз и есть трактор, а не его Сивка-Бурка. Ну да особо разбираться Саньке было некогда — время не ждало. До начала пахоты, серьезной крестьянской работы, надо еще собрать злополучное это молоко, тем более что за вчерашний прогул числится за Санькой кое-какой должок.

По-петушиному бойко перебрался он через болотце, запряг на колхозном дворе Сивку-Бурку и всего за какие-либо полтора часа, ни с кем особенно не вступая в разговоры, собрал молоко. Задержался он лишь возле двора бабки Моти, потому как для переговоров с Барсученком обязательно нужна ему была бутылка. Бабка в положение Саньки вошла и в счет будущих его услуг и внимания вынесла, пряча под фартуком, все, что полагалось. О Тоньке на этот раз ни словом не обмолвилась, не укорила Саньку, как будто чувствовала, что дела ему сегодня предстоят серьезные, решительные и на посторонние мысли да воспоминания отвлекаться никак нельзя. Иначе не работа получится, а маета одна и надрыв сердца...

В дальнейшем у Саньки все шло как по писаному, без малейших осложнений и задержек. Конный плужок и борону он нашел на мехдворе под навесом. Старенькие, правда, еще даже те, может быть, послевоенные, но к работе и употреблению вполне пригодные.

С Барсученком тоже все получилось как нельзя лучше. Народу на току не было ни души, и Барсученок, завидев Санькину бутылку, быстро сообразил, что к чему. И какой только дурак держит его в кладовщиках?! Ведь, поди, ни одному Саньке ссужает он так вот за выпивку мешок-другой? Но, может, потому и держат, черт их теперь тут в колхозе разберет.

Мешок Санька притрусил сверху для отвода глаз соломкою, оглянулся на всякий случай по сторонам — и только его здесь и видели. Уж что-что, а умыкнуть какой-либо плохо лежащий товарец Санька умел, жизнь в дальних странствиях этому научила. И надо сказать, Бог Саньку миловал, остерегал — всего только один раз и пришлось ему в охоту потрудиться под надзором дельных молчаливых ребят...

Дома Санька без долгих разговоров перепряг Сивку-Бурку из телеги в шлею, которую тоже не забыл захватить на колхозном дворе, приладил плужок и, посмеиваясь над подначками и недоверием Степана Василиновича, выехал на огород. Но тут произошла в его пахотном деле заминка, и надо сказать, немалая. Бурьян на огороде был выше всякого человеческого роста, и они с Сивкой-Буркой на огороде запросто даже могли в нем заблудиться, заехать в такие дали и оконечности, что их после всем селом бы не нашли. Сказали бы, наверное, так: «Был Санька и пропал в дебрях и буераках, туда ему и дорога!» А может, и искать бы не стали. Народец ведь нынче какой пошел: чуть человек в одиночестве живет, на отшибе, так сразу он лодырь и бездельник, сразу — туда ему и дорога... Хотя никакой тут дороги и в помине нет, одно только головокружение и мрак...

Конечно, пахать по такому бурьяну было никак нельзя. Сивка-Бурка плужок по нему не потянет, да и будет бурьян этот после торчать из-под перевернутого пласта, как какая-либо бахрома, позоря трудолюбивого Саньку.

Недолго думая, он достал из кармана спички и хотел уже было чиркнуть, чтоб бурьян этот, крепко подсохший к осени, занялся и пошел полыхать от края и до края. Но вовремя спохватился: это ведь только чиркни, только дай заняться, а потом вовек не остановишь, тут пожару дня на два, не меньше. К тому же и ветер не в поле, а к дому, так что запросто даже можно лишиться последнего пристанища, крова, и пойти по миру погорельцем...

Одним словом, надо было проклятый этот бурьян косить. Санька вздохнул, плюнул в сердцах и пошел в сарай за косой. Нашел он ее в застрехе, старенькую, заржавевшую, не косу, а скосок, которым мать,

судя по всему, в последние годы поработалв вдосталь. Оглядев полотно со всех сторон и попробовав во дворе на крапиве и еще каком-то чертополохе, Санька пришел к печальному выводу, что косу надо бы заново отбить, отклепать, как говорят у них в деревне, иначе не косовица, а одно мучение. Он даже загордился этим своим решением: взять вот так да по-хозяйски, по-мужицки подготовить крестьянский, долго не бывший в употреблении инструмент к предстоящей нешуточной работе. Степенным, неторопливым шагом Санька вновь проследовал в сарай и отыскал там в старом посылочном ящике все необходимые приспособления для отбивания косы: «бабку», которую ныне по городским магазинам зовут каким-то нечеловеческим словом — «косоотбойник», и старый, дедовский еще, может быть, молоток. Пристроившись на свежем воздухе возле дровяной колодки, Санька хорошенько поплевал на руки и принялся за дело. Но дело это, к немалому его удивлению, не пошло. Коса несколько раз опасно соскальзывала с узенькой «бабки», которую деревенские кузнецы обычно мастерят из старых слесарных напильников; молоток, будто пьяный, вихлял в руке и отбивал, оттягивал на полотне настоящие зубья и пузыри. А ведь, помнится, в давние, детские еще почти годы Санька отбивал косу не хуже любого взрослого мужика. Никаких зубьев и пузырей на полотне у него тогда не было. Оно оттягивалось на «бабке» ровненькой сизой ленточкой, которую после надо было лишь малость подправить монтачкой. А теперь получается черт знает что! То ли «бабка» какая-то старая, негодная, то ли молоток плохо насажен на ручку, вот и вихляет, вот и идет юзом. Санька еще несколько раз, но уже без прежней решимости и настроения, тюкнул молотком по косе и отбросил его в сторону. Да горит оно все огнем — и так сойдет! Не траву же гусятник, в самом-то деле, собирается косить Санька! Тут неотбитая, тупая коса даже лучше, надежнее — это он по опыту хорошо знает. Ведь сколько раз, бывало, в детстве отобьет он так вот косу да и выйдет с ней по глупости своей и недомыслию за сарай, чтоб скосить поднявшуюся там за лето лебеду. И что же в итоге?! Не успеет замахнуться раз-другой, как полотно уже тупее прежнего, загнуто и повреждено в нескольких местах, хоть снова берись за молоток и «бабку». А будь он поумнее, косил бы неотбитою косою. Бурьян ведь за сараем такой, что его в пору топором рубить.

Мысли эти и воспоминания очень даже понравились Саньке, и он, помонтачив косу маленько бруском, вышел на огород с новым, зрелым уже, можно сказать, настроением.

Но прежде чем сделать первый покос, пришлось Саньке немало побродить по бурьянам. В селе у них дело было поставлено так, что половина огорода засевалась рожью, а половина шла под картошку. Каждый год посевы эти и посадки чередовались, иначе ничего толком на их песчаных, не больно-то урожайных землях не вырастет. Вот Санька и лазил по бурьянам, пытаясь определить, где у матери в последний раз была рожь, а где картошка. Но никакого проку у Саньки из этих определений не вышло. И с одной, и с другой стороны бурьян был почти в два метра высотой, земля же задернилась так, что ни на погляд, ни на ощупь нельзя понять, что тут и когда сеялось. В конце концов Санька плюнул на все и стал косить с правой стороны, определив, что пахать тут сподручней, не будут мешать при разворотах ни яблоня, ни соседский вишенник.

Коса, хоть и старенькая, хоть и неотбитая, а вжикала, врезалась в бурьян основательно — сила в Санькиных трудовых руках все ж таки еще была. Больная нога, правда, давала о себе знать и даже как-то опасно поскрипывала в коленке, но постепенно Санька приспособился и к этому, стараясь продвигаться вперед мелкими осторожными шажками, чтоб нога, не дай Бог, не подвернулась на высокой, похожей на пеньки стерне. Он повеселел, стал сноровистее в работе. Второй, встречный покос повел уже шире. Рубаха на нем взмокла, прилипла к плечам, пот крупными дождевыми каплями катился из-под велюровой шляпы, заливал давно не бритые худые скулы. «Пьянь выходит», — вначале философски решил Санька, но когда к поту неожиданно примешалась еще и одышка, а поясницу стало ломить так, что хоть криком кричи, он насчет «пьяни» крепко засомневался. Ведь в молодые, колхозные годы сколько раз приходилось ему с мужиками выпивать на лугу по рюмке — и ничего, никакой тебе одышкин, никакой ломоты. Пот, правда, тоже катился градом, так на то она и косовица, страда. «Возраст, должно быть», — нашел себе новое оправдание Санька. Не двадцать лет все-таки, силы подрастерялись, к тому же и нога вот побаливает... Хотя в далекие те годы, помнится, как раз мужики в возрасте и становились в ряд первыми, вели за собой молодых, не набравшихся еще терпения косарей. А ведь все и войну пережившие, раненые и искалеченные не меньше Саньки. Так что не в возрасте и не в ранениях тут дело...

Часто останавливаясь и подолгу монтача косу, Санька начал было грешить именно на нее: старая она, изработавшаяся, хоть в кузнице ее отбивай, а толку тут мало. Надо бы у кого-нибудь из мужиков новенькую попросить, современную, чтоб полотно было в ладонь шириной и сталь особой, конверторной марки. Тогда бы уж Санька показал себя, тогда бы он любого деревенского косаря заткнул за пояс, подрезал бы ему, как говорят, пятки.

Но вскоре Саньке пришлось помиловать ни в чем не повинную, хорошо поработанную на своем веку косу. Он вдруг вспомнил, как в один из его редких приездов домой приходили к матери мужики менять, казалось бы, совсем незавидный скосок на новую, только что купленную в магазине косу-девятку. Но мать не согласилась, быстро разгадав, что мужики тут лукавят, что новенькая эта, поблескивающая на солнце коса ни в какое сравнение с ее скоском не идет...

Несколько раз в изнеможении Санька останавливался посреди огорода, с ненавистью смотрел на бурьян и даже решился было опять плюнуть на все. Да что он тут — нанялся, что ли? Зарплата ему за это идет? Или магарыч поставят?!

Но его словно кто-то держал за полу, подталкивая вперед, заставлял снова браться за косу, и Санька, сбивая бурьян теперь уже только поверху, пришел наконец к печальному и как-то нехорошо обидевшему его выводу: «Отвык от косьбы — и весь тут сказ!»

Другого объяснения у Саньки не было: и коса у него хорошая, и сила еще есть, а вот, поди ж ты, отвык, потерял былую сноровку.

Но обижайся не обижайся, а косить надо, солнце уже стояло высоко, торопило Саньку, да и Сивка-Бурка у забора несколько раз тревожно поглядывала на него...

Бился Санька с окаянным бурьяном, наверное, еще часа полтора и в конце концов победил. Огород как-то сразу прояснился, посвежел: Санькиному взгляду вмиг открылись и пойменные грядки, и луг, и блеснувшее в излучине стеклышко реки... Настроение, упавшее было к самой нижней отметке, к нулю, опять заметно поднялось, и Санька примерялся даже к левой части огорода. Оно, если по делу да по уму, так и с левой стороны надо бы скосить бурьян сейчас, чтоб после, весной, не терять понапрасну золотые апрельские денечки. Но еще раз поглядев на солнышко, которое взобралось совсем уже высоко, Санька отступился. Ладно: выберет он по осени денек, когда ветер будет в сторону речки, да и спалит весь этот бурьян в одну минуту. А сейчас только жилы на себе рвать, нервы портить!

Санька воочию представил, какой разгуляется тут по осени пожарище, и даже весело хохотнул. То-то всполошатся отрадненские мужики, подумают: горит Санькино имение — и вмиг примчатся с пожарной машиной, с топорами и ведрами... в расчете, конечно, на то, что если отстоят Санькин дом и сараюшку, то непременно обломится им от

хозяина магарыч. Знает он их, чертей, им пожар не пожар — главное, чтоб выпивка. А нет бы приехать сейчас да подмогнуть Саньке с пахотой и севом, чтоб он не упирался тут в одиночку, больной и хворый.

Мысли потянули было Саньку и в еще более неведомые, опасные высоты, где замелькали уже не одни только отрадненские одураченные мужики, а и жители районного центра, тоже обеспокоенные пожаром, ну и, само собой разумеется, Степан Василинович, которому уж действительно опасаться надо. Ведь случись ветер к речке, так все его мельницы вмиг займутся и сгорят вместе с жерновами и крыльями. Санька так было разохотился, разгорячился, что, забыв о пахоте, опять полез было в карман за спичками, но потом все же спохватился, одернул себя: что там ни говори, а нынче ветер к дому, и с пожаром надо бы малость повременить...

Сивка-Бурка возле забора совсем уже изнемогла, заждалась его. Санька вошел в ее положение, отвязал от забора и, как заправский оратай, покрикивая и пощелкивая кнутиком, стал заводить ее поближе к меже, чтоб проложить первую, самую ответственную борозду. Оно, конечно, неплохо бы раскидать здесь машину-другую навозу, чтоб урожай был с гарантией, с походом. Надо было Саньке переговорить с бригадиром или председателем колхоза. Навозу в Отрадном возле фермы — бери не хочу, целые Кавказские горы. Хотя черт их, этих мужиков, теперь разберет! Вот лежат эти горы никому не нужные, выветриваются, преют, а только заикнись Санька, как тут же найдутся хозяева, бухгалтера-счетоводы, затребуют рублей по пятьдесят за машину. Не будет овчинка стоить выделки! Так что повременим в этом году, обойдемся. Земля пять лет под парами лежала, отдохнула, на ней и без всякого навоза стопудовый урожай запросто даже вырастет...

Промелькнуло в голове у Саньки и еще одно сомнение, опасность. Не потянет Сивка-Бурка в одиночку по этой буреломной стерне и дернине. Тут надо бы пароконным плугом. Но опять-таки — где его возьмешь, пароконный? Во всем колхозе, кроме Сивки-Бурки, больше ни одного конька. Всё трактора да комбайны. Иной раз глядишь, на К-700 один-разъединственный мешок зерна везут. Во дожили, во дохозяйствовались!

Но, к удивлению Саньки, Сивка-Бурка потянула. Только он закинул плуг и прикрикнул на нее, как она тут же налегла на шлею, склонила к самой земле голову и напористо пошла по высокой колючей стерне.

Первая борозда далась Саньке большим трудом и потом. Уж если он лет тридцать не брал в руки косу, то плуг-то и тем более. Багор, лопату или кайло — это да, это приходилось, и в охотку, а вот плуг — откуда? Санька-то и на погляд забыл, каков он. Метров тридцать-сорок плуг плясал в его руках, как неприкаянный, то захватывая непомерно широкую борозду, такую, что лемех даже до конца не переворачивал ее и Саньке приходилось помогать ногой, то, наоборот, сводил ее почти на нет — до тоненькой, утыканной стерней скибочки, и лемех опять ее не переворачивал — потому что переворачивать было просто нечего. Вдобавок ко всему несколько раз плуг опасно зарывался сошником в землю, и Сивка-Бурка с трудом выдергивала его, заставляя Саньку поворобьиному выпрыгивать из борозды.

Но на втором круге Санька все-таки приноровился, вспомнил все, казалось бы, не Бог весть какие тонкости пахотного дела. Перво-наперво перестал он с отчаянием и страхом сжимать ручки плуга, а лишь легонько, словно играючи, придерживал их да наметанным глазом следил за ножом, чтоб тот нарезал борозду одинаковой ширины. Совершенно забыл он и о вожжах, без толку не дергал ими Сивку-Бурку. Не в пример Саньке, она в пахотной страде ничего не забыла, размеренно и напористо шла в борозде, чутко откликалась на каждое Санькино движение.

Как бы этая кобыла коньком бы была, —

вспомнил вдруг Санька вычитанные недавно из своей детской еще книжки слова, —

За этую кобылу пятьсот бы дали...

Слова эти Саньке до того понравились, что он еще несколько раз повторил их и даже пожалел, что детскую эту свою книжку всю без остатка использовал на растопку печи. А в ней, вишь, какие дельные присказки есть: и про Сивку-Бурку, и про оратая, который запросто даже может забросить любую сошку за ракитов куст. Поощряя Сивку-Бурку, Санька дал ей немного передохнуть, пожевать возле забора травы. Состояние души у него было теперь самое воинственное. Подумаешь, велика задача — вспахать-посеять! Да не такое видали, не такие сошки за ракитов куст забрасывали — и ничего, лежат там до сих пор, дожидаются хозяина!

Как бы этая кобыла коньком бы была,
За этую кобылу цены б не было, —

совсем распалился Санька и даже похлопал Сивку-Бурку по холке.

«Лектором» он тоже был известным. Не раз ему за эти «лекции» крепко доставалось в местах не так уж чтоб и отдаленных, но и не близких, когда Санька, отлынивая от работы, вдруг пускался в такие лирические отступления, что его напарники поначалу только рты раскрывали. Зато потом, придя в себя и разгадав все Санькины тонкости, они «принимались» за него с завидным знанием дела и всегда доводили это дело до Санькиных слез и страданий...

Здесь же, у родного дома, никто ему не грозил, и Санька философствовал, наверное, минут сорок, опять поминая недобрым словом всех знакомых отрадненцев: Оксану Викторовну, бабку Мотю и, само собой разумеется, Степана Василиновича, которые забились по щелям и на подмогу ему с Сивкой-Буркой не идут. Обеда вон в доме никакого нет, рюмки самой завалящейся днем с огнем не сыщешь. А какая пахота без обеда да без рюмки?! Упадешь ведь в борозде — и весь сказ, никто не опечалится!

А тут еще совсем не ко времени и некстати вспомнилась ему вдруг Тонька...

Женись он тогда на ней, как бы нынче дела обстояли? Детей бы она ему, поди, целый детский сад нарожала, не раз о том, бывало, заговаривала, на лавочке сидя. Старшему сыну в аккурат бы сейчас к тридцати клонилось. В самом разгаре был бы парень, в самой силе. Да он бы этот огород в два счета перепахал, хоть трактором, хоть лошадьми. Остальные дети тоже на подмогу бы вышли: кто навоз в борозду загребать, кто картофельную ботву жечь на меже, а кто зерно к посеву готовить. Санька лишь покуривал бы да похаживал по огороду, указания давал. Глава семьи как-никак, кормилец, хозяин.

В доме оно тоже бы все по-другому было: прибрано, подметено. Обед к окончанию работы готов: борщ горяченький, наваристый, каша с какой-либо бараниной и подливой, бутылочка само собой. Закончили бы они пахоту-посевную, расселись вокруг стола всем семейством, по рюмочке бы с сыновьями-дочерьми выпили, песню бы спели... Во как!

Оксана Викторовна тоже, конечно, Саньке одного-другого сына родить могла. Эти еще в школу бы сейчас ходили, в третий-четвертый класс. Но на помощь бы отцу тоже вышли: грабельки, серпы в руки взяли бы, крестьянские все ж таки дети, к работе и труду приученные. Оксана Викторовна, та бы от Саньки ни на шаг, Сивку-Бурку под узду бы водила, хлебушком из ладони подкармливала...

Санька пошел было и дальше загадывать, какой бы обед Оксана Викторовна сварила, какие бы наливки на стол выставила. И так ладно, так хорошо у него все получалось, что хоть пляши от радости и удачи.

Но потом он с какой-то непонятной, залетной тоской поглядел на свое подворье, на огород, на августовское, по-осеннему низкое небо и вдруг почувствовал, что если не остановится сейчас, если не выбросит из головы и Тоньку, и Оксану Викторовну, то — все, конец ему, ни о какой пахоте больше и разговора быть не может, надо скорее бежать в село, доставать хоть четвертинку, хоть самый маленький шкалик, иначе душа его такого томления и несправедливости не вынесет.

Санька даже попридержал было Сивку-Бурку при очередном развороте у забора, похлопал себя по карманам, проверяя, не завалялся ли там какой-либо трояк, чтоб в селе не побираться, а раздобыть выпивку на свои, законно заработанные деньги. Но ничего, конечно, в карманах не было: ни трояка, ни даже гривенника. Еще на прошлой неделе Санька все до последней копейки выложил в городе в железнодорожном магазине, куда завезли редкостное по нынешним временам крепленое вино.

Это до того обидело, до того оскорбило Саньку, что он с остервенением закинул плуг в новую борозду, прикрикнул на ни в чем не повинную Сивку-Бурку и даже хлестнул ее вожжами. Да пошли они все подальше со своими женами, детьми! Знает он их, насмотрелся по городам и весям. Не успеешь сопливых этих детей вырастить, поднять на ноги, как они тут же и разбегутся по техникумам-институтам, поженятся на каких-либо шалавах и будут тянуть из отца-матери последние жилы: на обзаведение квартиры, на мебеля там всякие — стенку, холодильники им подай; на машину, которую непременно загоношатся купить, опять вынь да положь; на курорты-санатории отвали сотенную-другую. А где их взять, эти сотенные-другие при нынешних крестьянских заработках? Нет уж, увольте, Санька и один справится: и огород вспашет, и посеет, и выпьет-закусит. Вольный он человек, неприкосновенный!

Наскоро перекурив у забора, Санька еще сердитей прикрикнул на Сивку-Бурку и пошел круг за кругом, опять грозя, кажется, всему белому свету. Сам вспашу и посею, изо рта поливать буду, но уж когда вырастет урожай — все мое, никому ни полушки не уступлю, ни приблудным этим сыновьям, ни невесткам, продам втридорога и уеду на самый дальний Север, где ни мельниц тебе, ни земли, где одни только свобода, равенство и братство...

Закончил он пахать уже далеко после обеда, умаялся так, что казалось, действительно упадет сейчас в борозде и, если не помрет, то, по крайней мере, уснет непробудным сном. Все-таки привычка дело нешуточное. Ведь в молодые годы вон по сколько за день вспахивал и, слава Богу, не помирал. Переоденется к вечеру и в клуб на танцы или на свидание к Тоньке. А ныне вот ни рук ни ног не чувствует...

Под тяжелую эту минуту Санька вначале даже решил было, что сеять будет завтра поутру. Но потом опять обозлился, рассвирепел и, неизвестно кому угрожая, пошел в кладовку искать старую, рассчитанную ровно на пуд зерна «мерку». В прежние годы в любом крестьянском доме такая мерка обязательно была. Мастерили ее из липового легкого дерева и держали в сухости и сохранности, потому как была она в хозяйстве инвентарем самым необходимым. Надо, к примеру, засевать огород, поле — повесил ее на ремне через плечо, и вот он, как говорится, «сеятель твой и хранитель». Или при уборке урожая надо определить, сколько намолочено-навеяно, так опять без нее не обойтись, насыпаешь по самый венчик, и уж будь спокоен — ровным-ровнехонько в ней пуд. Или едешь ты, к примеру, на мельницу, так тоже неплохо бы захватить ее с собой, потому как мельник, какой-нибудь Степан Василинович, того и гляди норовит обмануть тебя, взять за помол лишнее. У него ведь для этого своя мерка изготовлена, на весах вроде бы выверена, но с обманом вся, с хитрецой, гляди не зевай! В крестьянском деле без меры и веса никак нельзя!

Санька долго перебирал в кладовке рухлядь, исследовал все углы

и потаенные места и все-таки обнаружил мерку за старой дежой, в которой мать когда-то пекла хлеб.

Уж неведомо почему, но Санька по-детски обрадовался этой находке, бережно, словно малого ребенка, взял мерку в руки, дивясь, какая она легенькая и ладная, какая, несмотря на древний уже возраст, еще крепенькая и пригодная к делу.

На огороде Санька, совсем уж забавляясь, постучал по днищу мерки кулаком, дабы послушать, так ли весело и звонко отзовется она, как в детские, его давно минувшие годы. Мерка не подвела Саньку, отозвалась звонко и весело, не обнаружив ни единой щелочки, ни единой трещинки, сквозь которые могло бы оброниться на землю зерно.

Покончив с этим смешным, наверное, если посмотреть со стороны, занятием, Санька наконец развязал мешок и насыпал в мерку зерно. Не по самый венчик, понятно, а чуть больше половины, чтоб с непривычки по силам было Саньке нести ее, притороченную ремнем на шее.

Признаться по правде, зерно Саньке крепко не понравилось. Было оно какое-то квелое, как бы недоразвитое, текло между пальцев без всякой сколько-нибудь заметной тяжести, и Санька поначалу не на шутку расстроился и даже посетовал: надо было все ж таки взять у Степана Василиновича, а то Барсученок этот подсунул, небось, какую-либо полову, ему лишь бы магарыч, лишь бы глаза залить.

Но потом Санька, как всегда с ним водилось, махнул на мелкое свое огорчение рукой. Ничего, и так вырастет! В колхозе вон засевают — и, глядишь, хвастают в газетках: мол, по пятьдесят центнеров с гектара взяли. Знает он эти центнеры! Бумага все стерпит, ей не впервой. А если по-честному, так тут любой крестьянин скажет, что на отрадненских песчаных землях больше как по двадцать центнеров не возьмешь, хоть умри в борозде... Да Саньке, признаться, и не надо по пятьдесят. Возись потом с ними, надрывайся, наживай грыжу. Ему и пятнадцати за глаза хватит. Главное, чтоб дорогу до северных своих незабвенных мест окупить. Лучше бы, конечно, продать урожай на корню, чтоб не ждать осени, не косить, не молотить, не веять. Дело это долгое, трудоемкое, да и не по Санькиному нынешнему здоровью: хлебная полова все легкие ему забивает, дышать не дает, того и гляди чахотку схватишь.

Рассуждая сам с собой таким вот серьезным, основательным образом, Санька нацепил мерку на шею и смело шагнул на только что вспаханную, словно проснувшуюся после долгой спячки землю. Сеять ему в детские годы тоже приходилось, и не раз — мать научала. Хитрого тут вроде бы ничего не было: набирай в горсть побольше зерна да и бросай себе полукругом на землю.

Санька так и сделал. Набрал зерна в горсть столько, что даже не смог как следует пальцы сжать, размахнулся и бросил, не забыв при этом подбодрить себя тоже где-то недавно вычитанным стишком:

Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!

Но, к его удивлению, хоть плечо и раззуделось, хоть рука и размахнулась до самого отворота, но зерно упало на пахоту совсем не так, как хотелось Саньке: не полукругом, не зернышко к зернышку на равном расстоянии друг от друга, а как-то комом, вернее — клоками: где густо, а где пусто. Не найдя этому никакого иного оправдания, Санька посетовал на ветер, который, и правда, кажется, совсем не ко времени налетел из-за бурьяна и испортил Саньке первый, во всем вроде бы выверенный замах. Санька выждал минуту-другую, когда ветер затихнет, исхитрился и бросил зерно заново. Но и на этот раз у него ничего не получилось. Часть зерна отнесло куда-то в сторону, к вишеннику, а часть так и вовсе легла у самых Санькиных ног, хлестким, косым ударом пройдясь по голенищам. Санька совсем озадачился, истуканом застыл посреди поля с меркою на груди. Да и как было не застыть? Ладно там косить-пахать — это дело нешуточное, требующее силы и сно-

ровки, а сеять — велика ли наука: бери побольше да бросай подальше. А вот, поди ж ты, не бросается! Сетовать на ветер Саньке теперь вроде бы не приходилось. Какой там к черту ветер! Бурьян вон на огороде стоит не колыхнется, полная, можно сказать, штилевая погода. В зерне, конечно, все дело! Будь у Саньки зерно, к примеру, от Степана Василиновича, никуда бы оно не делось, летело бы как миленькое, а Барсученок точно отходы какие-либо ему всучил, вот и не стелется оно по земле полукругом, не летит под ветер.

В сердцах Санька решился было посевную все-таки отложить на завтра, дождаться вечера да попросить у Степана Василиновича настоящего семенного зерна. Чтоб уж если сеять, так сеять! Но тут же он и отказался от этой мысли. Степан Василинович зерно, конечно, даст, но ведь и долг потребует вернуть зерном, да еще, поди, и с довеском, с процентом. А в Санькины расчеты это как раз и не входило. Будешь тут сидеть до осени, до белых мух, ждать, пока все отцветет, отколосится. К тому же еще неизвестно, что оно тут вырастет. Вдруг засуха, неурожайный год, всего-то и соберешь, что на долг. Тогда какая Саньке от всей этой колготы радость, какая прибыль?! До слез жалко было Саньке и магарыча, который он, не подумав обо всем хорошенько, выставил проходимцу этому и мошеннику Барсученку.

В общем, отступать Саньке было некуда, и он сыпанул зерно еще раз и еще, опять-таки философски решив, что никуда оно не денется — вырастет, пусть даже с проплешинами и огрехами. И вдруг на третьем или четвертом замахе Саньку осенило. Господи, да кто же так сеет, кто так переводит драгоценное, доставшееся ему вон каким нелегким манером зерно?! Тоже мне, понимаешь, «свободы сеятель пустынный»! Мать как его научала в детские, младенческие еще годы?! Зерно должно вылетать не из-под большого пальца, а из-под мизинца. Рука обязана идти с вывертом: вначале ладонью вверх, а потом переворачиваться и выпускать зерно ровным полукругом, веером. Вот в чем весь секрет! Это любой мальчишка в селе знает! А Санька забыл, запамятовал всю материнскую науку! Ну да ничего, сейчас мы ее наверстаем, припомним и так положим зернышко к зернышку, что любо-дорого будет смотреть. Тут и сомневаться нечего! Коль был обучен Санька в детстве нехитрым этим секретам, возведен, так сказать, в ранг сеятеля, то где-нибудь в нем, в руках или в голове, наука эта да сидит.

Санька опять остановился посреди пашни, поправил на груди мерку и, взяв не слишком полную горсть зерна, сыпанул его по всем правилам, из-под мизинца. И на этот раз получилось, да еще как! Рука как бы сама по себе, без всякого Санькиного участия, вспомнила необходимое, верное движение. Зерно легло у Санькиных ног ровным, хоть циркулем его меряй, веером, по красоте своей чем-то похожим на распушенный павлиний хвост. Санька не выдержал и даже полюбовался им несколько мгновений, но потом, словно боясь, что обнаруженное движение опять в нем как-либо забудется, угаснет, пошел бросать зерно без остановки и роздыху. Рука ни разу его больше не подвела, сама находила при каждом шаге нужный разворот, крепла, хотя плечо вскоре и начало заметно побаливать. Но Санька не обращал на это ровно никакого внимания, оно ведь так и полагается, чтоб при работе что-либо давало о себе знать, предостерегало от чрезмерного напряжения. Мол, делай все по расчету, по уму, с мыслью, что крестьянская работа нынешним днем не кончается, а что будет она и завтра, и послезавтра, и третьего дня, и до последнего твоего часа и дыхания... К тому же Санька вдруг вспомнил, что стишок насчет плеча и руки относится не к севу, а к косьбе, и уж Бог его знает почему, но от этого воспоминания стало ему как-то совсем отрадно и легко на душе, как не бывало уже давно, может, с той поры, как он уехал из Журавлиных Выселок...

Забороновал Санька огород уже почти в сумерках. Минут десять-пятнадцать после этого он сидел на меже, в охотку курил, любовался

содеянным и даже похохатывал в душе над недавними своими страхами и сомнениями.

Но потом ему опять полезли в голову нехорошие какие-то мысли о Тоньке, о нерожденных своих сыновьях, об Оксане Викторовне. Тут как ни крути, как ни прикидывай, а вот зайдет он сейчас после работы в дом, умоется, сядет за стол. И что же на том столе?! Да ничего! Пустынно и голо, как в чистом поле, ни выпивки тебе, ни закуски, ни доброго слова. Одна только старенькая, оставшаяся еще от матери клеенка. И до того стало обидно, до того горестно Саньке, что хоть плачь. Не по-человечески это все, не по-людски! Дело сделано, свершено, значит, надо обмыть его, «оприходовать», иначе никакого урожая, никакой прибыли у Саньки не будет: дождем все зальет или жарой иссушит, или и того хуже — опять такой бурьян попрет, что живого колоска в нем не сыщешь!

Санька не на шутку обозлился, отбросил куда подальше глупые свои мысли и больше ни на минуту возле дома задерживаться не стал. Быстро перепряг в телегу Сивку-Бурку и махнул через болотце в Отрадное, вовремя, кажется, вспомнив давнюю, не им придуманную поговорку: «Кончил дело — гуляй смело!»

И Санька загулял! Прежде всего он, конечно, заехал к бабке Моте, чтоб поблагодарить ее за утреннюю помощь. Бабка сразу поняла, что тут к чему, засуетилась, пригласила Саньку за стол. Посидели они с ней, как всегда, по-хорошему, по-родственному, Тоньку, понятно, вспомнили, помянули, рюмочку даже для нее отдельно поставили, налили до краев.

Бабка Мотя, старенькая уже совсем, немощная, разволновалась, расплакалась, стала просить Саньку:

— Ты бы как-нибудь на могилу к Тоньке сходил, ограду поправил, а то мне самой уже невмоготу.

— Ладно, схожу, — пообещал Санька, хотя, конечно, разговор этот был сейчас не ко времени, не к месту. Душа у Саньки горела, требовала разгона, отдохновения. Не до могил ему нынче, не до смертей. Санька вон и на материну могилу толком никак не соберется. А там бы тоже не мешало и оградку поставить, и крест перекрасить...

После бабки Моти Санька пошел «считать» одно подворье за другим. Чинно и благородно заходил он в дом, садился возле стола и, дожидаясь, когда хозяева нальют ему рюмку, начинал рассказывать, как он сегодня распахал, засеял и забороновал весь свой огород, который столько лет пустовал по нерадению и лени начальства.

Так Санька добрел до магазина и на виду у мужиков и женщин, дожидавшихся, когда подвезут хлеб, распалился против начальства окончательно:

— Отца на них нету! Хозяина!

Мужики и женщины, которые помоложе, помалкивали, а те, кто постарше, кто помнил еще Санькиного отца, откликнулись, поддержали Саньку:

— Эт точно, при Даниле Ильиче порядка было больше. Мартынов погреб никогда не пустовал...

Насчет Мартынового погреба Санька наслышался еще в детские свои годы. Забавная история, Санькиным же отцом и придуманная.

Раскулачили, значит, старого Мартына Дорошенко, дом его заняли под колхозную контору. Да она и сейчас там, поскольку лучшего дома до сих пор в Отрадном не сыщешь. Мартын, говорят, известным плотником в округе был, все дома под рубанок строил, не ленился. Ну а для себя так уж и тем более сил и умения не пожалел: наличники и ставни на окнах пустил резные, двери все наборные с филенкой, крылечко тоже резное, осиновой щепой покрытое. Построил Мартын и сараи, и повети, и клуню, а под конец в дальнем углу двора — погреб, глубокий, каменный. В крестьянском хозяйстве ведь без хорошего погреба никак

не обойтись: картошку, капусту, соления там разные где-то хранить надо.

После раскулачивания, правда, все эти Мартыновы сараюшки и клуни потихоньку растащили, порушили, а вот погреб остался. Его никаким манером не возьмешь, на совесть был построен из марочного какого-то кирпича. Года два погреб этот пустовал, а потом отец, говорят, под «холодную» его приспособил, тюрьму, значит, такую деревенскую. Чуть кто проштрафится или слово какое ненужное скажет, отец сразу его в «холодную», в погреб, пока из города милиция или какое другое начальство не подъедет.

Строгий, рассказывают, был у Саньки отец, строгий, но справедливый. Когда Мартына Дорошенко раскулачивали, так всего-то и взял себе, что пару лаптей с подковыркою. Больно уж лапти он любил, хорошая, говорит, крестьянская обутка. Он и на фотографии, что в клубе отрадненском висит, в лаптях Мартыновых изображен. Неказистый такой мужичишка, а гляди, как мужики помнят его. Мать вот, к примеру, хоть и недавно умерла, а редко кто вспомнит ее, потому как безответная она была, тихая. Отца же не забывают, на Мартынов погреб, что и по сей день стоит, бурьяном поросший, с опаской поглядывают...

Санька, скорее всего, в отца пошел: уж если что не по нему, так только держись. Иной раз, случалось, на приисках...

Санька присел на крылечке, закурил дарованную ему мужиками папироску и пустился было рассказывать, что случалось с ним на приисках, как он держал там все начальство в кулаке. А уж там начальство не отрадненского пошиба, не деревенского...

Мужики и женщины сгрудились вокруг Саньки и настроились вроде бы слушать его всерьез, но в это время показался фургон с хлебом, и они заволновались, стали разбираться в очереди, оставив Саньку одного.

Он кое-как докурил папироску, вытребовал себе у продавщицы в долг буханку хлеба да с той буханкой под мышкой и направился в Залесье к Оксане Викторовне, в надежде, что прощальную лекарственную рюмку она ему нальет. Тем более что заявится он к ней, считай, со своей закуской.

И Санька в своих надеждах не ошибся. Оксана Викторовна рюмку ему налила и даже сама села напротив.

Тут уж Санька дал себе волю, тут уж он во всей красе описал, как пахал сегодня, как сеял, как бороновал. А под конец, когда Оксана Викторовна не выдержала и добавила ему еще полрюмочки, так он вовсе пришел в веселое прежнее свое состояние духа и в словах самых выразительных и сложных пообещал ей, что если на его ржаном поле вырастут по меже васильки, то он непременно нарвет их целый букет и доставит Оксане Викторовне в полной сохранности.

Оксана Викторовна поблагодарила его за такое обещание, но бутылочку со спиртом спрятала. Догадалась, должно быть, что Санька не зря о васильках разговор завел, агрономишку ее, ухажера залетного, вспомнил...

Расстались они, правда, мирно, без осложнений. Санька пьяный-пьяный, а знает, что с Оксаной Викторовной грань переступать нельзя. Она женщина интеллигентная, обидчивая, в другой раз может и вовсе бутылочку на стол не выставить. Поэтому от дальнейших намеков он отказался, покруче заломил шляпу и ушел от Оксаны Викторовны с полным достоинством и честью.

На Журавлиные Выселки Санька вернулся далеко уже за полночь, постоял несколько минут на торфяном болотце, прислушиваясь, работают ли на выгоне мельницы. Те, кажется, работали, но Санька лишь махнул на них рукой, с трудом добрался до забора, упал на узенькую лавочку ничком да и уснул на ней до утра, до самого рассвета, крепким богатырским сном хорошо поработавшего и в меру выпившего человека...

Следующий день был для Саньки, по давнишнему его определению, «загульным», то есть изначальным в недельном его безостановочном веселье. Когда утренняя прохлада и долетевший из-за соснового бора и березняка ветер доняли его, он пробудился и, опять-таки долго не раздумывая, не заходя даже в дом, отправился вновь в Отрадное, наперед хорошо зная, что никуда отрадненские мужики не денутся, помереть ему не дадут, поднесут с утра заветную опохмелочную стопочку. А все почему? Да потому, что без Саньки, без его Сивки-Бурки не прожить им ни дня. Это — во-первых! А во-вторых, не забывают окаянные отрадненцы, помнят, что не абы кто такой Санька, а сын самого Даниила Ильича Лопушкова. И с ним надо пообходительней, повежливей. Потому как мало ли еще чего может случиться в жизни...

Начал Санька сегодняшний обход, понятно, от Оксаны Викторовны, повинился за вчерашнюю грубость, пообещал, что помимо васильков может принести ей хоть целое ведро роз, которые растут по заброшенным на Журавлиных Выселках подворьям. Оксана Викторовна на сердечное это Санькино обещание как-то затаенно усмехнулась, вздохнула, но в дом пригласила его без всяких упреков, рюмочку налила, угостила и малосольным огурчиком, и только что вынутыми из печи блинами. Отходчивая все-таки у нее душа, жалостливая.

Ну а дальше у Саньки веселье пошло как бы уже само собой, и здесь, в Отрадном, и в недальнем сельце Чепелёве, где у Саньки тоже завелись кое-какие дружки и знакомцы и где тоже хорошо помнили его отца Даниила Ильича...

Дальнейшие три дня: среда, четверг и пятница — у Саньки выпали из памяти начисто. Так с ним всегда случалось и в далеких его странствиях, когда, бывало, запивали они целой бригадой на неделю-другую. Первые «загульные» дни Санька был по обыкновению в полной норме и здравии, пил и веселился наравне со всеми, бегал по общему согласию и наказу куда-либо километров за двадцать — двадцать пять за добавкой, вином и водкой, кашеварил и пробовал разнимать заспоривших по пьяному делу своих друзей-товарищей. Но потом отключался и уже ничего не помнил: с кем пил, где ночевал, кем был крепко и основательно бит за какое-либо неосторожное, задиристое слово.

Так с ним случилось и нынче: три дня выпали у Саньки из жизни, словно провалились в какую-то пропасть. Опять он ничего не помнил, где и когда пил, кем был побит и брошен на полдороге от Чепелёва, где потерял Сивку-Бурку, которую после, говорят, распрягла возле молочарни и отправила в луга сердобольная бабка Мотя.

Пришел Санька в себя лишь в ночь на субботу. Пришел и как-то сразу затосковал по Степану Василиновичу. Ни по бабке Моте, ни даже по Оксане Викторовне не затосковал, а вот по Степану Василиновичу соскучился и решил встретиться с ним сейчас же, немедленно, пока была ночь и пока одна из мельниц размеренно и неторопливо работала. Отчего случилось в Санькиной душе такое томление и такая скука по Степану Василиновичу, он и сам толком объяснить не мог. Но ровно в полночь, стряхнув с себя похмелье и дрему, Санька потихоньку пробрался на мельницу. Повел он себя, правда, совсем не так, как в первые ночи: ни к помосту, ни к ковшу не побежал, не кинулся извиняться перед Степаном Василиновичем за пропуски, а развалился на мешках, закурил папироску и стал наблюдать, как Степан Василинович управляется на мельнице в одиночку.

А тот, надо сказать, управлялся очень даже спокойно и несуетно. Без толку не мотался по мельнице из конца в конец; зерно в ковш насыпал меркою, чтоб не обронить ни единого зернышка; каждый мешок, перед тем как нацепить его в коробе на гвоздик, выворачивал и вытряхивал на улице за воротами.

Все это как-то обидно задело Саньку. Ему показалось, что Степан Василинович поступает подобным образом специально, чтоб упрекнуть, укорить его за невольные прогулы. Он набычился, намеренно достал

новую папироску, хотя и хорошо знал, что на мельницах с давних, еще дедовских пор курить не принято, тем более у Степана Василиновича, который курева и табачного дыма никак переносить не может. Санька надеялся, что Степан Василинович начнет сейчас ему выговаривать за небрежение старинными обычаями и порядками, и уж тогда он под горячую руку выскажет все, что думает и об этих мельницах-развалюхах, и о самом Степане Василиновиче, и о том, что никуда это не годится — еженощно принуждать постороннего хворого человека к непосильной мельничной работе. К тому же еще и совершенно даром, без маломальского вознаграждения, и даже без рюмки водки, что совсем уже не по-человечески.

Но Степан Василинович, к удивлению Саньки, ничем его попрекать не стал, не обратил никакого внимания ни на папироску, ни на табачный въедливый дым, ни даже на грязные сапоги, с которыми Санька взобрался на мешки. Он по-прежнему размеренно и спокойно трудился возле мельницы, засыпал меркою зерно, оттаскивал от короба и составлял в сторонке мешки с мукою, завязывая при этом каждый из них каким-то особым, ни разу не виданным Санькой манером. Но вот наконец-то в работе Степана Василиновича образовалась небольшая передышка, он устало присел на любимую свою колодочку и неожиданно спросил начавшего было дремать Саньку:

— Ну как, огород засеял?

— Засеял, — встрепенулся и опять неизвестно отчего набычился Санька. — А что тут особенного?

— Да ничего, — ответил Степан Василинович и, прерывая коротенький свой отдых, пошел за какой-то надобностью к ковшу.

Саньку такое небрежение к его посевным, огородным делам больно задело, и он с досадой и подначкой прокричал вслед Степану Василиновичу:

— Могу, между прочим, продать! Хочешь — на корню бери, а хочешь — урожаем!

— Можно и на корню, — на мгновение замедлил шаг Степан Василинович. — Было бы что брать...

— Отчего же не будет?! — весь вспыхнул и разгорячился Санька. — Чай, не хуже людей!

— Да это я так, к слову, — усмехнулся ему с помоста Степан Василинович.

Усмешка эта Саньке не понравилась, ехидная какая-то, потаенная. Он загасил недокуренную папироску, торопливо сполз с мешков и пошел вслед за Степаном Василиновичем к помосту, решив наконец высказать ему все свои сомнения и обиды насчет безвозмездной ночной работы и вообще насчет всей нынешней жизни, в которой одни только безобразия да напасти на честного крестьянского человека. Но Степан Василинович, словно предчувствуя, а может, даже и опасаясь серьезного этого Санькиного разговора, вдруг сам спустился к нему с помоста и спросил вроде бы без всякой задней мысли и пристрастия:

— А ты жениться не собираешься?

— На ком же это, если не секрет? — совсем уже опешил Санька и на мгновение забыл о всех своих прежних намерениях и обидах.

— Да хоть бы на той же Оксане Викторовне, — вел разговор дальше Степан Василинович.

Саньку от этих слов даже в озноо кинуло. Уж о чем, о чем, а об Оксане Викторовне Степан Василинович никак знать не мог. Живет себе на краю села незамужняя женщина, фельдшерица, ну и пусть себе живет. Какое Степану Василиновичу к ней дело? А тем более к тому, что угощает она иногда Саньку по доброте своей душевной лечебным, настоянным на чаге и боярышнике спиртом! Не задаром, между прочим, угощает, а за внимание и оказываемые ей Санькой услуги.

— Очень мне надо — жениться! — пуще прежнего обиделся Санька и залег назад на мешки.

— А чего, — не замечал этой Санькиной обиды Степан Василинович. — Женщина она самостоятельная, работящая. Огород у нее хороший, изба...

— Вот и женись, — неожиданно даже для самого себя подловил Степана Василиновича Санька.

— Да мне как-то не с руки, — легко отбил Санькин наскок Степан Василинович.

— Это почему же?

— Да потому, что женат я уже. Семья у меня, дети.

— Ну мало ли чего! — не сдавался, наседал Санька.

— Как это — мало ли чего?! — построжал Степан Василинович. — Детей растить надо, на ноги ставить. А ты человек вольный. Тебе как раз пора жениться, хозяйство свое заводить.

— А может, она еще за меня и не пойдет? — высказал последнее свое сомнение Санька.

— Ну, это дело полюбовное, — вроде бы как закончил весь разговор Степан Василинович. — Попробуй, вдруг да пойдет.

Санька ничего ему на это не ответил, поосновательней умостился на мешках и задумался. Крепко, надо сказать, задумался. Конечно, жениться навсегда в его расчеты не входило. Знает он эти женитьбы, не в первый раз! Не успеешь перебраться к этой Оксане Викторовне, как она тут же и захомутает тебя, тут же и запряжет в шлею да еще и понукать примется — Санька туда, Санька сюда, а про угощение, про спирт, настоянный на чаге и боярышнике, небось, забудет мгновенно. Все они на один манер, окаянные! Но вот поджениться бы на месяц-другой, на полгодика, до весны и тепла, очень бы даже неплохо. Изба у Оксаны Викторовны действительно добротная: чистота в ней и уют, опять-таки телевизор, диван раскладной, пружинчатый, двухспальный, между прочим. У кого душа не вздрогнет, не загорится от желания и надежды перезимовать на таком диванчике?! Это тебе не Санькин топчан, из которого одни сучки торчат да ржавые гвозди. Того и гляди, поранишься да и умрешь в одиночестве, без всякого внимания и ласки.

Откладывать свои намерения на долгое время Санька не стал. В женских делах в прежние годы всегда он был удачлив и быстр в решениях. А уж женщины Саньке попадались — не чета Оксане Викторовне, с высшим иногда даже образованием.

Не дожидаясь рассвета, он наскоро распрощался со Степаном Василиновичем, передремнул дома часа полтора, чтоб быть в полной форме и здравии, а потом, перемахнув через болотце, направился... к кому бы вы думали? Да нет, не к Оксане Викторовне и даже не к бабке Моте, а перво-наперво к председателю колхоза. Ведь надо было как-то утрясать дела с Сивкой-Буркой, каяться. Самому Саньке несчастная эта Сивка-Бурка, бидоны, телега были, конечно, совершенно без надобности. Мог он найти работу и поподручней, поаккуратней: сторожем, например, или завклубом. Но уж коль он заимел на Оксану Викторовну такие дальние виды и намерения, то непременно хотелось бы ему заявиться к ней в прежнем своем звании и достоинстве. На белом, так сказать, коне, чтоб она сразу поняла и оценила, что перед ней мужчина самостоятельный, серьезный, что капитанская его гордость всегда при нем.

— Свинья я, а не человек, — прямо с порога озадачил председателя Санька. — Ей-Богу, свинья! Молоко целую неделю не собирал, подводу бросил, напился до чертиков.

Знал Санька всех этих начальников, председателей и бригадиров. Им хоть что сделай, хоть под какой монастырь подведи, но после обязательно покайся, упади на колени, целуй ковер. И они мало того, что тут же простят тебя, облагодетельствуют, так еще и полюбят на всю жизнь. А уж покаяться Санька тоже умел по всем правилам и законам. Обучен был терпеливым народом в дальних своих скитаниях и переходах. Бывало, придут они всей бригадой после целого месяца гульбы к

какому-либо начальнику лесосплава или стройки и ну рвать на себе телогрейки: мол, душа не выдерживает, томится от тоски и одиночества. Начальник покричит-покричит на них да и оттает. Во-первых, других, более подходящих работничков у него под рукой нет; а во-вторых, он и сам обучен покаянию не хуже их, правда, там, в верхних, в высших, как говорится, эшелонах...

— Ладно, запрягай,— вздохнул, принимая Санькино покаяние, председатель.— Но чтоб в последний раз!

— Само собой,— ответил, как всегда и отвечал в подобных случаях, Санька и пулею выскочил из председательского кабинета.

Весело и ехидно подмигнув толпившимся в коридоре мужикам, он через минуту уже запрягал, обихаживал Сивку-Бурку, которая вначале тоже вроде бы дулась и отворачивалась от Саньки, а потом ничего, подобрела и сама добровольно подставила голову под хомут. Лошадиная все-таки душа, отходчивая, заскучала небось за неделю без дела, притомилась...

Домчались они к Оксане Викторовне, считай, минутою. И вот уже Санька у ее ног, точнее — у порога. Но если кто думает, что «жених» прямо с этого порога и выложит ей все свои намерения: мол, так и так, Оксана Викторовна, желаю вашей руки и сердца,— то он глубоко ошибается. О подобных глупостях только в книжках пишут, да и то не во всех, а лишь в самых толстых, изданных в Москве. В настоящей же жизни все по-другому обустраивается. Тем более с такими женщинами, как Оксана Викторовна... Тут нужен особый подход, особое обхождение, тут прежде чем говорить всякие безответственные слова, надо так приучить к себе предмет твоего внимания, чтоб он, этот предмет, как бы сам по себе, без особого напора и домогательства стал твоим и к тому же, если ты этого пожелаешь, теперь уже навечно... Искусству этому Санька тоже был обучен в высшей степени, довел его до полного совершенства. К примеру, в давние свои, капитанские еще годы он не сразу заявился к Оксане Викторовне ухажером, а вначале пожаловал к ней на прием, чтоб познакомиться, как пишут в газетах, в официальной обстановке, показать себя с лучшей, самой серьезной стороны. И Оксана Викторовна, увидев эту самую лучшую Санькину сторону, считай, сама предложила ему дружбу и внимание.

Поэтому и нынче об истинных своих намерениях Санька не то что не заикнулся, но даже и не намекнул. Забрав у Оксаны Викторовны молоко, он внимательно оглядел ее подворье и как бы между прочим заметил:

— А не нарубить ли вам, Оксана Викторовна, дров?

— Наруби, если охота,— ответила Оксана Викторовна, не без удивления, правда, поглядев на Саньку.

Тот поначалу от такого взгляда и удивления даже растерялся и пошел вместо повети, где у Оксаны Викторовны хранился топор, к дому, но потом вдруг, сам не зная отчего, вспыхнул, загорелся давней, оказывается, не забытой еще обидою. Ишь, как мы теперь заговорили, как заволновались, а нет бы подумать об этом заранее, когда Санька сюда в капитанском кителе ходил, когда темная роза у него на плече только расцветать начинала! Так нет же, тогда мы гордые были, неприступные, о счастьях-несчастьях разговоры вести любили. Ну да ладно, ради такого случая, ради предстоящего светлого будущего мы все переживем, даже агрономишку приблудного из головы выбросим.

По-хозяйски поплевав на руки, Санька выдернул из-под хвороста, наваленного кучей, лесину потолще и начал рубить ее на коротенькие, ладные чурбачки. Когда этих чурбачков набралось десятка полтора-два, он совсем уже разохотился и принялся раскалывать их, где на две, а где так даже и на четыре части, чтоб окончательно уже доказать Оксане Викторовне, что зла на нее он не держит. Женщина она наблюдательная, дальновидная и сразу заметит, что дровишки нарублены не абы как, не для отвода глаз, а с вниманием и любовью, как рубят только для своего дома, для своей печи, в которой будут сварены тебе и завтрак, и обед, и ужин, а вечером на неостывшем еще черене, на полатях, будет приготовлена для тебя пуховая чистенькая перина...

Но все это были для Саньки лирические отступления, грезы, далекое, хотя, конечно же, и неотвратимое будущее. Важнее для него было сейчас вот что: рубил он лесину за лесиной, раскалывал чурбачки на две, а где так и на четыре части, складывал их под поветью, а сам спиной и затылком чувствовал — следят за ним из-за забора соседи Оксаны Викторовны, наблюдают хозяйскую его работу все прохожие и проезжие. А это, считай, уже полдела. Тут же растрезвонят они по селу: мол, Санька Перекати-поле не просто так теперь захаживает к Оксане Викторовне, не по молочной лишь, не по медицинской части, а с твердыми семейными намерениями. Чтоб еще больше убедить Оксану Викторовну в серьезности этих намерений, Санька пересилил себя и по окончании работы отказался даже от поднесенной Оксаной Викторовной рюмки, которую, что уж там говорить, заработал честным, примерным трудом.

— Не время сейчас,— решительно отстранил он угощение.— День только начался.

— И то правда,— ответила Оксана Викторовна и рюмку спрятала, хотя Санька, признаться, надеялся, что она хоть самую малость, но поуговаривает его. Тогда бы уж победа была полностью на его стороне, потому как от рюмки Санька — умри! — но все равно отказался бы, все муки непереносимые вытерпел бы. Сейчас главное — заронить в душу Оксаны Викторовны необходимое зернышко, вселить надежду: мол, старые все обиды забыты, отброшены, намерения его самые серьезные и основательные — жениться, обзавестись хозяйством, пустить в отцовскую землю корни. Но она, окаянная, тоже, видно, много чего повидала на свете, уговаривать Саньку не стала, а лишь вздохнула и молча присела на табурет.

Санька этот вздох мгновенно оценил, распрощался с Оксаной Викторовной — и только его здесь и видели. Знал он наперед, что сейчас будет: посмотрит на него в окошко Оксана Викторовна, еще раз вздохнет и вспомнит, как сиживала с ним в медпункте при задернутых занавесках, какие ласковые и нежные речи выслушивала от него, в какие дальние дали заглядывала. Вспомнит и, конечно же, пожалеет, что круто так обошлась тогда с Санькой, с его верной, непреходящей любовью...

Так оно, говорят, и случилось, об этом, говорят, Оксана Викторовна, видимо, и вспомнила, глядя в окошко ему вслед и вздыхая...

А Санька между тем вершил свой замысел дальше. После этого, первого раза стал захаживать к Оксане Викторовне уже почаще, и не только утром или вечером, когда надо было собирать молоко, а и днем, на виду у дотошных, все видящих односельчан. То отвалившуюся штакетину ей прибьет, то крылечко починит, а то и вовсе взберется по шаткой лестнице на крышу, встанет на самом коньке и давай длинным шестом трубу чистить. Свою почти, заметьте, трубу. И отрадненцы замечали. Да и как было не заметить: крыша у Оксаны Викторовны вот какая высокая, шифером новеньким крытая, ее с любого конца села видно...

Ну а коль видно все, то вскорости непременно и слышно станет. Это уж Санька точно знал, опыт в подобных делах у него, как известно, кое-какой был. И действительно, через неделю-другую стали ему то здесь, то там намекать насчет Оксаны Викторовны: мол, давно бы пора, а то женщина она одинокая, всеми брошенная, заступиться за нее некому. В общем, общественное мнение созрело полностью и окончательно...

И Санька решил приступить к достойному завершению всего своего замысла.

Пришел он к ней однажды среди белого дня, наносил из колодца

воды для затевавшейся стирки, потом присел на табурет и после долгого затяжного молчания и вздоха промолвил:

— Тут вот какое дело, Оксана Викторовна.

— Какое? — насторожилась та.

Санька заново, еще глубже вздохнул и продолжил:

— Вы женщина одинокая, гордая. Я тоже одинокий, неприкаянный. Кличка вон у меня какая нехорошая — Перекати-поле. Не начать ли нам жить вместе?..

Оксана Викторовна по давней своей привычке села напротив Саньки, положа руки на стол, взглянула ему прямо в глаза и вдруг так удивила и так озадачила его, как никто еще не озадачивал и не удивлял:

— Можно, конечно, Санечка, и вместе (так и сказала — Санечка). Да только будет ли в этом толк?

— Отчего же не будет? — растерялся, ничего пока не понимая, Санька.

— А вот отчего, — тоже глубоко и трудно вздохнула Оксана Викторовна. — Ходишь ты ко мне, Санечка, почти ежедневно, дрова рубишь, воду от колодца носишь, забор чинишь. Ходил и раньше, в капитанской еще форме, про дальние страны все рассказывал, манил Бог знает куда, а ни разу о моей жизни не спросил, не поинтересовался, что же я за человек такой, что за женщина?..

— А что тут спрашивать, — заволновался, стал теребить в руках шляпу Санька. — Женщина вы обходительная, добрая, вся на ладони.

— Может, и обходительная, может, и добрая, может, и вся на ладони, — еще раз глянула ему прямо в глаза Оксана Викторовна. — Да жизни моей, судьбы ты ни капельки не знаешь. А я ведь, Санечка, такое же перекати-поле, как и ты...

— Ну это вы зря, — обиделся даже за Оксану Викторовну Санька. — У вас вон и работа какая уважительная, и дом, и хозяйство.

— Все так, Санечка, все так: и дом у меня хороший, и работа не хуже, чем у людей, но только все равно перекати-поле я, с самого детства, с самого, считай, рождения.

Не нравились Саньке такие разговоры, честное слово, не нравились, и особенно с женщинами, и особенно когда на трезвую непохмельную голову. Сидишь перед ними истукан истуканом, слова путного выговорить не можешь. А они знай терзают тебя, душу наизнанку выворачивают...

Он воровато огляделся по сторонам, прикидывая, а нельзя ли как-либо незаметно увильнуть от этого разговора, увести его в сторону или вообще распрощаться с Оксаной Викторовной до следующего раза, когда настроение у нее будет более покладистое.

Но Оксана Викторовна, кажется, заметила, разгадала все эти Санькины волнения, усмехнулась ему одними краешками губ и попросила:

— Ты уж потерпи, Санечка, послушай. Может, такого разговора никогда у нас с тобой больше и не будет.

Деваться Саньке было некуда, он перестал теребить шляпу, склонил голову к столу и во всем подчинился Оксане Викторовне.

А она между тем продолжала:

— Родилась я, Санечка, далеко отсюда, где-то на Украине. Из детства помню так, смутное что-то: луг, речка, да на бугорке, на возвышенности, наш дом, белый-пребелый, будто цветом вишневым усыпанный... А родителей своих почти не помню...

— Почему же не помните? — кое-как оторвался от стола Санька.

— Да потому, что осталась я без родителей всего на четвертом году жизни.

— Умерли они, что ли?

— А вот этого я не знаю и по сей день. Умерли, должно быть...

Это уж Саньке совсем пришлось не по душе. Это, он чувствовал, пойдут слезы и стенания. Вербованные девки такие приемчики любят. Не успеешь за стол с ними сесть, по рюмке выпить, как они и начинают судьбу свою, жизнь разнесчастную оплакивать. Такие, мол, мы и сякие, всем миром брошенные. А на самом деле все это для красного словца, для отвода глаз, чтоб Саньку поскорее разжалобить да раскрутить его до последнего рубля и копейки.

Но на Оксану Викторовну вроде бы не похоже. Во-первых, не такая она женщина, чтоб плакать и жалобиться, а во-вторых, что ей Саньку раскручивать, когда у него в карманах нынче одни только дыры да прорехи.

Санька окончательно присмирел, зажался на уголке стола и решил: будь что будет, выслушаю Оксану Викторовну до конца, потому как, чувствуется, нашла на нее откровенная тяжелая минута. Это с любой женщиной, с любым даже человеком может случиться. Кипит у тебя, кипит на душе, а потом возьмет вдруг да и вырвется наружу.

— Отец мой кузнецом был, — совсем уже, кажется, не замечая Саньки, продолжила свой рассказ Оксана Викторовна. — И, говорят, неплохим. Любую вещь, необходимую в крестьянской жизни, отковать мог: что тебе лемех для плуга, что топор, что какую-либо замысловатую дверную ручку. От этого и пострадал.

— Как же от этого можно пострадать? — удивился Санька.

— А вот так. Приходит к нему однажды председатель сельсовета и делает заказ: мол, так и так, Виктор Афанасьевич, надо к празднику, к юбилею отковать серп и молот.

— Ну и что, не отковал? — увлекся уже ее рассказом Санька.

— Отчего же — отковал. Только по старанию своему и неграмотности настоящие, к работе пригодные. Серп, как и полагается, зубилом набил, а молоток даже на ручку, стеклышком оскобленную, насадил. Председатель как увидел такое надругательство, так сразу отца в оборот. А тот, говорят, спуску никому давать не любил. Ну, слово за слово, и повздорили они с председателем перед самым юбилеем. Председателю-то ничего, а отца на следующий день и забрали двое верховых вместе с вещественными доказательствами — серпом и молотом.

— Ну, это глупость какая-то, — засомневался Санька. — Сумасшедшие они, что ли?

— Да нет, не сумасшедшие, — ответила Оксана Викторовна и посмотрела куда-то мимо Саньки в окошко. — Дня через три мать собрала узелок и пошла в город разыскивать отца. Да там, в НКВД, и осталась. Такое тогда часто случалось...

— А как же вы? — дрогнувшим каким-то, непривычным для себя голосом спросил Санька.

— Я? — опять едва заметно усмехнулась Оксана Викторовна. — Я что же, ребенок, известное дело. Плакала вначале, кричала без родителей. Но все меня боятся, стороною обходят. Глядишь, так и померла бы от плача и голода. Да тут меня одна старушка полуслепая, нищенка, подобрала, поводырем сделала. Лет до десяти-двенадцати я с ней и ходила по селам, подаянием кормилась.

— А дальше? — достал даже папироску Санька.

— Дальше, Санечка, не хуже и не лучше. Старушка моя, Акулина Николаевна, померла вскоре. Осталась я опять одна-одинешенька. Попробовала сама нищенствовать, да ничего у меня не получалось. В ином дворе мне что-либо подадут, хлебушка или луковицу, а из иного — так и погонят, скажут, большая уже, трудиться надо.

Ну, мало-помалу заприметила меня милиция, определила в приют, в детский дом, значит. Тут уж я, Санечка, ожила. Ботинки мне новые выдали, платье. Я до сих пор его помню. Ситцевое такое, в клеточку... К учению я оказалась очень способной. Сверстников своих быстро догнала, семилетку с похвальной даже грамотой закончила.

Санька затянулся папироской, стал отгонять дым в сторону, чтоб он не мешал Оксане Викторовне. Но та, кажется, никакого внимания ни на Саньку, ни на его курение не обращала, смотрела по-прежнему куда-то вдаль, в окошко, и рассказывала, будто сама себе:

— После семилетки у нас, у приютских, одна дорога — в ФЗО, в маляры да в штукатуры. Но я настырная была. Заупрямилась. Мать у меня, говорю, фельдшером была, и я хочу.

— А откуда вы узнали об этом? — напомнил о себе Санька.

— Да ниоткуда. Придумала просто. В детских домах все о своих родителях что-либо интересное, необычное придумывают. Так жить легче. На самом же деле мать моя самой обыкновенной деревенской женщиной была, крестьянкой.

Поступила я в училище без особого труда. Похвальная грамота в те годы кое-что еще значила. О родителях же моих осужденных никто толком ничего не знал. Думали, на войне они погибли. Да и далеко это, судя по всему, было от родных моих мест. Меня в детдом, помню, долго на поезде, а потом еще и на пароходе везли.

Училась я трудно. Днем на занятиях сижу, а вечером и ночью санитаркой в больнице работаю. Помощи-то ждать было неоткуда, на одну только на себя и надежда. Но выучилась. Сокурсников моих, у кого отец с матерью есть, заступники и ходатаи, почти всех здесь же в городе оставили или в ближних селах, а меня — куда подальше, в Казахстан, на целину. Но я не противилась. Думаю, может, где там в Казахстане или на Севере о родителях своих что-либо узнаю, хоть откуда они родом, где наш дом на бугорке возле речки стоит. Но ничего, конечно, я не узнала и не разведала. Не осталось, видно, от них на земле никакого следа...

Ну а потом собрала я кое-какие деньги да и приехала сюда, в Отрадное. И все по той же, Санечка, причине. Выйду иной раз к речке, к речному берегу, оглянусь назад — и все мне чудится: наш это дом, тот самый, только что темный, небеленый... Да и мельницы. Нигде их больше нет, а в Журавлиных Выселках целых три. У нас в селе тоже мельница была. Я теперь точно помню. На выгоне за лесом стояла, высокая такая, словно из сказки. В последние годы я часто в Журавлиные Выселки хожу. Посмотрю на старые мельницы, и опять мне покажется, будто бы домой я вернулась, на родину, в детство свое. Хоть малая мне, а все ж таки отрада. Замужем же я, Санечка, не была ни разу. Все защитника себе искала, опору, да так и не нашла. Так что ты недобрых людей не слушай...

Санька докурил папироску, поднял на Оксану Викторовну глаза и вроде бы даже как упрекнул ее:

— А чего же в прежние годы обо всем этом мне не рассказывали?

И Оксана Викторовна ответила ему:

— А в прежние годы, Санечка, тебе не этого от меня хотелось.

Санька чувствовал, что тут бы ему надо как-то перед Оксаной Викторовной повиниться, найти нужное утешительное слово, напомнить, быть может, даже об агрономе: мол, так и так, с нынешнего дня он прощает ей все. Но необходимого этого утешительного слова в Санькиной голове никак не находилось, словно заклинило Саньку, словно речь у него навсегда отобрало. А ведь и не пил со вчерашнего дня ни капли...

Но потом Санька все же кое-как собрался с мыслями и вдруг вспомнил, зачем это и по какому случаю заявился он к Оксане Викторовне, зачем сидит перед ней уже второй час трезвый и некормленый. И что ж вы думаете, нужное слово тут же у него и нашлось.

— Вот что, — твердо и решительно проговорил Санька. — Коль уж выпала такая нам с вами судьба, коль уж суждено жить нам вместе, так давайте я нынче же и переберусь к вам. Скарба у меня немного...

И тут Саньку ожидал еще более непредвиденный, еще более невозможный удар: Оксана Викторовна вдруг в один миг, казалось, отрешилась от всего прежнего своего разговора, тоже вскинула на Саньку печальные голубые глаза и в третий раз за вечер усмехнулась ему:

— Нынче не надо...

— А когда же? — просто-таки обомлел Санька, хотя надежда в нем, признаться, еще и жила. Может, на завтра, думал он, перенесет

она его переселение, или на послезавтра, поскольку нынче у нее стирка, в доме неприбрано да и обеда, должно быть, достойного, семейного нет. Согласен был Санька подождать даже целую неделю. Пусть Оксана Викторовна как следует успокоится, забудет сегодняшний, нехороший такой разговор, а потом и соберет друзей-товарищей для веселой праздничной беседы.

Но Оксана Викторовна вот что придумала, вот что сотворила с несчастным Санькой.

— До весны, — говорит, — надо подождать, до лета.

— Это почему же до весны? — совсем опечалился Санька. — Свадьбы как раз по осени играют.

— Так то свадьбы, — ответила ему Оксана Викторовна. — А у нас какая же свадьба, нам летом лучше сойтись, когда рожь колосится, когда васильки цветут...

Ну что ты ей скажешь на это, чем пересилишь? Вот ведь какая женщина, вот ведь натура! Рожь ей подавай, васильки! Да, может быть, в этом году еще и урожая на васильки не будет. Вымерзнут они за зиму, не взойдут или градом их побьет, грозою. А ты сиди как неприкаянный, жди!

— Воля ваша, — кое-как поднялся с табурета Санька, — весною так весною.

Такого позора с ним в женских делах еще не бывало. Надоумил, поди, кто-то Оксану Викторовну. Мол, испытание надо Саньке устроить, проверку, намерения его все как следует выведать: навсегда он собирается жениться или только на время. Оттого, должно быть, она и разговор такой с ним трудный затеяла. Хотя он и сам мог бы ей много чего тяжелого порассказать: про отца с матерью, например, или про дальние свои дороги, про тюрьму, будь она неладна. А вот же не рассказал. Потому как понятие имеет — не время сейчас и не место для таких рассказов. Когда поженятся, тогда иное дело... А ее, скорее всего, подружки надоумили, завистницы, у которых у самих мужья от скуки и невнимания посбегали свет за очи. Могла, конечно, и бабка Мотя по доброте своей сердечной шепнуть Оксане Викторовне, о Тоньке рассказать. Хотя чего тут рассказывать, дело давнее, забытое...

Пало Саньке подозрение и на Степана Василиновича. Проскользнул, небось, среди ночи к Оксане Викторовне да и постучал в окошко, предостерег. Не торопись, дескать, Оксана Викторовна, выведай хорошенько — навсегда собирается Санька жениться или только на время. Вот и помогай после этого человеку, корячься по ночам на мельнице ни за понюшку табака, наживай хворобы. А ведь сам же и подбил Саньку на женитьбу, сам же и адресок дал! Ну да ладно, мы еще поглядим, чья возьмет, чье тут дело выгорит. Никуда Оксана Викторовна от Саньки не денется, сама прибежит к нему, сама одумается. Извини, скажет, Александр Данилович, поторопилась я, послушалась глупых людей. Переходи ко мне хочешь сегодня, а хочешь — завтра, будем мы жить с тобой счастливой семейной жизнью на зависть всем соперникам и недоброжелателям.

Мысль эта Саньку кое-как утешила, и он, крепко опять загуляв на несколько дней, стал терпеливо ждать, когда Оксана Викторовна заявится к нему на порог с покаянием, а может, даже и со слезами на глазах. Но она что-то не заявлялась, выдерживала, должно быть, характер. Знал Санька и эти женские хитрости. Знал и имел против них очень даже сильное противоядие. К Оксане Викторовне заглядывал он теперь редко и только по делу, то есть за молоком или за медицинской, необходимой при его хромоте помощью. Зато зачастил в Чепелёв к библиотекарше Вере Николаевне, женщине тоже одинокой и к Саньке очень внимательной. Мужского, правда, интереса она у Саньки не вызывала, поскольку была росточка самого маленького да к тому же еще и конопатая. А конопатых Санька не любил с детства. Но слухи о Санькиных наездах в Чепелёв, о его пробудившейся вдруг тяге к библиотеч-

ному чтению до Оксаны Викторовны, конечно же, должны были дойти...

На то у Саньки и был расчет. Но слухи то ли не доходили, то ли доходили, да совсем не таким образом, как хотелось бы Саньке, и Оксана Викторовна оставалась к ним совершенно равнодушной.

«Уеду! — не раз под горячую руку решал Санька, — уеду куда глаза глядят! На Шпицберген, к примеру, или на Колыму, и пусть они тут все пропадают пропадом с их мельницами, огородами и домами под новеньким шифером!»

Но, пораскинув хорошенько умом, Санька всякий раз остывал: на Шпицберген ехать было поздно, последний пароход туда, поди, давным-давно ушел, навигация закончилась; на Колыму же опасно, потому как на Колыме Санька, к его удивлению, сроду пока не бывал, а еще куда-либо просто неохота...

Одним словом, все шло к тому, что надо было Саньке зимовать в Журавлиных Выселках, дожидаться весны и тепла...

И Санька зазимовал. Когда выпал первый снег, он перепряг Сивку-Бурку в сани, отыскал в кладовке отцовскую заячью шапку, совершенно старенькую, побитую молью, но вполне еще пригодную к носке, нахлобучил ее на полысевшую голову и зажил не хуже прежнего. Зарок насчет пьянства он решил больше не давать. Какой там к черту зарок, когда жизнь в его доме на Журавлиных Выселках иной раз едва-едва теплится. Лежанку ведь на ночь не всегда охота топить. С осени, по теплу, Санька о дровах как следует не позаботился, думал, на кой ляд они ему нужны, если зимовать не собирается. Ну а те, что завез в ноябре в дождь и слякоть, сырые, никакому огню не поддаются, чадят целый вечер, того и гляди угоришь. Тут только в рюмке и спасение. Выпьешь хорошенько с вечера, заберешься на остывающую печку да и дрыхнешь себе до утра.

К Степану Василиновичу на мельницу Санька тоже решил ни под каким видом не ходить. Раз Степан Василинович подвел его под такой монастырь, не дал провести зиму рядом с Оксаной Викторовной в тепле и радости, то пусть теперь сам и надрывается возле ковша и короба да еще и спасибо Саньке скажет. Ведь что Саньке стоило шепнуть насчет мельниц и в сельсовете, и в городе: мол, повадился на общественные мельницы неизвестно кто, без паспорта и прописки, использует их для личного обогащения, подоходного налога и страховки не платит да еще и эксплуатирует наемную трудовую силу. Но вот же не шепнул Санька, сдержался, потому как ему совершенно без разницы, кто там и что делает по ночам. Главное, чтоб его самого не трогали, не гнали на проклятые эти жернова, где от одной пыли и грохота помереть можно...

Но вдруг оказалось, что именно это и не в Санькиной власти. Иной раз только взберется он на печку, только прислонит похмельную голову к подушке, как — вот она, неземная сила эта: нырнет к нему, должно быть, через трубу, склонится к самому уху и шепчет: «Пора, Санька, вставай, двенадцатый час уже...»

Несколько ночей Санька, правда, крепился, добавлял еще рюмку-другую из неприкосновенного опохмелочного запаса, натягивал на голову старенькое материно одеяло, и злая сила вроде бы отступала. Но на четвертую или на пятую ночь все-таки она Саньку одолела. Деваться ему было больше некуда, не помогла ни «добавка», ни материно одеяло. По первому же требованию нечеловеческой этой силы натянул он сапоги, фуфайку и по крепкому морозцу побежал на мельницу. А там уже все в полном разгаре: жернова крутятся, как угорелые, лоток дрожит, муки в коробе насыпано по самые венчики. Прямо напасть какая-то! Раскачиваться некогда, надо хватать мешки, совок. Санька схватил было и кинулся к коробу, но Степан Василинович вдруг остановил его:

— Ничего, я сам помаленьку. Отдыхай.

Санька замер на месте и сплюнул в сердцах. Глядите, какие мы гордые, какие обидчивые! Сами они будут, в одиночку! Ну сами

так сами, было бы предложено! Он взобрался на мешки, поплотней закутался в фуфайку и начал уже было задремывать под ровное и монотонное гудение жерновов, но Степан Василинович вдруг опять затронул его:

— Ну, как там зеленя, растут?

— А черт их знает! — ответил спросонья Санька. — Растут, должно быть. Под снегом не видно.

За всю осень после посевной он, признаться, всего один раз и выбрался на огород, поглядел на всходы. Вроде бы ничего, взошли не хуже, чем у людей. Зеленеют, кустятся. А больше выходить Саньке было недосуг: то закружился с окаянной этой Оксаной Викторовной, то загулял на недельку, то вот с мельницами маета и проклятие: что ни ночь — поднимайся, иди в мороз ли, в пургу ли. И, главное, было бы зачем! А то ни к какой работе не подпускает, разогреться не дает, лежи, Санька, на мешках, замерзай. Ноги вон совсем окоченели, того и гляди отвалятся. Особенно правая, пораненная, ее ведь в тепле надо держать, в покое. Оксана Викторовна сколько раз Саньке об этом говаривала...

Перевернувшись на другой, неналежалый еще бок, Санька стал мечтать о своей печке. Не Бог весть какие на ней тепло и перины, а все ж таки привалишься спиной к коменку, укроешься одеялом — и вот они: покой и благодать, только ветер в трубе свистит да луна за окном сияет. Кота бы еще неплохо завести. Какого-нибудь Тимофея Ивановича, Тишку. Чтоб рядом живая душа была, чтоб словом-другим с ней можно было перекинуться. А то иной раз, когда трезвый да когда ветер очень уж сильно в трубе разгуляется, совсем как-то не по себе становится Саньке, муторно и тоскливо. Хотя, с другой стороны, с котом этим, поди, хлопот не оберешься. Корми его ежедневно, обихаживай, они ведь нынче до мышей не больно охочие, все больше на дармовщинку норовят, на подачку. А где этих подачек наберешься, когда у Саньки у самого, случается, кроме завалявшейся консервы, ничего в доме нет, хоть шаром покати.

Мороз стал донимать Саньку еще сильнее, холодная мучная пыль лезла в самое горло, забивала дыхание. Тут хочешь не хочешь, а добровольно, без всякого понукания напросишься на какую-либо работу, иначе хана тебе, окоченеешь до утра вконец. Санька начал сползать с мешков, намереваясь найти себе работу по силам и желанию, чтоб не больно-то напрягаться, не ломить, как, случалось, в иные ночи, а лишь разогреть маленько совсем, кажется, остывшую кровь. Но Степан Василинович, похоже, только этого и ждал. Не успел еще Санька встать на ноги, хорошенько потянуться, как он тут же и подловил его, затеял новый, совсем уже нежелательный для Саньки разговор:

— Так, значит, свадьба до весны откладывается?

— До весны, — упал назад на мешки и вдруг обозлился на весь белый свет Санька.

Да и как было не обозлиться! Тоже мне, понимаешь... Васильки ей подавай, гербарии! Да срывали мы цветочки и посвежей!

Такие вот вспышки, «взлеты», как говорил сам Санька, с ним тоже случались частенько. Вдруг как бы ни с того ни с сего возьмет он да и обозлится на весь белый свет. Ну а уж когда обозлится, когда «взлетит», тогда пощады никому от него нет. Ведь поглядишь иной раз на весь этот белый свет и задумаешься, крепко так задумаешься, с оттяжкой. И что же получается?! А вот что! Корячишься ты, к примеру, на каком-либо лесосплаве или лесоповале, тюрьма не тюрьма, а спишь на нарах, да, случается, еще и валетом, ни водки тебе стоящей, ни бабы, одно мужичье поганое, зековское. А километрах в двадцати от тебя, в поселке, куда ты за водкой бегаешь, живет какой-либо хмырь: дом у него на восемь комнат, бабы каждую ночь, живность всякая — гуси-лебеди, псина на цепи такая, что за версту к поместью этому не подойдешь. Спрашивается: где справедливость, где правда, где вера?! А нету, нету — и не было!

Отбросит Санька в сторону топор или багор, взберется на какую-нибудь кочку и давай «взлетать». Мужики, напарники его, слушают, не перебивают. Не помнит такого Санька, чтоб перебивали. Бить — били, и даже, случалось, порядком, если лесина вдруг, пока Санька в «полете» находится, не в ту сторону пойдет да еще и заденет кого-либо, а перебивать — нет! Потому как Санька всегда за справедливость, и не ради себя, не ради своей выгоды, а ради этих же мужиков, забитых и темных. Это ему, должно быть, от отца такая жилка досталась, чтоб в первую очередь не о себе печься, а о народе, об общественности...

При Степане Василиновиче Санька, правда, ни разу еще не «взлетал», не подворачивалось подходящего случая, момента. Но вот, кажется, нашло, накатилось. Санька уселся на мешках поосновательней, обхватил для сугрева коленки руками и давай развивать идею, мысль, то есть «взлетать», и, кажется, довольно-таки высоко.

— Вот на реке Пышме под Свердловском, — все больше и больше возвышал он голос, — есть водяная мельница, так не чета твоим ветрякам! Круглый год работает! И какой помол, какая отдача! А какая мельничиха! Войдешь в горницу, а там подушки — во: что вширь, что в длину, и все на лебедином пуху, упадешь на них, будто на тот свет провалишься, а утром, не успеешь рожу продрать, как уже и бутылочка на столе, и огурчики нарезаны, и сама мельничиха, как огурчик, свеженькая, с пупырышками... Уеду! Брошу тут все к чертовой матери и уеду!

— Езжай, — неожиданно поддержал его Степан Василинович.

И Санька сразу осекся, заерзал на мешках. Ишь, какой хитрый да проворный! Езжай! А огород, а Оксана Викторовна?! Пусть, значит, все идет прахом: и косьба, и пахота, и тучные зеленя, и те дрова, что нарубил Санька и сложил ладком под поветью у Оксаны Викторовны! Знаем мы эти напутствия! Не успеешь за околицу выйти, как тот же Степан Василинович и приберет к рукам зеленя, скажет: мол, тут все от забора и до пойменных грядок мной по ночам засеянное и взращенное. На Оксану Викторовну тоже, поди, охотники найдутся...

— По весне уеду, — выдал окончательное свое решение Санька. — Пусть нога заживет.

Но на душе у него стало вдруг муторно и непроглядно, словно темной осенней ночью, когда идешь куда-либо по осклизлой проселочной дороге и ни огонька тебе вокруг, ни зги, одни лишь мрак и бездорожье...

И вот в этом мраке и бездорожье вспомнилось безутешному Саньке, что же было с ним на самом деле прошлой весной в Свердловске...

А было вот что. Много раз битый, искалеченный и совсем оголодавший, бежал он через Свердловск с дальних тюменских нефтепромыслов. Ночевал на вокзале, кормился объедками из буфета и до того уже забичевал, что даже не раз с надеждой поглядывал на тюрьму, которую свердловчане любовно зовут «Клеточкой». Думал, хоть бы забрали его туда на годик-полтора, чтоб отъесться да почувствовать себя человеком. И, пожалуй, что замели бы Саньку за милую душу, потому как больно уж примелькался он вокзальной милиции.

Но совсем неожиданно спас Саньку один инвалид. Растолкал он его по утру на лавке среди таких же бичей и говорит:

— Мил человек, не выручишь ли меня в одном деле?

— В каком? — весь подобрался и даже заважничал Санька.

— Да понимаешь, дом у меня частный, туалет, стало быть, во дворе. Почистить бы его надо, а мне с одной ногой невмоготу.

Санька вначале было заерепенился и чуть не погнал инвалида куда подальше. Чтобы он, нефтяник и лесоруб, да чистил какие-то там поганые туалеты! Да ни в жизнь! У него у самого нога на производстве искалеченная, не зажившая еще... Но потом Санька одумался, схватил инвалида за рукав:

— А сколько дашь?

— Ну... — вроде бы как засмущался он, — четвертную, наверное.

— Ладно, — согласился Санька, стараясь не терять трудовой своей законной гордости. — Тридцатник с тебя и магарыч.

— Магарыч — это само собой, — не стал упорствовать инвалид и какими-то дальними, окольными путями повел Саньку к своему дому.

Так Санька и стал золотарем.

Туалет у инвалида оказался не абы какой. Весь низ литой, из бетона, метра на два с половиной вглубь, а верх из красного кирпича, оштукатуренный и обложенный изнутри кафельной плиткой. В общем, тот еще инвалид!

Потрудиться Саньке пришлось вдоволь и всласть. Все содержимое надо было вычерпать ведром и отнести в самый дальний угол сада, где у инвалида размещались не то грядки, не то парники. До самой поздней ночи без роздыху и перекуров мотался Санька по узенькой тропинке, боясь лишь одного, чтоб больная нога не подвернулась на какой-либо кочке или камушке и тем самым не лишила его заветной тридцатки и сытного ужина. Но она, слава Богу, не подвела, хотя, признаться, и ныла весь день основательно, как в самые первые после перелома дни.

Инвалид оказался ничего мужиком, с пониманием. Когда Санька уже в сумерках закончил работу, он растопил баньку, которая находилась тут же в саду в окружении начинающих цвести вишен, и без всякого опасения пригласил туда нечаянного своего работника, чтобы тот мог смыть веселые, крепко впитавшиеся в него запахи.

Не обманул инвалид Саньку и насчет выпивки. На свежем воздухе, прямо возле баньки, раскинул на столе скатерть-самобранку и попотчевал отощавшего работника, не жмотничая, не заглядывая ему в рот: выставил и консервы, и селедочки, и моченой, правда, уже малость потемневшей к весне капусты, и рюмку налил до краев, с походом, к тому же не магазинной, дерущей все внутренности водки, а домашнего хлебного самогона, который изготавливал здесь же, в баньке. Выдал на прощанье инвалид и тридцатку, особенно дорогую и желанную Саньке.

С этой бесценной, добытой честным трудом тридцаткой Санька кое-как и добрался до Журавлиных Выселок.

Вот какие воспоминания нахлынули на него в холодной, пропахшей зерном и мукой мельнице. Нахлынули и никак не хотели отпускать, как будто иных, более заманчивых и далеких воспоминаний в Санькиной жизни никогда и не было. Он едва не выдал их Степану Василиновичу, чтоб тот зазря не попрекал его ленью и нерадением, чтоб знал, что при случае Санька ни от какой работы отлынивать не станет. Но потом он вовремя спохватился: случай, конечно, был не тот, не самый завлекательный и, не дай Бог, дойдет он до Оксаны Викторовны, так еще неизвестно, как она на него посмотрит. Хотя, с другой стороны, всякая работа требует человеческих рук и внимания...

Санька смолчал, прикрыл больную ногу пустым мешком и опять, кажется, стал задремывать. А когда пробудился, то, как и в прежние ночи, никого на мельнице уже не было, одна только застарелая морозная пыль, да темные, насквозь продуваемые стены, да едва различимый предутренний свет в оконце...

Но долго тужить и печалиться Санька был не обучен. Уже к следующему дню он окончательно забыл обо всех своих неурочных обидных воспоминаниях, хорошенько встряхнулся, выпил в магазине с мужиками, возившими через замерзшую речку сено, и зажил прежней своей расчетливой жизнью...

К Степану Василиновичу заходил он теперь редко. Можно сказать, совсем не заходил. Так, заглянет иной раз на часок-другой, полежит на мешках, подремлет, но ни за мерку, ни за совок не брался. Больно надо! С этим Степаном Василиновичем каши не сваришь. Заикнулся было однажды Санька насчет муки: мол, куда муку деваете, куда уходит ее такая прорва? И что же ответил ему на это Степан Василинович?

— На пекарню, — говорит, — отвожу.

— В город, что ли? — поинтересовался Санька.

— И в город тоже...

Санька сразу загорелся, присел рядом со Степаном Василиновичем на колодочке и, как бы между прочим, закинул эту самую удочку:

— Ну, а как, если б на сторону мешок-другой? Не получится?

— Отчего же не получится,— усмехнулся Степан Василинович.— Подгоняй подводу, бери.

И Санька с пьяных глаз едва не кинулся за Сивкой-Буркой. Ведь был у него еще с самых первых походов на мельницу веселый замысел: отвезти хотя бы пару мешочков бабке Моте. А уж она бы отблагодарила за это Саньку по-божески: что ни утро, то рюмочка, потому как у бабки в сараюшке кабанчик содержится, а ему без муки никак нельзя...

Но в самый последний момент, когда Санька уже и ворота стал открывать, будто кто опять шепнул ему на ухо: не связывайся, Санька, не зарься. Ведь не успеешь двух шагов отъехать, как тут же участковый Чибриков с кобурою на поясе и объявится. Стережет, поди, мельницу по ночам. Определенно даже — стережет! Ведь не может такого быть, чтоб работала она с самой осени, махала крыльями — и без всякого присмотру! К тому же и усмешечка Степана Василиновича опять Саньке не понравилась. Что-то он раньше так не усмехался, не подбивал Саньку на воровство и преступление. Может, даже они в сговоре с Чибриковым, может, хотят сплавить Саньку из Журавлиных Выселок посреди зимы, чтоб он не мешал им всякие темные дела проворачивать.

В общем, вернулся Санька обратно, залег на мешки. И с того дня даже и думать о муке не стал. Ну ее к черту! Бабка Мотя ему и без всякой муки рюмку нальет, за мелкие, как говорится, услуги да за память о Тоньке. Он ведь и до города бабку иногда на Сивке-Бурке подбросит, и лесину какую из березняка привезет, и молоко в первую очередь может хоть каждый день забирать...

С Оксаной Викторовной Санька поступил так.

Коль уж не удалось ему подженитьcя на ней с осени сразу на целых полгода, коль уж поставила она ему такие нечеловеческие условия — ждать до тепла, до первых васильков, — то и он тоже в долгу не останется, он тоже кое-что замыслит. Не привык Санька в долгу перед женщинами оставаться, и особенно перед такими, как Оксана Викторовна. Подженится он на ней всего-навсего на недельку, на пяток ночей, на тройку, а может, даже на одну-разъединственную ночь, но зато самую пламенную и жаркую. С вечера, конечно, отметят они хорошенько его переселение, женитьбу, вспомнят давние свои молодые годы, а утром, как только счастливая и довольная новой жизнью Оксана Викторовна уйдет на работу, соберет Санька свои пожитки, зашьет в подкладку вырученные за зеленя денежки и помчится, покатится, полетит, словно перелетная птица, на Север или Восток, как не раз уже, случалось, катился из Журавлиных Выселок...

Ну а чтоб замысел этот не раскрылся раньше времени, решил он держать Оксану Викторовну на поводке. Иногда он подтягивал его совсем близко, почти вплотную, и тогда появлялся у Оксаны Викторовны, считай, ежедневно, носил опять из колодца воду, рубил дрова и даже несколько раз провожал ее до медпункта. А иногда, наоборот, отпускал этот поводок на довольно-таки приличное расстояние, и тогда целыми неделями пропадал, к примеру, в Чепелёве или в городе, давая тем самым Оксане Викторовне понять, что человек он вольный, независимый и что испытывать его терпение не надо. Оно может и лопнуть...

Оксана Викторовна, кажется, кое-что понимала. Однажды, когда шли они к медпункту, она оглядела его как-то по-особому внимательно с ног до головы и сказала:

— Занеси как-нибудь рубаху, белье, перестираю.

Санька даже застыл на полушаге. Все его прежние жены и невесты сроду такого Саньке не говорили. Им, шалавам, поскорее бы денежки из Саньки повыманить, на тряпье всякое пустить да на кафе-рестораны. А эта — вишь: давай перестираю, говорит, а то ходишь как оборванец...

Ослушаться Оксану Викторовну Санька не решился. В тот же день притащил ей и рубаху, и бельишко свое вконец изношенное, хотя, признаться, сменного ничего у него, считай, и не было. Оксана Викторовна все перестирала, в речке выполоскала и во дворе на веревке сушить повесила, не побоялась никакой молвы, соседских разговоров. А все почему? Да потому, что опять-таки понимает — с Санькой нельзя по-другому: он мужик крутой, своевольный, чуть что не по нему, сразу может куда-либо в сторону, в тот же Чепелёв к Вере Николаевне или еще куда. Ему везде будут рады, везде примут, как самого дорогого гостя.

А дни между тем бежали за днями... Не успел Санька оглянуться, как уже закапало, потекло с крыш, как уже опять надо менять сани на телегу. Санька сменил, забросил куда подальше заячью отцовскую шапку и стал прикидывать, когда бы ему лучше всего заявиться к Оксане Викторовне для решительного, последнего разговора.

Выходило, что лучше всего на Троицу. Зима уже пройдет, забудется, а лето еще по-настоящему не начнется, жара не одолеет — как раз самое время поджениться по холодку.

Заключительные перед сватовством недели Санька загулял на всю катушку, прощался, так сказать, с холостой жизнью. Само собой разумеется, что левую часть огорода он засевать не стал. Некогда было, да и на кой черт, когда у Оксаны Викторовны за домом этого огорода целый гектар и всего там вдоволь: и картошки, и ржи, и чесночку, и луку, только успевай поворачиваться...

За ворота Санька, правда, однажды выбрался и даже чиркнул было спичкой, чтоб спалить проклятый этот бурьян. Но он отсырел за зиму и от одной спички не занялся. А вторую Санька пожалел, этак растратишься и папироску нечем будет зажечь. Он посидел маленько на меже, полюбовался на свои зеленя: какие они у него кустистые и сочные, и даже решил, что надо будет при купле-продаже затребовать со Степана Василиновича набросить лишнюю полсотню — тут действительно урожай вырастет стопудовый...

Промелькнула еще, наверное, неделька-другая. И вот она наконец наступила, Троица, всемирный, можно сказать, праздник, покой и благоденствие. Причем в этом году как никогда ранняя, потому как ранней была и Пасха.

Санька накануне еще помыл возле речки сапоги, пошоркал их даже щеткой, зашил на пиджаке под мышкой прореху и рано поутру, хорошо опохмелившийся, свеженький, при шляпе и березовой палочке, собрался к Оксане Викторовне. И что было бы ему прямо с крылечка повернуть налево к калитке да по мягкой торфяной тропинке и зашагать без всяких задержек в Отрадное к Оксане Викторовне, у которой, поди, уже готов праздничный свадебный обед, да и сама она давнымдавно готова к новой семейной жизни, по которой так истосковалась из раннего своего сиротства, и теперь стоит за воротами, ждет-выглядает Саньку, тоже вдоволь хлебнувшего в одиночестве и маете...

Но вместо этого он повернул направо, к огороду. И зачем бы вы думали? Да все за теми же васильками, которые только-только начали еще подниматься от земли. Явиться к Оксане Викторовне без васильков Санька считал зазорным, а может, даже и преждевременным. Уговор есть уговор. Ведь исстрадавшееся, утомленное сердце ее иначе не вспыхнет, не загорится ответным огнем и желанием — и все Санькино свадебное дело вполне даже может разрушиться в один момент...

Но вот тут-то Саньку и ожидал удар. Совершенно непредвиденный, непредсказуемый, которого он и в мыслях не держал, который не мог ему присниться ни на пьяную, ни на трезвую голову.

Выйдя на огород и уже склонясь над первым стебельком василька, Санька вдруг глянул на зеленя и обмер. За эти две недели, что он не появлялся на огороде, зеленя его по всем срокам и приметам должны были уже пойти в колос. Но вместо этого они пустили от каждого корешка тоненькие, будто ажурные побеги, которые выгнулись настоящи-

ми колесами, сошлись все возле самой макушки и образовали какой-то диковинный, порыжевший уже на солнце шар. Санька тронул сапогом один такой шар, и он тут же оторвался от корня, раза два, словно нехотя, перевернулся с боку на бок, а потом, подхваченный неожиданно налетевшим ветром, покатился, перепрыгивая с бугра на бугор, в сторону Отрадного.

— Оно! — едва не упал Санька на землю здесь же, возле собственных ворот и собственного дома. — Честное слово, оно!

Санька тронул еще один кустик, и тот так же легко и податливо оторвался от корневища, мгновение подержался возле Санькиного сапога, подпрыгнул, перекувырнулся и, гонимый ветром, помчался вслед за первым к Отрадному...

Видел Санька в своей жизни эти шары, далеко, правда, отсюда, на китайской границе. Гонимые знойным, суховейным ветром по голой степи, катились они, словно двигалось какое-то воинство, словно какое-то нашествие свершалось, повергая, помнится, Саньку в немалое любопытство и страх. Но это вон где было, на границе, в степи и пустыне! Там никакое иное растение, кроме этого перекати-поля, и не растет, не дозревает. А к чему оно здесь, у Саньки на огороде, где положено колоситься ржи и пшенице, идти из края в край волною овсу и ячменю, прорастать на грядках моркови, свекле и капусте, наливаться на нежарком солнышке помидорам, огурцам и тыквам, не говоря уже о фасоли, кукурузе и прочих бобовых злаках?!

Несколько мгновений Санька стоял на меже совершенно оторопелый, не в силах сделать ни единого движения, а потом вдруг весь воспламенился, ударил в сердцах о землю шляпою и закричал едва ли не на весь огород:

— Ну, Барсученок, ну, ты меня еще попомнишь!

Слова эти отозвались далеко за мельницами каким-то небывалым эхом, от которого Санька разгорячился еще больше и, решительно забыв о предстоящем празднике, о васильках и даже о том, что Оксана Викторовна, должно быть, давно уже проглядела за воротами все глаза, мотанул через луга и болотце к Барсученку.

Вытащил он его из зеленой хаты, украшенной к Троице кленовыми ветками, травой аиром и мятой, еще полусонного, едва успевшего выпить первую праздничную рюмку.

— Пошли! — скомандовал ему Санька.

— Это куда же ни свет ни заря?! — попробовал сопротивляться Барсученок.

Но Санька, весь в благородном, праведном гневе, так тряхнул его за грудки, что Барсученок мгновенно сдался, подтянул опавшие было штаны и приготовился бежать за Санькой хоть на край света. Человек он от природы был робкий, впечатлительный и хорошо помнил, что его не раз уже за всякие мелкие, незначительные почти происшествия, то и дело случавшиеся в амбарах и на токах, тянули не только на край света, за горизонт, но даже и к следователю и прокурору...

Считай, на рысях выскочили Санька с Барсученком за околицу в чистое, неоглядное поле. Выскочили и тут же замерли на широком пыльном шляху.

— Вот Оно! — указал Санька в сторону своего дома и огорода, откуда уже неслось, словно по китайской пустыне, целое сонмище порыжевших, окутанных пылью шаров.

— Что это? — совсем помертвел Барсученок.

— А вот я и спрашиваю тебя — что это?! — пуще прежнего взъярился Санька.

Штаны у Барсученка вновь опали почти до самых колен, он стоял посреди безлюдного шляха какой-то совсем поникший и одинокий и, кажется, навсегда прощался и с островерхой своей хатой, украшенной нынче травой аиром, кленовыми ветками и любистоком, и с жизнью, хотя никак еще и не мог понять, какое отношение имеет этот несущий-

ся по полю бурьян к его опасной работе заведующим колхозными амбарами и токами.

— Перекати-поле это, вот что! — не выдержал страданий Барсученка Санька. — С моего огорода несется!

— Тьфу ты, Господи! — ожил и заново родился на свет Барсученок. — А я-то здесь при чем?

— Как это — при чем?! — прямо-таки остолбенел от такой наглости Санька. — Твоими семенами засеяно!

— Ну и что! — совсем, похоже, осмелел и неожиданно указал рукою на обочину шляха Барсученок. — Вона, гляди, какие ланы. А между прочим, зерно из одного бурта.

Санька вначале с недоверием посмотрел на раскинувшееся по левую сторону от шляха почти до самого горизонта настоящее море ржи, нежно-зеленой, уже выкинувшей колос, а потом вдруг вспомнил, что они с Барсученком в тот злополучный день действительно выхватили из бурта и кинули Саньке на телегу первый попавшийся мешок. Заглядывать в него и брать на пробу зерно им было недосуг — того и гляди, на току мог появиться кто-либо посторонний, глазастый и дошлый.

Уж Бог его знает почему, но это воспоминание как-то почти мгновенно отрезвило Саньку; он посмотрел на Барсученка, словно на пустое и совершенно ничего не значащее место, потом повернулся лицом к мельницам и Журавлиным Выселкам и что было силы побежал к своему одинокому, занесенному пылью и суховеем дому.

Новая, почти невозможная мысль пронзила вдруг безутешную Санькину голову. Нет, Барсученок тут определенно ни при чем! Не рискнул бы он на такой обман, на такое подлое надувательство, заробел бы перед Санькой, потому как робеть ему самое время — дело идет к пенсии, к заслуженному отдыху, и его лучше всего провести дома, на своем подворье, в своей теплой островерхой хате, а не в краях дальних и морозных. Тут иные вмешались силы, иные страсти, тут такое у Саньки подозрение и такая догадка, что не приведи Господи...

Навсегда забыв о своей больной ноге, Санька еще прибавил ходу, загорелся таким праведным негодованием, такой местью, что, казалось, душа его не выдержит, обуглится и испепелится прямо здесь, посреди безлюдного шляха, на подступах к мельницам и родному очагу. Она, может быть, и обуглилась бы, может быть, и испепелилась бы, но ее неожиданно остудил свежий, долетевший через болотце ветер и два-три перекати-поля, которые со всего размаху ударили Саньку в грудь...

Остудили они и несчастного Барсученка, который, как только увидел, что Санька бежит к болотцу и Журавлиным Выселкам, тоже развернулся и что было силы помчался в Отрадное. Бежать ему было намного легче, чем Саньке, потому как ветер дул Барсученку в спину, перекати-поле ударяло его не в грудь и лицо, а в затылок и плечи, заставляя бежать еще размашистей и еще шире. И Барсученок бежал, задыхался, несколько раз падал на пыльную дорогу, но всякий раз поднимался и опять бежал и бежал, стараясь обогнать и пустынное это, неизвестно как оказавшееся в Отрадном перекати-поле, и даже утренний, не больно еще знойный ветер. Возле самого дома побег Барсученку, кажется, удался. Перекати-поле и ветер на мгновение отстали от него, заблудившись в узеньких деревенских проулках, и Барсученку вполне даже хватило этого мгновения, чтоб вскочить к себе на крыльцо, захлопнуть изнутри дверь и втайне от всей родни спрятаться в чуланчике, где, между прочим, под старой кроватью стояло у него все необходимое для нынешнего торжественного праздника...

А Санька тем временем с совсем уже остывшим, холодным рассудком забежал в свой дом, схватил на подоконнике плоскую, хорошо отполированную за долгие годы службы гирьку, которую он, кстати, словно предвидя такой вот случай, еще зимою позаимствовал в амбаре все у того же Барсученка, и, еще больше трезвея, кинулся через болотце к мельницам. Уж теперь-то он точно знал, что ему делать, как рас-

считаться за потерянный урожай, за опозоренную, потерявшую, наверное, к этому времени уже всякое терпение Оксану Викторовну и, само собой разумеется, за себя, тоже опозоренного, растратившего последние свои силы на ночных мельничных работах! Гирька была на редкость увесистой, скользкой; без какого-либо заметного усилия она промелькнет по лотку в жернова и застопорит их навечно...

Со всего размаху рванул Санька на себя мельничные ворота, сделал первый неосмотрительный шаг... в их зияющую темноту... и вдруг...

Никто теперь уже не сможет рассказать, что увидел там Санька за рассохшимися, занесенными мучной пылью воротами. Может, одну только темноту да повисших под самой кровлей вниз головами летучих мышей, а может, Степана Василиновича, одиноко сидящего в уголке на любимой своей кленовой колодочке, а может, такие страхи и такие предзнаменования, которым на русской земле нет еще и названия... Но в следующее мгновение та же неведомая сила, которая раньше неудержимо гнала Саньку в самые лютые холода на мельницу, теперь развернула его и бросила назад, в ворота. Санька хотел было удержаться за их створки, но неожиданно зацепился больной ногой за подгнивший, шаткий порожек, опасно качнулся и упал лицом к своему дому... да так и остался лежать навсегда с крепко зажатою в руке гирькой...

Обнаружили Саньку на следующий день ребятишки, которые с недавнего времени повадились играть на старых мельницах в прятки. Мужики, прибежавшие на их зов, вначале ребятишкам не поверили, думали, это Санька по своему обыкновению лежит пьяный, набирается от земли ума-разума, и даже, помня его наказ, не стали трогать. Но потом все ж таки перевернули лицом к солнцу и удостоверились, что на этот раз Санька их подманул и действительно умер. Они немало подивились неожиданной этой Санькиной смерти, призвали на помощь участкового Чибрикова и даже следователя из района. Те все хорошенько изучили на месте, расспросили ребятишек и перепуганного Барсученка и пришли к выводу, что Санька умер по собственному желанию, должно быть, от тоски по северным своим дальним местам, а амбарная плоская гирька здесь ни при чем...

Похоронили Саньку на Журавлиных Выселках рядом с материной могилой, поставили хороший дубовый крест. Оксана Викторовна, печальная и заплаканная, принесла на кладбище букет голубеньких, только начавших распускаться васильков, а бабка Мотя восковую свечу в стаканчике с рожью и кусочек просвиры. К вечеру прибилось, говорят, к могиле еще и гонимое ветром перекати-поле, но продержалось совсем недолго: обронило на влажный песок несколько недозревших крохотных зернышек да и помчалось себе куда-то дальше, за мельницы и березовый перелесок...

История эта случилась в Журавлиных Выселках года три, а то, может, и четыре тому назад, и о ней уже начали было понемногу забывать. И вдруг нынешней осенью, как раз на Покров, вначале ребятишки, а потом и мужики заметили, что все три мельницы на выгоне в одночасье вздрогнули крыльями, заработали, и от Журавлиных Выселок к Отрадному донесся их тяжелый, натужный рокот. По пыльному шляху и по болотным топким тропинкам мужики прибежали к мельницам, сгрудились возле Санькиной заколоченной хаты и замерли в немалом изумлении, не зная, что же им теперь делать: то ли поскорее засыпать в эти мельницы зерно нового урожая, то ли навечно остановить их и порушить, чтоб они никогда больше не смущали им душу и сердце.

...А что бы вы сделали?!

ПОЭЗИЯ



ЮРИЙ БЕЛИЧЕНКО



КАКИМ-ТО СТРАДАНИЕМ ЛЮДИ БОЛЬНЫ

* * *

В стране моего огорода
то снег, то весна, то гнилье.
История — тоже природа,
и не за что хаять ее.

Россия меняет порядки,
бунтует, болтает и пьет.
Но вышла редиска из грядки,
и скворушка песни поет.

И что нам, живущим навырост,
пенять, что развалится съезд,
партийный помазанник выдаст
иль бешеный рынок заест.

Ведь Божии промыслы дивны
в загадочном токе планет.
И нету предательства в ливне.
И подлости в засухе нет.

Но польза гряды и державы
неявного смысла полна.
И вместе — пелёнка и саван —
задуманы в семечке льна.

* * *

В продавленной луже любого следа
протекшее небо колышет вода.
Весна — не весна: наказанье.
Измокшую землю копать не с руки.
Податься бы в город
от этой тоски —
да все не найду расписанья.

Я книг не читаю и водки не пью,
вослед за газетой душе не даю
томиться державным недугом.
Но в нас нестираемо это клеймо,
и время проходит сквозь стены само
то эхом, то криком, то слухом.

Зайду в магазин — мужики
«на газах».
Былого сочувствия нету в глазах —
не спросишь за «так» сигарету.
Каким-то страданием люди больны.

БЕЛИЧЕНКО Юрий Николаевич родился в 1939 году. Вырос в кубанской станице. Окончил Харьковский политехнический институт и Литературный институт им. Горького. Автор нескольких книг стихотворений. Член Союза писателей. Живет в Москве.

Как будто живем от войны
до войны,
и легкого продыха нету.

Дойду по дороге до старых калин.
В осенней щетине непаханый
клин —
на осень не жди урожая.
Немеряны дали, несчетны леса,—
да вот отливается чья-то слеза,
и тучи заходят с Можая.

Здесь пустоши пахнут
ордынской золой.
Здесь, в глину войдя,
становились ветлой
те стрелы, что пущены Грозным.
И гул бородинский витает в земле.
И древние стены в Можайском
кремле
унижены словом стервозным.

Где серным пожаром,
где мертвой водой
проходит по насыпям век молодой,
на деньги и похоти падок.
По русским могилам пошла лебеда.
А может, и не было их никогда,
и нет у России загадок?

✦✦✦

* * *

Слизало лето ржавые болота.
Пошли в разгул побеги молодые.
А в облаках — скребутся самолеты.
А за лесами — пустыни святые.

И свет от них исходит вечерами
как зарево над теменью зубчатой,
когда уснет за дальними буграми
медовый месяц, осами початый.

И дышит миром каждое мгновенье.
И ухо слышит созреванье злаков.
Но время и природа —
в раздвоенье,
и замысел у них неодинаков.

Мы снова перекраиваем память:
ни возвратить, ни выпрямить,
ни сладить.
И кто теперь погасит это пламя,
которое не знает благодати?

За первой жизнью не придет
вторая.
И в благодать уверовать нелепо
на пустошах, потерянных для рая,
где камни вызревают вместо хлеба.

Но все-таки прекрасны эти дали,
холмы и веси, темный свод еловый,
где целые столетья пропадали,
не обронив ни кустика, ни слова.

Где, поспешая к позднему ночлегу
вослед машинам с шалыми глазами
«курлы-курлы...», —
протянется телега
и где-нибудь потонет за лесами...

* * *

На Лубянке не стреляют,
на Литейном — тишина
Эмиграция гуляет,
как неверная жена.

Всё забылось, всё простилось,
всё отмылось добела,
и в заслугу превратилось,
что со многими спала.

Эх, свобода, смерть-отрава,
гулевая трын-трава! —
Большевицкая держава
распилилась на дрова.

Высока была затея,
да в кармане ни копья,—
большевицкая идея
опросталась под себя.

А в России пахнет псиной,
а в России все, как встарь.
А России хрен единый:
что монарх, что секретарь.

Не дано ее порушить.
Ни к чему ее пугать.
Ей бы хлебушка покушать
да колдобины пахать.

А по ней — идет гулянка.
А над ней — идет игра.
Только с долларом на пьянку
ходит русская икра.

Кто сшибает чаевые,
кто политику кует.
И в глаза полуживые
ворон — ворона клюет.

К Овидию

Оборотись, тоскующая тень!
Привет тебе из моего столетья.
Мы здесь одни.
Уже червонной медью
оправил годы падающий день.
Кузнечный бог с небесной
страшины,
гася свой уголь, выронил Плеяды.
И заглушили крымские паяды
магнитофон, убийцу тишины.

Не торопи идущего вослед.
Жизнь позади.
Я тоже стану тенью.
Я разгадал твое вероученье:
неволя — в нас. Вовне неволи нет.

Я посетил однажды пыльный край
твоей беды,
где раньше были Томы.
Тогда стоял зеленый месяц май.
И Понт кипел.
В крови была истома
не то любви, не то немоготы.
Бумажный хлам закручивался
в танце.
И на горячей улице Констанцы
в свои века смотрел из бронзы ты.
И мне предстала пыльная страна
в твоих глазах, сощуренных
от боли.—
Ленивый скиф в чесночном ореоле.
Жующий вол в почти безлюдном
поле.
И Понта крутобокая волна.
И на краю быстротекущих лет
своей судьбы тревожное незнанье.
И эта мысль, что ссылка
и изгнанье —
они беда.
Но в них неволи нет.

А солнце шло, верша свой караул,
переливая с неба на ступени
суровый, остроносый профиль тени.
И в эту тень я руку протянул.

Невольный жест всерьез не
принимай —
но он в крови остался, этот холод.
Тогда стоял зеленый месяц май.
И Понт кипел.
И я был молод, молод...
Не понимал, что слово, как волна,
обречено остаться без ответа.
И нет времен, удобных для поэта.
Еще пойму.
Но жизнь — тому цена...

...Уже заря, скользя по склону гор,
из темноты выпрастывает лозы.
Внизу — дворы.
Оттуда слышен спор.
И нежное цветенье абрикоса
перебивает чадный аромат
неистребимой жареной ставриды.
Все изменилось. На холмах
Тавриды
все реже смех
и все слышнее мат.
И человек, рассерженный с утра,
не созиданьем дышит, а распадом.
Законы спят. Работа — как игра.
Искусство вытесняется развратом.
Худеет скиф, и голодает вол.
У власть держащих — споры
и капризы.

А Понт рокочет,
сотрясая мол.
И сильный ветер клонит кипарисы.
И все быстрее движется рассвет.
Поет петух...
Прости меня, Овидий,
за эту вязь бессмысленных событий.
Неволя — в нас.
Вовне неволи нет.



ПРОЗА

ИРИНА ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА)

ПОБЕЖДЕННЫЕ

РОМАН

Какую власть имеет человек,
Который даже нежности не просит.
А. Ахматова.

Глава одиннадцатая

Через два дня в семь утра, в кухне, как обычно в этот час, столпились почти все обитатели квартиры, собираясь на работу: кто мылся у крана, кто грел себе спешно завтрак. Какая-то угрюмая торопливость лежала на всех лицах; перебрасывались короткими, деловыми фразами. Олег, вопреки обыкновению, вышел позже других. Он вообще не выносил общей суеты, поднимавшейся по утрам в кухне, и умывания на виду у всех, когда один торопит другого. Он предпочитал вставать на час раньше, чтобы мыться свободно, а потом уходил к себе. Сравнивая коммунальную квартиру с лагерем, он приходил к заключению, что по санитарным условиям она немногим лучше.

В этот день он вышел, когда кухня была уже полна народа, и спросил, обращаясь ко всем вместе:

— Кто мне скажет, что должен делать советский служащий, если идти на работу он не в состоянии?

Все повернулись к нему.

— Что с вами? — спросила Нина, ожидавшая с полотенцем своей очереди у крана.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШ ЖУРНАЛ С ПЕРВОГО НОМЕРА, — КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ:

В декабре 1928 года, отбыв срок на Соловках, в Петербург возвращается под фамилией Казаринов князь Олег Дашков, бывший белогвардейский офицер, попавший в плен к большевикам с чужими документами. Он поселяется в квартире вдовы своего брата Нины, где также живут комсомолец Вячеслав Коноплянников и прочие «герои новой жизни». У Нины есть жених, Сергей Бологовский, которого высылают из «Ленинграда». Семья Бологовских — бабушка Наталья Павловна, внучка Ася, талантливая пианистка, и гувернантка-француженка Тереза Леоновна. Ася дружит с медсестрой Елизаветой Муромцевой (Елочкой), которая работала сестрой милосердия в Крыму у Врангеля, в том самом госпитале, где когда-то лежал раненый Олег Дашков. Она живет воспоминаниями о тех днях, о красавце-офицере Дашкове, в которого была влюблена. Елочка еще не знает, что ему удалось спастись тогда от чудовищной расправы над белогвардейцами, устроенной в госпитале краснозвездными победителями. Двоюродная сестра Аси Бологовской, Леля Нелидова, мечтает забыть о своем дворянском происхождении и вращается среди респектабельных молодых людей — советских нуворишей. В конце десятой главы квартиру, где живет «Казаринов», посещает ОГПУ, но тревога оказывается ложной — на сей раз *они* приходили не за ним...

— Никак заболел? — спросила дворничиха.

А Вячеслав ответил за всех:

— Если советский служащий заболел, он обеспечивается бесплатной медицинской помощью на дому и ему выписывают бюллетень, который он предъявляет на своей работе. По этому бюллетеню он получит позднее свою зарплату за дни болезни. Можно подумать, это вам неизвестно!

— Нет, неизвестно. Я знаю, что у нас в лагере болеть нельзя было, можно было только замертво свалиться к ногам конвойного; тогда вас уносили в лазарет и там всевозможными уколами в два-три дня наспех восстанавливали вашу трудоспособность и снова гнали вас на работу. Вот это мне хорошо известно.

— И вы поставили себе задачей рассказывать об этом? — спросил Вячеслав опасным тоном.

— К случаю пришлось, — ответил Олег, и взгляды их опять скрестились.

Нина за спиною Вячеслава отчаянно махала Олегу руками, призывая к осторожности, но он как будто не замечал ее сигналов.

— А где же я достану этого доброго гения, который выпишет мне бюллетень? — насмешливо спросил он.

— Из районной амбулатории, — в каком-то даже восторге торжественно возвестил Вячеслав. — Вы сейчас спросите, где она, — тут, недалеко; мне идти мимо, так я могу сделать вызов, а вы, коли больны, не выходите.

Олег с удивлением взглянул на него и хотел ответить, но Мика, стоявший на пороге с ранцем, перебил его:

— Мне тоже по дороге, давайте я сбегаю.

Олег потянул его за рукав:

— Сбегай, Мика. Только не забудь, что я Казаринов, — тихо прибавил он.

— Не бойтесь, не забуду, — и Мика съехал по перилам лестницы вниз.

Олег ушел к себе, а за ним по пятам пошла Нина.

— Какая вас муха укусила? Зачем вы так говорите с ним! Вы его словно дразните. Или вы хотите, чтобы он окончательно убедился в вашей ненависти к существующему строю? Смотрите, если он сообщит об этом кому следует, вас опять сцапают и тогда уже до всего дознаются.

— Он и так знает обо мне достаточно, чтобы донести, однако пока не доносит, — ответил Олег. — Знает, что я держу оружие, подозревает, что я офицер и ваш родственник, а не пролетарий, вопреки анкетным данным. Почему не сообщает — не знаю. Притворяться перед ним я, кажется, больше не в состоянии.

— Смотрите! — серьезно сказала Нина и спросила: — А что с вами?

— Лихорадит сильно и бок болит: я, наверное, простудился.

— Немудрено, что простудились, когда по такому морозу ходите в одной шинели. Я эту вашу шинель видеть не могу: от нее за полверсты веет белогвардейщиной. Ложитесь скорее, вы дрожите. Досадно, что комнаты не топлены. — И она ушла.

Олег был несколько шокирован, когда к нему вместо невольно воображаемого им традиционного седого профессора явилась молодая, разбитная еврейка. Однако она оказалась достаточно внимательной и бюллетень выписала. Успокоившись на этот счет, он лежал, тщетно стараясь согреться, когда к нему заглянула дворничиха.

— Вот я тебе чайку принесла и кусок пирожка горячего, сейчас из печки. Кушай на здоровье. Ишь, руки-то у тебя холодные, зябнешь, поди. Истопить мне, что ли, тебе печку? У Нины Александровны ни полена дров, придет с работы, пошлет еще Мику за вязанкой на базар, да еще с полчаса проругаются, не раньше вечера истопят; так и пролежишь в холоде, а я мигом.

— Какая вы добрая женщина, Анна Тимофеевна, спасибо вам!

— Чего там спасибо! Да давай прикрою тебя ватником — ишь, ведь трясется весь.

— Анна Тимофеевна, у вас есть иголка?

— Как же не быть иголке-то, а на что тебе?

— На мне все рвется, хочу попытаться зашить.

— Нешто сумеешь? Я тебе ужо вечером поштопаю, а теперь спи.— И, затопив печку, она ушла.

Нина пришла действительно поздно, как всегда усталая, и между ней и Микой началась тотчас обычная «война».

— Накрой на стол и сбегай за хлебом, Мика!

— Погоди, потом.

— Не потом, а сейчас.

— Не пойду, пока шахматную задачу не кончу. Отвяжись со своими глупостями.

— Как тебе не стыдно так отвечать, Мика! Я целый день бегаю: все утро я пела в Капелле, а вечером мне петь в рабочем клубе; я, как кляча, тащу непосильный воз, а ты ничем мне помочь не хочешь!

— Ну, затараторила! Ладно — уж так и быть, накрою, только без скатерти, а то опять ругать будешь, что залил соусом; скатерть — это дворянские предрассудки.

— Ах, ты вот какой! Ты ведь это мне назло говоришь! Я тебя знаю! Все равно: умирать буду, а есть буду со скатерти!

Несмотря на весь накал военных действий, она все-таки не забыла забежать к Олегу и принести ему их обычное «дежурное» блюдо — треску с картофелем.

— Что сказал врач? — спросила она.

— Четыре болезни с длинными названиями написала. Вот, извольте видеть: в начальной стадии. Звучит устрашающе и непонятно.

— Отчего же вы не спросили у врача, что это такое?

— Я спрашивал, она говорит, что мне знать совершенно не для чего: важно только, чтобы в карточке было написано. Очевидно, так полагается при советской власти.

— Олег, вы шутите, а тут вовсе нет ничего забавного, — озабоченно сказала Нина, созерцая загадочный иероглиф.

На следующий день Олег точно так же лежал один с книгой, когда кто-то постучался в дверь, и голосок Марины спросил: «Можно?» Он стремительно вскочил с постели, поправил ее, провел рукой по волосам, потом открыл дверь; она стояла у самого порога — очаровательно одетая, розовая, хорошенькая — и улыбалась ему.

— Это я, — защебетала она, — муж говорил мне, что вы не вышли на работу, а Нина звонила по телефону и говорила, что позапрошлой ночью пережила что-то ужасное. Все это так взволновало меня, что я прибежала узнать. А вот Нины-то и нет. Скажите хоть вы, в чем дело?

Он предложил ей стул и сам сел уже не на постель, а на табурет, коротко ответил на вопрос о здоровье и рассказал о ночном приключении, не упоминая ни о револьвере, ни о разговорах с Ниной.

— Боже мой! Какой ужас! Воображаю, как испугалась Нина! — воскликнула Марина. — А вы не подумали, что они — за вами?

— Я всегда к этому готов, — ответил он.

— Это ужасно, то что вы говорите, — воскликнула она, и голос ее чувственно сорвался, так, что у Олега вдруг взволнованно заколотилось сердце. Он тонко ощутил, как она этим дрогнувшим голосом давала ему понять, что он ей не безразличен.

Марина продолжала наступление:

— Я почему-то особенно волнуюсь за вас, — сказала она и в изящном порыве прикоснулась к его руке — будто электрическая искра пробежала от нее к нему. Он все-таки еще делал вид, что ничего не замечает.

«Не может быть, — думал он, — мне показалось, Бог знает что... не может быть!» — и чувствовал, что весь дрожит с головы до ног.

Она еще что-то говорила о том, что если бы его взяли, тогда она бы... тогда... И вдруг замолчала. Он быстро поднял голову и взглянул на нее: она опустила глаза, слегка краснея, и наклонила головку, как будто говоря «да» или «можно».

Он вскочил, быстро перешел комнату и сел на подоконник, глядя на засыпанный снегом, пустой дворик.

— Марина Сергеевна, не шутите со мной... и лучше... лучше уйдите!

У нее на губах мелькнула блаженная улыбка.

— Подите сюда, — прошептала она совсем тихо и протянула к нему руки, но он не шел.

— Марина Сергеевна! Я не гожусь в возлюбленные. У меня нет никаких средств, чтобы вас побаловать... Я нигде не могу бывать. Вы же видите — я почти в лохмотьях.

— Олег Андреевич, на вас не видны лохмотья, для меня вы всегда остаетесь изящным кавалергардом, в мундире с иголочки.

Он не шевелился. Слишком долго его продержали в этом аду, где не было места ни любви, ни даже грубой связи, и вот теперь, в тридцать лет, он не приобрел еще никакого опыта при объяснениях, никакой уверенности в себе и, как мальчик, которого соблазняли в первый раз, не решался ни приблизиться, ни сказать решительное «нет». Ее удивила его сдержанность, и от одной мысли, что все, вдруг так приблизившееся, может от нее уйти — она, не отдавая уже себе ясного отчета в своих поступках, вскочила, подбежала к нему и обхватила его шею руками, привлекая к себе, чтобы сломить его сопротивление.

— Я вас люблю... Я хочу любви, хочу счастья! У меня ничего нет. Всегда только со старым, некрасивым, нелюбимым! Олег, если вы любите меня, берите, берите! Должна же и у меня в жизни быть хоть одна счастливая минута!

Когда Нина вернулась с работы, дворничиха мыла пол в кухне, подоткнув подол, — она была чем-то очень недовольна.

— Приходила тут, без тебя, твоя вертихвостка, — начала она, когда Нина, надев передник, расположилась у стола чистить картошку.

— Какая вертихвостка?

— Сергеевна твоя.

— Да что вы! Марина? Как жаль, что она меня не застала!

— Ну, она, почитай, не очень о том жалела. Бойка! Уж больно бойка-то! Сладила свое дельце!

— Не понимаю, Аннушка, о чем вы?

— Дельце, говорю, сладила с Олегом твоим, за тем и прибегала.

— Аннушка! Как вам не стыдно! — Нина чуть не выронила нож.

— Как ей не стыдно, скажи. А мне-то чего? Я не солгу. Коли говорю, то, стало быть, знаю. — И Аннушка энергично выжала тряпку над ведром.

— Перестаньте, Аннушка. Я не хочу слушать сплетен.

— Да уж какие тут сплетни! Пришла, да тотчас к ему — и шасть! Шу-шу да шу-шу... Слышу, в дверях задвижка — щелк; я прождала этак минут с пятнадцать, туфли сняла, да и прошла по коридору послушать у двери—тишина у их... Какие уж сплетни! А выползла — волосы трёпаные, щеки розовые: «До свидания, Аннушка, засиделась я», — и бегом. У, бесстыжая!

— Ну, даже если и так, никого это не касается, — сухо сказала Нина. — Стоять у замочной скважины некрасиво, а бранить Марину не за что: Олег не мальчик, он сам первый начал, я полагаю.

— Ну да, рассказывай! Так и поверю я. У нее все наперед обдумано было. Говорю, на то и приходила, знает, она очень хорошо, что тебя

в это время нет. Она, видать, ловкая. Муж пущай одевает, да на машинах катает, да в театры водит, ну а целоваться с молодым приятнее, чем со старым. И-и, негожее это дело. Олегу бы жениться на хорошей девушке, а не шашни заводить с балованной барыней, да где уж устоять, когда сама идет в руки, соблазн такой... он же после тюрьмы напостившись.

— Довольно, Аннушка! Как вы не понимаете, что есть вещи, которых нельзя касаться. И зачем вы говорите «тюрьма» — точно он уголовник какой-то; он был интернирован, был в лагере, а не в тюрьме.— И она вышла из кухни. Однако она не могла не сознаться, что Аннушка права, ворча на Марину, и впрямь— бойкая балованная барынька. Нина постучалась к Олегу. Он все так же лежал на диване, кутаясь в рваную шинель, и совсем не имел вида торжествующего любовника.

— Опять лихорадит и усталость, — ответил он на ее вопрос.

— Вы спали?

— Нет, больше читал. Приходила Марина Сергеевна, хотела вас видеть; просила вам передать, что придет вечером.

— Ах, вот что! — Волей-неволей Нине приходилось довольствоваться этой весьма сокращенной редакцией.

Через полчаса у двери Олега в коридоре разыгрался новый эпизод домашней войны:

— Мика, ты ходил за дровами?

— Как же, ходил. Принес две штуковины, приткнул у двери.

— Мика, да ведь это метровые бревна! Надо было вязанку взять, а с этими еще так много возни! Я от усталости падаю, а придется пилить и колоть. Ты совсем меня не жалеешь!

Олег с усилием поднялся с дивана и вышел в коридор.

— Идем, Мика. Бери пилу и топор, — сказал он, надевая шинель, и вспомнил почему-то, как в вестибюле отцовского дома произносил небрежно: «Шапку и пальто!» — и вскакивавшие при виде его денщики бросались исполнять приказание.

Нина запротестовала:

— Олег, вам выходить нельзя: вы получите воспаление легких.

— Успокойтесь, Нина! Пилить было моею специальностью в Соловках все шесть лет. Для меня здесь работы на пять минут. Но что за жизнь! — прибавил он с раздражением. — Певица с таким голосом, как у вас, не имеет самого необходимого! В царское время вы могли бы иметь особняк и вас осыпали бы цветами! Я поднес бы вам «белую розу в бокале золотого, как небо, «Аи».

Она слегка прищурила ресницы, как будто всматриваясь в картины, проплывающие перед ее мысленным взором, и неожиданно разразилась тирадой:

— Совершенно верно! Певица с таким голосом, как у меня, могла бы в царское время утопать в роскоши; но я-то не была бы певицей — ни мой отец, ни ваша семья не пустили бы меня на сцену. Мой голос ушел бы на то, чтобы петь колыбельные в детской и романсы в салоне. А вот теперь — измученная, усталая, я пою, пою без конца все и везде, и только в эти минуты я счастлива!

Марина шла по набережной Невы в своей хорошенькой беличьей шубке, запрятав в муфту ручки в лайковых перчатках. Пушистые локоны стриженых волос выбивались из-под шапочки, ямочки на розовых щеках как будто подчеркивали выражение счастья. Изредка улыбка слетала и брови хмурились, потом опять расцветала улыбка. Мысли ее разбивались на два русла. Одно из них было заполнено счастливыми воспоминаниями. Как он схватил ее и понес, будто тигр свою добычу! Откуда силы взялись! Как приятно, когда тебя несут, как соломинку! А этот бесконечно долгий поцелуй... как будто выпила кубок шампанского — так тепло стало в крови и сердце. У нее голова начала сладко

кружиться, показалось — она падает. Должно быть, она была очень хороша тогда. Это комбине с розочками, которое она надела на всякий случай, ей очень идет; хорошо, что она догадалась надеть его!

Но за этими мыслями вырастали другие, менее отрадные, несколько смутные, уяснить которые даже самой себе было больно: ведь она так и не услышала от него слова «люблю», а между тем первая сказала это слово. Кроме того, она не могла не понимать, что сама, своими собственными усилиями придвинула *это*. Воспоминание о том, как она подбежала к нему и прижалась всем телом, наполняло ее острым чувством стыда. Но нет! Сам он никогда бы не сделал первый шаг, ведь он без средств: у него нет костюма, нет денег, чтобы веселить и дарить подарки. Он сам сказал. Он не понимает, что ей ничего не нужно, милый, глупый кавалергард. А значит, она все сделала правильно. И Марина опять возвращалась к воспоминаниям о поцелуях и о своей красоте.

Короткий зимний день начинал уже погасать, когда она опомнилась немного и сообразила, что ей давно надо быть дома: усталый муж, наверное, уже вернулся с работы и ждет обеда, а впрочем, домработница подаст ему — не обязательно самой!

Около десяти вечера она постучалась в дверь Нины.

— Душечка Нина, здравствуй! Я ведь приходила сегодня. Я так жалела, что не застала тебя. Вот принесла торт: зови Мику и Олега и давайте пить чай.

— Жалела, что не застала? — переспросила Нина, и оттенок недоверия помимо воли прозвучал в ее голосе.

— Ну да, конечно, жалела, а что? — и щеки Марины предательски вспыхнули.

Нина вертела в руках нож для разрезания бумаги, и на ее выразительном лице лежала тень.

— Ты только не играй со мной в прятки, прошу тебя, — сказала она, глядя куда-то мимо подруги.

— Ты что-нибудь знаешь? Откуда ты знаешь? — несколько смущенно спросила Марина.

— Это все равно, откуда. Знаю.

— Так ведь не он же сказал тебе?

— О Боже мой! Конечно, нет!

Они постояли молча.

— Ты недовольна мной, Нина?

— Мне жаль Олега. Я знаю, что душевное состояние его очень тяжелое сейчас. К нему надо очень бережно относиться, а ты... ты для своего удовольствия поиграешь с ним, а его запутаешь... ему так трудно было устроиться на работу, а теперь ты этой связью можешь осложнить его положение на службе. Хоть бы об этом подумала! И вообще, что, кроме осложнений, может эта связь дать? Никаких удовольствий и развлечений Олег предоставить тебе не может, пойми же. А муж? Ты что ж, обманывать его собираешься?

— Вот ты какая, Нина! Хорошо тебе говорить. Ты вышла по любви, в двадцать лет, вышла за блестящего офицера, целовалась с ним сколько хотела, а потом целовалась с твоим Сергеем. А я? У меня никого не было. Ты отлично знаешь, в каком положении оказались девушки, которые не успели до революции выскочить замуж: нищета, никаких выездов и балов, никого из нашего общества, никакого выбора... Ты только подумай: я сегодня в первый раз узнала, что такое поцелуй мужчины, который нравится. А ведь мне уже тридцать два года! Пусть ты потеряла своего мужа, пусть потеряла Сергея, но ты была любима и любила, а я — пропадала зря. Ты горечи этого чувства даже понять не можешь. И ты еще меня осуждать будешь! — У Марины от досады даже слезы выступили на глаза.

— Да я не осуждаю тебя, Марина, я беспокоюсь только. Всегда все складывается так, что я должна за всех беспокоиться. И Моисея Гер-

шелевича жалко, ты его, по-видимому, даже за человека не считаешь, а он так всегда добр с тобой!

— Моисей Гершелевич получил меня, и пусть с него этого будет довольно. Ты, Нина, всех жалеешь, кроме меня.

Нина помолчала.

— Ну, а беременности ты не боишься?

— Нина, почему ты во что бы то ни стало хочешь окатить меня ледяной водой?

Нина молчала.

— Нинка, ты ведь меня не разлюбишь? Ну, ругай меня сколько хочешь, дорогая, только люби! Это все, что мне надо.

Она знала власть своей кошачьей ласки над одинокой подругой, ей было достаточно обнять Нину и, заглянув ей в глаза, потереться щекой о ее плечо, чтобы получить ответную улыбку.

— Ты знаешь отлично, что не разлюблю. Но ты безумная какая-то, Марина.

— Безумная — вот это верно! Хочу быть счастлива и буду!

Через несколько минут они уселись за чайный столик и по настоянию Марины кликнули «мальчишек». Но пришел один, с неожиданным известием: «Не знаю, что такое с Олегом Андреевичем, он чего-то разговаривает сам с собой, уж не бредит ли?»

— Ну вот, я так и знала! — воскликнула Нина, вскакивая.

Марина метнулась было к двери, но Нина, поймав ее за руку, выразительно сдвинула брови и повела глазами на Мику; Марина поняла и опустилась на диван.

— Садись и разливай чай, а я пойду к нему, посмотрю, что такое, и сейчас вернусь. — И она вышла. Через несколько минут вернулась. — Да, бредит, не узнал меня. Боюсь — не воспаление ли легких. Придется звонить в больницу — дома ухаживать некому, а он целый день один, и в комнатах холодно, у меня нет денег даже на лишнюю вязанку дров.

Марина вытирала глаза.

— Это глупо, что я плачу, — пролепетала она, встретив удивленный взгляд Мики, — но мне так жаль тебя, Нина, на тебя сыплются все несчастья! Нина, дорогая, позволь мне — вот сто рублей, — это для вас всех. Смотри, какой Мика бледный. Возьми, пожалуйста. Неужели я ничем тебе помочь не могу?

Нина начала возражать. После небольшой перепалки решили, что Нина вернет эти деньги, когда будет продан только что снесенный в комиссионный магазин маленький Будда слоновой кости. Нина уверяла, что этот Будда приносит несчастье и что ей не жаль расстаться с ним.

— Чудак Олег Андреевич, — сказал Мика, увлекаясь тортом, — бредит почему-то по-французски: сначала так, какие-то несвязные слова бормотал, а потом вдруг говорит: «Le vin est tiré, il faut le boire» [1], — вина какого-то ему захотелось, видите ли!

Нина незаметно покосилась на Марину: щеки Марины вспыхнули и губы задрожали, как у обиженного ребенка.

Проводив Марину, Нина велела Мике лечь в ее комнате, а сама пошла опять к Олегу и села около него в ожидании санитарного транспорта, который вызвала по телефону. В этот день она очень устала и была полна множеством впечатлений. После пилки дров, которая все-таки дорого обошлась Олегу, она, покончив с печкой и другими хозяйственными делами, собралась наконец нанести визит Наталье Павловне. Совершенно для нее неожиданно ее встретили очень тепло, как невесту Сергея Петровича, о чем говорилось открыто. Наталья Павловна

[1] «Вино откупорено, его надо выпить» (*франц.*).

обнимала ее, Ася бросилась на шею, а француженка осыпала ее любезностями. Наталья Павловна передала ей письмо Сергея Петровича, читая которое она расплакалась, и это еще больше сблизило их. Вернулась она только за пять минут до того, как к ней постучала Марина, но ничего не рассказала ей, так как Марина была слишком полна своим собственным романом, а говорить мимоходом о таком важном событии в своей жизни Нина не хотела. К тому же сообщить о своем будущем браке как раз в тот день, когда ее подруга очертя голову решилась на измену, показалось ей неделикатным. Теперь, сидя в тишине комнаты, она припоминала все подробности своего визита и чувствовала себя отогретой и очарованной отношением этой семьи. Ей захотелось перечесть письмо. Она вспомнила, что оно осталось в ее муфте, принесла и, усевшись снова у постели Олега и заслонив от него свет лампы, развернула письмо.

«Милейшая и лучшая из женщин, свершилось: еду в неизвестность! Мать и Асю оставляю на произвол судьбы без всяких средств к существованию, с тобой лишен возможности даже проститься, а между тем многое бы хотелось сказать. Слова твои о потере тобой ребенка совершили какой-то переворот во мне. Все последние дни я все время думал об этом и, если ты еще хоть немного любишь меня — считай своим женихом. Делаю тебе формально предложение. Матери и Асе я уже сказал, что считаю тебя своей невестой, уверен, что они окажут тебе какое только смогут внимание. Счастлив буду, если это принесет тебе хоть каплю радости. Я и раньше ничем, кроме любви, не мог бы украсить твою жизнь, а теперь как жених я и вовсе ничего не стою. Всякая другая женщина не колеблясь отвергла бы предложение человека в моем положении, но ты не из таких. И все-таки, считая себя связанным данным тебе словом, я оставляю тебе полную свободу ждать с решением сколько ты захочешь. Может быть, этим я искуплю свою вину. Пишу письмо ночью. Не знаю, когда мы увидимся, когда я опять обниму тебя и услышу божественное сопрано моей Забеллы. Не могу представить себе жизнь без любимых людей и без оркестра!»

Она опустила письмо на колени, и опять слезы полились из ее глаз.

Олег начал водить головой по подушке и что-то бормотать... Она оглянулась и, что-то сообразив, поднялась и поспешно стала шарить около его изголовья. Вот он! Хорошо, что она вспомнила, — если бы санитары обнаружили, немедленно составили бы протокол и передали дело в огепеу. Она спрятала револьвер в муфту и энергично задернула молнию, твердо решив завтра же бросить его в Неву. Она смотрела на мечущегося в бреду Олега и чувствовала, что, вопреки намерениям, все больше и больше привязывается к нему и что его жизнь возбуждает в ней с каждым днем все больше и больше сестринского участия.

Глава двенадцатая

В начале февраля Наталье Павловне сделалось нехорошо, когда она подымалась по лестнице, возвращаясь домой.

Когда мадам раздевала ее, та проговорила, обращаясь больше к самой себе: «Попались в сети наши оба сокола... Кажется, это у Пушкина?» И француженке ясно стало, что мысль о судьбе сыновей не оставляла ее ни на минуту.

Вызванный на квартиру старый врач, лечивший ее еще в добрые старые времена, нашел упадок сердечной деятельности, прописал несколько сердечных средств и покой и велел несколько дней полежать.

На третий день болезни бабушки Ася выудила наконец из почтового ящика письмо от Сергея Петровича. Он писал: «Дорогие мои! Я все еще в дороге. Едем очень медленно, постоянно стоим на запасных путях. Везут нас в закрытом наглухо вагоне, но сквозь решетку

окна мы, когда поблизости нет конвойных, выбрасываем письма на станциях и полустанках, в надежде, что кто-нибудь из добрых людей их подберет и опустит. Таким образом, я уже бросил два письма к Нине и два к вам. За меня не беспокойтесь — я здоров. Вагон, разумеется, не слишком благоустроен, зато общество самое избранное. Очень многие из моих спутников прямо из мест заключения. Нам, более счастливым, пришлось поделиться с ними запасом провианта, конвертов и папирос, а теперь мы договорились с одним из конвойных, чтобы он за небольшую мзду покупал нам на наши деньги необходимые вещи, которые он передает, влезая на станции под вагон, через трубу в уборной. (Извините за такую деталь.) Хорошо было бы, если б нашу компанию не разъединили, а поселили в одном месте. Коротаем время в бесконечных разговорах на самые разнообразные темы, вплоть до философских. Я организовал маленький хор, и мы поем иногда «Очи черные, очи жгучие», «Как ныне сбирается» и другие общеизвестные песни. Посередине вагона стоит жаровня, около которой мы греемся и на которой кипятим воду — нам ее приносят в медном чайнике три раза в день. Я был бы почти доволен, если бы не постоянное грызущее беспокойство за всех оставшихся.

Ваш Сергей».

Когда Ася вслух прочитала письмо, Наталья Павловна попросила: «Дай мне, я хочу увидеть его руку». Ася молча протянула письмо, в котором ее больше всего поразили слова: «сквозь решетку окна» — ей вспомнилась картина «Всюду жизнь». «За решетку такого человека, как дядя Сережа!» — подумала она, чувствуя, что слезы сжимают ей горло, и, отвернувшись, разглядывала давно знакомые ширмы лионского бархата со сценами из жизни аркадских пастушков.

Наталья Павловна перечитывала письмо в полном молчании и, когда взглянула на своих домочадцев, встретилась с тревожным взглядом Аси, устремленным на нее из-под ресниц, и озабоченными глазами француженки. Она сложила письмо и спокойно проговорила:

— Приготавливайте чай и садитесь сюда, ко мне. Ася бледная, ей надо пораньше лечь.

Своим тоном она вновь установила тот градус выдержки и спокойствия, который должен был держаться в семье, что бы ни случилось. Никто из них, словно по уговору, не говорил другому о тяжести своего душевного состояния, о том, что Сергею Петровичу никогда не разрешат вернуться, что не сегодня — завтра Наталья Павловна получит точно такую же повестку, а двери консерватории для Аси окончательно будут заперты. Мадам любила поговорку: «Il faut faire bonne mine à mauvaise jeu» [2]. Казалось, фраза эта стала девизом в семье.

Ася болезненно переживала в эти дни свою неприспособленность к жизни. В течение одной недели она потерпела крах в двух попытках заработать. Урок музыки ей предложили в музыкальной школе. Семья рабочего получила по разверстке комнату репрессированного «бывшего», посередине этой комнаты стоял брошенный рояль, теперь бесхозный. Вновь поселившаяся семья завладела им, и старая бабушка порешила учить музыке маленького внука. Мальчик оказался кругленький, русоголовый, остриженный в скобку, подпоясанный ремешком, ни дать ни взять — мужичок-с-ноготок! Ножки его еще не дотягивались до педали, а пел он очень чисто и мог с голоса повторить любую музыкальную фразу.

— Какой же у тебя тонкий слух, Миша! — радостно восклицала Ася.

Вид рояля, вклинившегося в эту типично мещанскую обстановку, болезненно царапнул ее сердце — владелец рояля, быть может, ехал в одной теплушке с Сергеем Петровичем.

---

[2] «Нужно сохранять хорошую мину при плохой игре» (*франц.*).

Учительница и ученик просидели за роялем больше часа, а старая бабушка, подперев рукой щеку, с нежностью созерцала их.

— Слава Те, Господи! Сподобил ты меня сыскать учительницу! Больно молода, а в роялях, видать, понимает и ласковая... Пошли теперь, Господи, разумение Мишеньке!

Когда учительница уходила, старушка вынесла ей коржиков собственного изготовления.

Ася возвращалась ликующая: одна деталь вдруг зацепила ее воображение — уходя, она столкнулась с рабочим, отцом ребенка, и увидела, как Миша прыгнул тотчас же на сундук так, что головка пришлась вровень с головой отца, и обвил руками его шею. «У меня тоже так будет! — решила Ася. — Мой сынок будет прыгать на бабушкин кофр, который в передней. Пролетарии вовсе не троглодиты, как уверяют бабушка и мадам, а такие же хорошие, как мы». Только когда она уже подходила к своей квартире, ее прожгло — что же она наделала! Она вспомнила, как, увлекшись слухом и голосом ребенка, сама подрубила сук, на котором собиралась усесться: когда выяснилось, что старушка приравнивает оплату за урок к своей зарплате за мытье полов, Ася брякнула:

— Мне денег не надо вовсе! Ваш Миша такой способный, я буду заниматься бесплатно!

Эти великодушные фразы легко слетели с ее губ, но где, спрашивается, был ее разум? Бабуля тотчас и поймала ее на слове. «Ах, какая я глупая! Эти люди живут, по-видимому, лучше нас — за один пакетик чаю для мадам стоило бы съездить на этот урок, а я от всего отказалась разом!» И Ася горько расплакалась.

Другая попытка была предпринята уже без ведома Натальи Павловны. Выходя на следующий день из подъезда, она увидела пожилую даму, державшую закутанного младенца. Ася придержала дверь, пропуская ее пройти, и с готовностью вызвалась подержать младенца, пока дама эта дошла до булочной и обратно.

Благодаря Асю, дама сказала, что очень устала нянчиться с внуком.

— Не можете ли мне порекомендовать какую-нибудь женщину, которая согласилась бы выносить на ежедневную прогулку нашего Алешу? — спросила она.

— Возьмите меня! — выпалила Ася и покраснела, как рак.

На другой день под предлогом репетиции глинкинского трио Ася ушла из дому в нужный час, и вот она спускалась с лестницы, бережно держа на руках укутанного бутуза. В подъезде стояла группа молодых людей, по-видимому, студентов.

— Расступитесь, товарищи, молодая мать идет! — сказал один из них.

— Ай, ай, какой хороший бутуз! — сказал другой.

— Мальчик? — спросил третий.

— Сын, — ответила с важностью Ася.

— Новый защитник революции, стало быть! А как имя?

— Алеша.

— А по батюшке?

Ася встала в тупик. Кажется, чего проще — скажи первое попавшееся имя, и все тут; но, как нарочно, все мужские имена вылетели из ее памяти. Юноши расхохотались.

— Да зачем ему отчество! — воскликнул один из них. — Он и без отчества будет хорош! Да здравствует товарищ Алексей, защитник мировой революции!

— Ура! — загалдели все, а один из них, положив руку на плечо Аси, сказал:

— Молодец. Так именно должна поступать истинная коммунистка Семья — пережиток.

Ася поспешила отойти в маленький сквер напротив подъезда и се-

ла там на скамью; Алеша широко улыбался беззубым ротиком: новая няня ему очень нравилась. Две пожилые женщины, сидевшие тут же, с любопытством оглядели Асю, живой пакетик на ее руках и даже «бывшего» соболя.

— Сын?

— Сын.

— Только со школьной скамьи — и уже мамаша! А что, роды-то трудные были? Таз-то у вас, поди, узкий, а может, ребенок и лежал-то неправильно? Где рожали?

Широко раскрыв глаза, Ася с ужасом смотрела на них, не зная что ответить. В эту минуту молодые люди махнули ей за изгородью уроненной перчаткой.

— Бегите, заберите, а ребенка отдайте пока нам, — покровительственно сказала одна из женщин, и едва Ася передала им Алешу, ребенок сейчас же сморщился и заплакал, а в подъезде, как на грех, показалась его бабушка.

— Это что же? Вы уже поспешили отделаться от ребенка? — и, отбирая Алешу, прибавила: — И это девушка из порядочного дома!

Ася растерянно оглянулась и, почувствовав в этих словах что-то еще непонимаемое ею ясно, но оскорбительное для себя, вспыхнула от обиды. Ничего не объясняя и не оправдываясь, она убежала в подъезд, забыв и про перчатку. Во второй половине дня она возвращалась из музыкальной школы в сопровождении Шуры Краснокутского.

Этот юноша, бывший лицеист с изысканными манерами и томными глазами, окончивший неожиданно для себя вместо лицея советскую трудовую школу, ухаживал довольно безнадежным образом — Ася неизменно потешалась над каждым проявлением его любви. В этот раз, разговаривая очень мирно, они только что повернули с Литейного на Пантелеймоновскую, когда высокий сумрачный человек в рабочей куртке и кепке почти столкнулся с ними и, смерив их недоброжелательным взглядом, громко сказал:

— Аристократия... Не всех еще вас перевешали!

Юноша и девушка растерянно взглянули друг на друга.

— Господи, что же это?! — воскликнула Ася и остановилась.

— Пойдемте, пойдемте скорей! — воскликнул Шура и повлек ее за руку. — Не оборачивайтесь! Впрочем, он не идет за нами. Какое у него было злое лицо!

— Шура, что мы ему сделали? Они ведь уже расстреляли наших отцов... Неужели же и наше поколение надо резать и гнать? Неужели уже мало крови?

— Это называется классовой борьбой, Ася. Мы хотим жить, учиться, быть счастливыми, но мы уже приговорены — вопрос о сроках только. Мы хватаемся, кто за иностранные языки, кто за науку, наша образованность пока еще якорь спасения, но они хотят иметь свои кадры, и когда создадут их — нас, бывших, будут выкорчевывать, как пни в лесу.

— Шура, да в чем же мы виноваты? Когда началась революция, мне было семь лет, а вам — десять. И еще: как мог он знать, кто мы по происхождению? Если бы мы прогремели мимо в золоченой карете, но мы — как все, мы одеты ничуть не лучше окружающих!

Он прижал к себе ее локоть:

— Тут не нужно кареты, Ася! Вас выдает лицо — оно слишком благородное. У вас облик сугубо контрреволюционный. Да и мой вид тоже очень и очень характерный! Недавно я зашел в кондитерскую, а продавщица говорит: «Вид господский, килограммный, а покупаете вовсе незаметную малость».

Ася засмеялась, а потом сказала:

— Милый килограммный Шура, мне очень грустно!

В этот вечер неожиданно раздался звонок — редкость в опальном доме. Открыв, Ася увидела невысокую худощавую фигуру молодого скрипача — еврея из музыкальной школы.

— Доди Шифман! — радостно воскликнула Ася и вылетела в переднюю.

— Здравствуйте, Ася! Я пришел сообщить, что репетиция нашего трио состоится не в пятницу, а завтра; заведующий инструментальным классом поручил мне вас предуведомить. И еще... у меня вот случайно билеты в «Паризиану», идет хороший фильм... Не пойдете ли вы со мной?

— С удовольствием, конечно, пойду! — Ася подпрыгнула и уже схватилась за пальто, но, обернувшись на француженку, встретилась с ее суровым взглядом.

— Вы разрешите мне, мадам? Или следует спросить бабушку? — растерянно пролепетала она.

— Laissez-moi parter moi-même avec M-me votre grande mére [3], — ледяным тоном отчеканила француженка и вышла.

Напрасно прождав две или три минуты, Ася выбежала в соседнюю гостиную и оказалась перед лицом выходившей из противоположной двери Натальи Павловны.

— Это что? В пальто прежде, чем получила разрешение? Ты не советская девчонка, чтобы бегать по кинематографам с неведомыми мне личностями.

— Бабушка, это Доди Шифман, — скрипач из нашей музыкальной школы.

— Что за непозволительная интимность называть уменьшительным именем постороннего молодого человека? Выйдешь замуж, будешь ходить по театрам с собственным мужем, а этот еврей тебе не компания.

— Бабушка, да ведь Доди слышит, что ты говоришь! За что же его обижать! А по имени у нас в музыкальной школе все называют друг друга.

Ася выбежала снова в переднюю и, увидев, что Доди там уже нет, вылетела вслед за ним на лестницу.

— Доди, подождите, остановитесь! Мне очень неприятно, что вас обидели! Бабушка — старый человек, у нее много странностей; меня она ни с кем никогда...—и, настигнув молодого скрипача, ухватилась за рукав его пальто.

— Я все отлично понял, товарищ Бологовская, бабушка ваша не дала себе труда даже снизить голос.

— Доди, милый! Не подумайте, что я в этом участвую и тоже думаю так! В первый раз в жизни мне стыдно за моих! Евреи—такой талантливый народ — Мендельсон, Гейне... Пожалуйста, не обижайтесь, Доди! Иначе мне тяжело будет встречаться с вами, и трио потеряет для меня свою прелесть. Извиняете? Ну, спасибо. До завтра, Доди!

В этот день Наталье Павловне дано было еще дважды выявить всю неприступность своих позиций и величие своего духа, которого не могла коснуться тень упадничества. Этот день поистине был днем ее бенефиса.

Вскоре после того, как она указала надлежащее место молодому скрипачу, зазвонил телефон и трубка попала в руки Натальи Павловны. Говорил профессор консерватории — шеф Аси, который просил, чтобы Ася явилась к нему на урок в виде исключения в один из номеров Европейской гостиницы. Дело обстояло весьма просто — маэстро был в гостях у приезжего пианиста — гастролера и, сидя за дружеским ужином, внезапно ударил себя по лбу и воскликнул:

— Ах, Боже мой, я забыл, что через десять минут у меня урок! — и рассказал собеседнику о своей неофициальной ученице.

---

[3] «Позвольте мне самой поговорить с вашей бабушкой» (*франц.*).

— Так пригласите ее сюда, и тогда это оторвет у вас какие-нибудь полчаса, кстати, и я ее послушаю,— отозвался второй маэстро.

Сказано — сделано. Но для Натальи Павловны вся ситуация представилась совсем в иной окраске...

— Что? Девушку в гостиницу?! Этому не бывать. Нет. Нет. Если ваш гость желает послушать мою внучку — милости просим к нам. И никаких исключений!

Но завершающее выступление Натальи Павловны было великолепно в самом истинном значении этого слова: она уже сидела за вечерним чаем со своими друзьями-домочадцами, когда навестить ее явился один из прежних знакомых. Разговор зашел о положении эмигрантов.

— Как бы ни было оно тяжело, а все-таки несравненно легче нашего,— позволил себе заметить гость.— Мы с вами, Наталья Павловна, сделали очень большую ошибку — нам следовало уже давно уехать с семьями. В двадцать пятом году в Германию выпускали очень легко, и я уверен, что там наша жизнь шла бы нормально.

Наталья Павловна нахмурилась:

— Нормальной жизнь на чужбине быть не может. Мне, русской женщине, просить убежища у немцев? Мой муж, мой брат и оба мои сына сражались с немцами.

— Помилуйте, Наталья Павловна, вы предпочитаете иметь дело с большевиками? Кажется, они уже достаточно себя показали!

— Я бы отдала все оставшиеся мне годы жизни, лишь бы увидеть конец этого режима,— с достоинством возразила старая дама,— но это наша, домашняя беда. Пока я в России, я дома и лучше кончу мои дни в ссылке, чем буду процветать за рубежом.

Головка Аси слегка вскинулась от радостной гордости за бабушку, а глаза мадам восторженно сверкнули.

Впечатления этого дня растравили Асю. Перед сном она по своему обыкновению поцеловала маленький эмалевый образок, стоя уже раздетая на коленях в своей кровати. Этот эмалевый образок и плюшевый старый мишка — две только вещи принадлежали лично ей во всем доме. Но ей и не нужно было ничего. Улегшись, она некоторое время ворочалась с боку на бок, вспоминая обиду Шифмана, звонок из Европейской гостиницы и гордый ответ бабушки о жизни в эмиграции; но потом мысли Аси стали отлетать куда-то вдаль, где сияло голубое детское небо...

Глава тринадцатая

Льстецы, умейте сохранить
И в самой подлости оттенок
благородства.
А. С. Пушкин.

Печальное оцепенение этих дней было прервано неожиданым событием: к Наталье Павловне явился внук ее приятельницы еще по Смольному институту, а потом всегда желанный гость — Валентин Платонович Фроловский — и сообщил, что, находясь в командировке в Москве, он в одном крупном учреждении встретил внука Натальи Павловны от дочери, которая пропала без вести со всей семьей во время военных действий в Крыму,— Мишу Долгово-Сабурова.

Наталья Павловна была поражена — до сих пор люди только пропадали, и вот наконец кто-то нашелся! Хоть одна утешительная весть! Она хотела тотчас писать внуку, но Валентин Платонович разразился речью, исполненной дипломатических тонкостей и очень длинной.

Смысл ее сводился к тому, что Михаил не захотел узнать Фроловского и тот на всякий случай узнал в справочном окне, работает ли в данном учреждении Долгово-Сабуров. Выяснилось, что такого нет, а есть только Сабуров. Так как имя и отчество совпали, можно было заключить, что Михаил, по всей вероятности, нашел удобным несколько изменить свою фамилию... Быть может, он точно так же изменил и коечто в своей биографии. Все это очень извинительно в такое жуткое время. Очень быстро составился план действий: Валентин Платонович через три дня уезжал в новую командировку в Москву; порешили, что Ася едет с ним и с вокзала он отвозит ее в учреждение, где работает Михаил. Все складывалось очень удобно, к тому же в комиссионном магазине продалось хрустальное блюдо и ваза баккара — еще одно осложнение было, таким образом, устранено. Наставлений Ася получила великое множество от всех окружающих, но Наталья Павловна изложила ей свои только перед самым отъездом, пригласив ее в свою комнату,— ни в какие театры или рестораны даже с Валентином Платоновичем, с вечерним поездом обязательно обратно, по пути — никаких знакомств, чтобы не повторилось историй вроде той, с Рудиным. Михаилу было велено передать: если служит, пусть бросает службу и едет — семья дороже. Только в случае, если он студент — пусть остается пока в Москве: попасть в высшее учебное заведение настолько трудно, что бросать его было бы легкомысленно. В этом случае пусть приезжает на первые каникулы.

— Передашь ему от меня вот эти деньги, объяснишь, почему я не могу прислать больше. Расспроси подробно обо всем, что ему известно про родителей. Христос с тобой! — И Наталья Павловна перекрестила внучку.

На вокзал с Асей поехали француженка, Леля и Шура Краснокутский. Ася сияла, заранее воображая себе встречу с двоюродным братом и гордясь ответственностью поручения.

— Передай Мише, что я раздумала выходить за него замуж и что обещала я это ему от моей великой глупости в десять лет,— сказала Леля.

— А от меня передайте Мише,—подхватил Шура, — что я жажду продлить с ним старое единоборство, которое началось на елке у Лорис-Меликовых и закончилось тем, что он подбил мне правый глаз. Обещаю подбить ему левый по заповеди: око за око, зуб за зуб.

В Москве, однако, все сложилось не так, как ожидали. В учреждение Асю дальше вестибюля не пустили. Она написала записку и умолила швейцара снести ее «Сабурову». В записке стояло: «Дорогой Миша! Пишет твоя сестра Ася. Мы с бабушкой страшно рады, что ты нашелся. Скорее выйди, я внизу у лестницы». Курьер принес ей ответ: «Весьма рад и изумлен. Не имею возможности сейчас выйти: занят на спешном совещании. Кончаю работу в 6. К этому времени жди меня в сквере напротив учреждения. М.». Она удивилась сначала, что он так отсрочивает свидание, но после сообразила, что он не мог знать плана, разработанного Натальей Павловной, и сообразоваться с ним. Оставалось пять часов времени. Они прошли незаметно — Ася отправилась в Третьяковскую галерею, которая оказалась поблизости. Заодно там как следует отогрелась.

К назначенному сроку она уже бродила по расчищенным дорожкам сквера и скоро увидела, как из учреждения начали быстро выходить люди. Одна фигура завернула к скверу. Он! Но какой же он стал высокий!

— Миша, милый! — она бросилась навстречу и сжала обеими руками его руку.

— Ася? Здравствуй! Рад, очень рад встрече. Я тоже ничего не знал о вас. Необходимо поговорить. Плачешь? Не надо, успокойся. Не о чем. Как видишь, жив и здоров. Покажись, какая ты? Выросла, похорошела! Сколько тебе теперь лет, Ася? Восемнадцать? А мне двадцать два. Не замужем?

— Ну, что ты! Конечно нет. Я живу с бабушкой.

— А почему с бабушкой? А твои родители?..

— Мама умерла от сыпного тифа, а папу расстреляли...

— Дядю Всеволода? Печально. Ну, а мой отец в эмиграции. Для меня потерян, как и твой. А мама... Моя мама пропала без вести...

— Миша, милый, бабушка прислала меня за тобой, чтобы ты жил с нами. Она так ждет тебя, так обрадовалась известию о тебе. Вот она прислала тебе двести рублей, чтобы ты мог выехать к нам. Ты больше не будешь один...

— Подожди, не торопись! Надо все обдумать и обсудить. Все это не так просто. Дело не в деньгах. Спрячь их пока в свою муфту. Пойдем со мной в кафе: скушаешь пирожное и выпьешь чашку какао, тем временем поговорим. Я должен перед тобой извиниться, я не могу пригласить тебя к себе домой: я — женат. Жена моя — человек несколько иной формации, чем ты, может быть, думаешь: она из рабочей семьи, комсомолка; я от нее пока скрываю, что я сын гвардейского офицера и сам — бывший кадет... Не хочется ворошить то, что удалось замять. Поэтому я не хотел бы вас знакомить. Ну, чего ты удивляешься? Отрекомендовать тебя просто знакомой я не могу — ты слишком молода и хороша собой! А представить как кузину — неосторожно! Ты, конечно, не сумеешь маневрировать в разговоре. Итак — в кафе? — Ася молча кивнула. Он взял ее под руку.

— Ну, пойдем. Рассказывай. Сначала скажи про бабушку: такая же она подтянутая, выдержанная и строгая или горе согнуло ее?

— Нет, бабушку не согнешь. Пережито было, конечно, очень много, и голова у бабушки совсем серебряная, но она не поддается. Ум у нее до сих пор такой светлый и ясный, что подивиться можно, и даже держится бабушка по-прежнему прямо.

— Не могу себе представить Наталью Павловну в современных условиях. Такая grand-dame[4] заперта в одну комнату и, очевидно, вынуждена стоять в очередях за керосином и картошкой, или мыть посуду в переднике. Просто представить себе не могу! Где же вы все живете?

— В прежней бабушкиной квартире, где всегда бывала такая чудесная елка. Помнишь?

— Помню, конечно. А другие дети? Что с ними сталось? Где Вася, твой брат?

— Васи тоже... Тоже тиф. Тогда же, когда мама.

Оьи помолчали, охваченные холодным дуновением.

— Я им командовал когда-то на правах старшего. Помнишь, как мы играли в разбойников в Березовке? Делали себе украшения из гусиных перьев и прятались в парке. Ты Березовку помнишь?

— Березовку помню и никогда не забуду. Я до сих пор постоянно вижу ее во сне. Аллея к озеру, дубовая беседка, балкон, увитый виноградом... Вот закрою глаза и вижу. — Она сощурила ресницы, а про себя подумала: «Нет, он прежний, хороший!» Миша спросил, закончила ли она среднее образование, попутно поиронизировав, какая, должно быть, поднялась паника, когда благородные институты и великолепные гимназии, вроде Оболенской и Стоюнинской, превратились в «советские трудовые школы», широко доступные пролетарским массам.

— Меня только в двадцать втором году привез из Крыма дядя Сережа, да я еще долго болела тифом, — ответила Ася, — а потом бабушка отдала меня во французскую гимназию г-жи Жерар. Там все было еще по-старому — экзамены, классные дамы, реверансы. А преподавание велось на французском, поэтому поступать туда могли только дети нашего круга. Эту гимназию охраняло французское консульство. Все бросились отдавать туда своих дочек, вот и мы с Лелей попали туда. Но окончить не успели — гимназию все-таки закрыли за идейное несоответствие.

Он усмехнулся:

[4] Знатная дама (*франц.*).

— Я думаю! Французская гимназия! Эх, бабушка... Как вы все не понимаете серьезности момента! Ну, а потом что было?

Она стала рассказывать про то, как ее не приняли в консерваторию, потом про Сергея Петровича. Лицо Миши становилось все сумрачней и сумрачней. Пришли в кафе. Когда они сели за маленьким столиком, стоящим несколько в стороне от других, Миша сказал:

— Да, все это очень неприятно: сослан, конечно, за прошлое, — и опер на руку нахмуренный лоб. — Я должен поговорить с тобой очень серьезно, Ася. Мне бы хотелось, чтобы ты поняла меня. Я все время думал об этом с тех пор, как получил твою записку. Видишь ли, тот класс, который нас создал, уже сыграл свою роль и сходит со сцены. Пойми: он уже не возродится, а мы — дети этого класса — еще только вступаем в жизнь и должны отвоевать себе право на существование, если не хотим быть выброшенными за борт. Если до революции перед нами за заслуги отцов распахивались все двери, то теперь мы расплачиваемся уже не за заслуги, а за «грехи» отцов, и наше происхождение превращается в своего рода печать отвержения, которую мы должны стараться сгладить. Не будем обсуждать, справедливо это или несправедливо — это факт, с которым необходимо считаться, а кто прав, кто виноват, рассудит история. Задача наша усложняется еще и тем, что готовили нас к существованию гораздо более изысканному, чем та суровая борьба, в которую мы теперь брошены. В нас развивали утонченность мысли, эстетическое чувство, изящество манер, обостряли нашу впечатлительность, а теперь вместо этой культуры тела и духа нам нужнее была бы здоровая простота чувств и непоколебимая самоуверенность, которая часто происходит от ограниченности, но за которую я теперь охотно бы отдал всю свою и развитость и щепетильность. Что делать! Мы должны приложить все усилия, чтобы наша неприспособленность не оказалась гибельной. Не давай себя уверить, что большевики скоро взлетят на воздух. Нельзя жить как в ожидании поезда, нет. Нам остается только приспосабливаться к новым условиям существования. — Он остановился и посмотрел на Асю, которая внимательно слушала его, стараясь понять.

— Каким же, по-твоему, образом нам надо приспосабливаться? — спросила она спокойно.

— Каким?.. Ну вот, скажем, ты, Ася. В тебе слишком светится вся твоя идеалистическая душа. В твоих словах, в твоих движениях и манерах есть что-то сугубо несовременное. Ни практичности, ни бойкости, ни самостоятельности. Ты производишь впечатление существа, случайно заблудившегося в нашей республике. Тебе необходимо изменить если не душу, то хотя бы манеру держаться, перекрасить шкурку в защитный цвет. Я знаю, что это нелегко с аристократической отравой в крови, а все-таки необходимо. Когда-нибудь ты убедишься, что недостаточно солгать в анкете (если можно солгать), надо суметь перед окружающими поставить себя так, чтобы никто на службе или в учебном заведении не смог заподозрить в тебе дворянку. Вот я заметил, что ты вместо «спасибо» всякий раз отвечаешь «мерси» и при этом очаровательно грассируешь, обнаруживая идеальный парижский выговор. Будь уверена, что одним этим словом ты можешь предубедить против себя всю окружающую среду. Я говорю это на основании собственного горького опыта, так как однажды уже вылетел с треском с рабфака потому только, что не сумел держать себя так, как это было необходимо перед своими же товарищами, да всевозможными месткомами и партячейками. С тех пор я стал иначе говорить, иначе смотреть. Отчасти это пошло мне во вред, но я предпочитаю лучше покраснеть перед бабушкой, нарушив правила хорошего тона, чем обнаружить свое подлинное лицо перед любым рабочим. Ася, пойми, достаточно только промаха перед кем-либо из «сознательных» товарищей, и вот в стенгазете появляется колкая заметка, где на тебя не то чтобы доносят, нет, зачем, — тебя высмеивают, на что-то намекают, и этого уже довольно. На

следующий же день тебя вызывают в комсомольское бюро или в местком и начинается травля, в которой ты непременно будешь побежден, так как оправданий твоих не выслушают и не напечатают.

Она молчала; видно было, что она очень хочет понять его, и это тронуло юношу: он наклонился к ней и внезапно теплая нота прозвучала в его голосе:

— Да ты не обиделась ли на меня? Ты вся такая, как ты есть, мне очень нравишься, я не желал бы лучшего от кузины, но... Нельзя забывать, в какое время мы живем.

— Нет, я не обиделась. Я отлично понимаю, что все это у тебя выстрадано, Миша. Но вся эта твоя теория — защитная шелуха, как вокруг каштана или ореха. Я пока не вижу сердцевины.

— О, да ты не глупа! Ты очень хорошо мне ответила! — воскликнул он, как будто чем-то удивленный.

К ним подошла официантка, и оба выждали, пока она удалилась.

— Ты говоришь — выстрадано. Да, выстрадано! — опять начал он. — А вот отчего же они, старшие, ну, если не бабушка, то хотя бы дядя Сережа, не сумели понять того, что понял я — мальчишка? Отчего дядя Сережа не сумел найти место в новом обществе? Подумала ли ты, в какое положение поставил он тебя своей ссылкой? — Ася покраснела.

— Нет, об этом я не подумала! Я думала о том, что он попадет в очень тяжелые условия, что у него не будет, может быть, угла и он затоскует без книг и без оркестра. Ты говоришь, что дядя Сережа не сумел себя поставить в новом обществе, но это не так; он был полезен, он работал, как вол. Сначала в «оркестре безработных», потом в Филармонии, а по вечерам в рабочих клубах — они это называли «халтурой».

Она замолчала. Ей показалось, что Миша слушает ее с безразличием.

— Оставим этот разговор, — растерянно молвила Ася. — Скажи, когда ты приедешь к нам и что я должна передать бабушке?

— Видишь ли, Ася, скажу откровенно — да ты и сама могла бы уже понять, после всего сказанного — встреча с Натальей Павловной не входит в мои планы и очень меня озадачивает... Ты росла под крылышками родных и, конечно, не представляешь себе, какую суровую школу прошел я за эти годы! Отец думал только о себе, когда бежал с полком в Константинополь, а меня бросил тринадцатилетним кадетиком отвечать здесь за моих предков! Я едва не умер с голоду. Я продавал газеты на улицах, я чистил сапоги; приходилось доказывать, что я не наследник-царевич или не верблюд, а двуногое! И вот только лишь я встал на ноги, сумел отбросить частицу «Долгово» и навсегда покончить с прошлым, я узнаю, что у меня есть родственники, которые жаждут раскрыть мне объятия! Пойми: для тебя бабушка и дядя Сережа — близкие и дорогие люди, а для меня — враждебные призраки, которые являются опять возмутить едва лишь наладившуюся жизнь. Мое происхождение уже достаточно мешало мне!

— Миша, Миша, не говори так! Бабушка, конечно, взяла бы тебя к себе, как сына, если бы раньше напала на твои следы. Ведь мы же не знали, где тебя искать. И бабушка, и дядя Сережа сделали бы все для тебя, как для меня! Ты говоришь так раздраженно и сухо, точно совсем не рад нашей встрече. Миша, вспомни, как бабушка всегда баловала нас: помнишь, как ждали мы всегда ее приезда в Березовку и какую кучу игрушек она привозила?

— Я всё помню, Ася. Память у меня очень хорошая. Но дело-то всё не в том: баловать меня тогда не стоило бабушке Наташе никаких усилий и уж, разумеется, никакого риску, а мне теперь возобновить отношения с ней — значит, поставить на карту все! Репрессированные родственники и громкие фамилии для меня — петля! Я занимаю хорошее место, весной мне обещана путевка в ВУЗ с сохранением содержания, и вдруг на горизонте появляется бабушка — «ее превосходительство» и опальный дядюшка — белогвардеец в ссылке — тут призадумаешься. Я предпочитаю не изворачиваться. На меня не рассчитывайте. Я сам выбился на дорогу, ни одна живая душа не пришла мне на помощь. Я ни у кого ничего не просил и теперь прошу только одного — оставить меня в покое.

Ася порывисто поднялась.

— Так будь спокоен, Миша, совсем спокоен: ни бабушка, ни дядя Сережа, ни я никогда больше тебя не потревожим. Я могу уйти сейчас же.

— Нет, пожалуйста, не торопись. Ты меня этим обидишь. Раз уж мы встретились, я был бы рад провести с тобой вечер.

— «Мерси», мне некогда. Я должна сегодня же уехать и еще... Если ты не хочешь быть родным бабушке, я не хочу быть родной тебе. Меня и бабушку разделять нельзя.

— Неудобно здесь препираться на глазах у всех. Подожди, я выйду тоже.

Он бросил деньги на стол и вышел вслед за ней.

— Я не хотел с тобой ссориться, Ася. Все, что я сейчас говорил, относится больше к бабушке, чем к тебе. С тобой я с радостью встречался бы иногда на нейтральной почве. Переписываться не предлагаю, так как в своей записке ты ясно показала, что не имеешь понятия о конспирации. Я отлично понимаю, что обманул твои ожидания, но и ты должна понять, что я не мог говорить с тобой иначе.

— Извини, Миша, но я этого не понимаю и никогда не пойму, — ответила она, поспешно застегивая пальто. Губы ее дрожали.

— Ася, ты обиделась, и совершенно напрасно. Мне тоже очень больно. От всех прелестей жизни я стал неврастеником и уже знаю, что не засну всю ночь. Ты многое недооценила: другой на моем месте стал бы вором или гопником, или просто спился.

— Лучше бы ты спился, Миша. Будь счастлив, если можешь. Прощай!

Старая приятельница Натальи Павловны с утра ожидала Асю и давно уже беспокоилась, куда девалась девушка. Только в восемь вечера Ася наконец прибежала. Она показалась старушке очень милой и воспитанной, но, несомненно, чем-то расстроенной. Старушка даже забеспокоилась — не было ли у девушки какой-то тайной встречи и не случилось ли чего-нибудь непоправимого... Не считая себя вправе расспрашивать, она только обласкала ее и посадила обедать. Едва только Ася кончила обед, во время которого успела рассказать все, что ей поручила Наталья Павловна, как раздался звонок и в комнате появилась высокая фигура и прилизанная голова Валентина Платоновича. После обычной процедуры представления он сообщил Асе, что кончил служебные дела и готов уехать десятичасовым поездом; билеты у него в руках.

— Не пожелал поддерживать родственных отношений? — спросил Валентин Платонович, когда они вышли на лестницу, и пристально взглянул на молчаливую девушку.

Она обернулась на него.

— А вы почему так думаете?

— Я с самого начала допускал эту возможность! Уже потому, как он шарахнулся от меня, можно было это предвидеть.

Ася грустно усмехнулась и подумала о Валентине Платоновиче: вот этот ведь не отрекается же от родных и от своего круга, а между тем он сын члена Государственного Совета и его мамаша сама говорила бабушке, что у нее всегда готов чемодан с бельем и сухариками для Валентина Платоновича на случай его ареста.

Молча спускались они вниз. Перед подъездом стояла элегантная машина, Валентин Платонович открыл дверцу.

— Прошу вас, Ксения Всеволодовна. Мы сейчас покатаемся по Москве.

— Как? Ведь поезд в десять часов?

— Поезд не в десять, а в двенадцать тридцать. Я присочинил немного, боясь, чтобы вам не стало скучно со старушкой. Мне хотелось показать вам белокаменную, пользуясь случаем, что знакомый академик предоставил мне на этот вечер машину.

— Да как же так вы распорядились за меня?

— А что ж такого? Ведь смотреть-то Москву интереснее?

— Конечно, конечно, интереснее... но...

— Ксения Всеволодовна, уверяю вас, что запреты относятся только к случайным знакомствам; а впрочем, если вы сомневаетесь, что я — это я, или опасаетесь за «бывшего соболя», я тотчас отпущу машину.

— Да нет, я не сомневаюсь... вовсе нет... — И она замолчала, смущенная.

Покатались по Москве. Было и в самом деле интересно, хотя боль от разговора с Михаилом не проходила. В середине пустого разговора Ася проиграла пари á discrétion[5], предложенное Валентином Платоновичем, и должна была выслушать целую лекцию о том, что оплата за пари — такой же долг чести, как карточный и всякий другой.

— Да вы не беспокойтесь, Ксения Всеволодовна: ничего особого страшного я от вас не потребую. Под машину, например, броситься вас не заставлю,—прибавил он ей в утешение.

— Ну, так говорите уж скорее, что надо, — сказала она с тревогой в голосе.

— А вот сейчас выйдем из машины и скажу.

Они вышли, и когда он отпустил машину, то, наклоняясь к ней, сказал тоном волка из «Красной Шапочки»:

— Вы должны поцеловать меня!

Она вспыхнула и отшатнулась:

— Что вы! Я не хочу! Придумайте что-нибудь другое.

— Нет, Ксения Всеволодовна, отказываться нельзя никак — долг чести! Да и что страшного? Коснетесь прелестными губками моей щеки. У меня нет ни кори, ни скарлатины; никакая зараза не перескочит. Дешево отделаетесь, уверяю вас. А впредь примите мой совет: ни с кем не заключайте пари.

Ася растерянно смотрела на него.

— Господи, какая же неудачная вышла эта поездка в Москву! — со вздохом так и вырвалось у нее.

— И в самом деле неудачная. Разрешите выразить сочувствие. Но так как времени у нас мало, приступимте к делу немедленно. Целоваться на улице несколько неудобно... Зайдемте вот в этот подъезд.

Вошли в подъезд.

— Поднимемся повыше — в верхних этажах спокойнее.

Ася уныло поплелась сзади, опустив голову.

— Ксения Всеволодовна, я вас точно на эшафот веду! Повеселей!

Они остановились друг против друга на площадке. Было уже поздно, и лестница безмолвствовала.

— Ну-с, я жду!

Ася стояла с поникшей головой.

— Смелее, Ксения Всеволодовна! Минута — и все будет кончено, как говорили мне в детстве, когда держали передо мной ложку ужасного лекарства.—Он шагнул к ней, и она заметила в нем внезапную перемену: глаза у него как будто загорелись, дыханье стало прерывисто, исчезло насмешливое выражение. Инстинктивно почувствовав опасность, она попятилась, но он уже обхватил ее шею и приник к ее губам, насильно разжимая их. Когда наконец он выпустил ее и, как ошарашенный, сел на подоконник, она напустилась на него, встряхиваясь, как зверек:

— Гадкий! Как вы смеете? Кто же так целуется? Не умеете, так не предлагайте!

— Не умею? Как так «не умею»? Позвольте, почему же не умею?— искренно изумился бывший паж. — Впрочем, если вы искуснее меня, может быть, дадите мне несколько уроков? Буду очень счастлив. — Он уже овладел собой и вернулся к обычной манере говорить.

— Сколько я целовалась со всеми, и никто не целовал меня так!— кипятилась Ася.

— А что, женщины целуются одним способом, а мужчины другим?

— Я не только с женщинами целовалась, я и с мужчинами!

— Вот оно что! Любопытно узнать — с кем же это?

— Ах, Господи. Каждое утро дядя Сережа целовал меня в лоб, а в Светлое Воскресенье я христосовалась с Шурой и с бабушкиным старым лакеем, который всегда приходит поздравить, и все целовались нормально, а не как вы!

— Прекрасно! Умозаключения ваши преисполнены мудрости, хотя несколько скороспелы. Когда-нибудь, вспоминая эту сцену, вы отдадите мне должное во всех отношениях, а теперь бежимте, иначе опоздаем на поезд и тогда застрянем в Москве надолго.

Испуганная этой перспективой, она припустилась вниз.

Стоя у окна в коридоре вагона и глядя на исчезающие одно за другим предместья, она потихоньку вытирала слезы. Валентин Платонович, вышедший из купе с папиросой, подошел к ней:

— Не плачьте, Ксения Всеволодовна. Не стоит Михаил ваших слез. А ну его! Скрывать от собственной жены свое происхождение! Хотел бы я знать, о чем он говорит сейчас с ней. Ренегат! Право, если бы меня спросили, что я предпочитаю: сесть за первомайский стол с махровым пролетариатом и неизбежной водочкой и икотой или на расстрел со всем бомондом — я выбрал бы второе!

Ася недружелюбно покосилась на него исподлобья, и он поспешил начать длинную тираду, клонившуюся к тому, что рассказывать дома о поцелуе немыслимо: расплата за пари всегда должна оставаться втайне; к тому же он рискует навсегда утратить расположение Натальи Павловны и тогда не сможет бывать в их доме и забавлять ее и Лелю в дни рождений и именин. Требование это возмутило Асю. Она не сразу дала слово и в самом мрачном расположении духа ушла на свою койку.

Мысли ее перебросились на Михаила, затем на бабушку, наконец натолкнулись на детское, но горькое воспоминание. Двадцать второй год, Сергей Петрович и мадам везут ее из Севастополя в Петербург к бабушке. Грязные продувные теплушки кишат вшами и битком набиты людьми в полушубках. Люди эти пьют, гогочут, курят, ругаются и называют друг друга «товарищи». Она еще никогда не видела таких людей с таким бесцеремонным отношением друг к другу. Страшнее всех матрос Ковальчук, который то и дело рассекает топором поленья для «буржуйки» посередине вагона. Угодив щепкой ей в лицо, он закричал на возмутившегося было Сергея Петровича: «Сиди тихо, белогвардеец недострелянный! К стенке приставлю!» Совершенно измученные, оборванные и больные, они все трое дождаться не могли конца этого переезда, длившегося четверо суток, и еле живые дотащились до Натальи Павловны, которая все годы гражданской войны провела в Петербурге одна, со старой преданной служанкой. Бабушка тут же, в передней, сорвала с Аси все тряпки и велела своей Пелагее сжечь их, а Асю на руках перенесли в ванну. Вечером дядя Сережа уже лежал в бреду, а на другой день заболела сыпняком и Ася. Мадам видела, как тяжело ухаживать за двумя беспамятными и, когда через несколько дней пришла

[5] Пари, условия которого устанавливает выигравший; буквально — от se rendre á discrétion: сдаться на милость победителя (*франц.*).

ее очередь свалиться, умоляла отправить ее в больницу. Но бабушка так не сделала: вдвоем с покойной Пелагеюшкой они и днем и ночью переходили от постели к постели, из комнаты в комнату. Зарабатывать было некому, и приходилось продавать вещи. Едва очнувшись, Ася всегда видела бабушку рядом с собой. «Моя бедная крошка! Моя птичка! Ну, открой ротик, глотни воды!» Чуть что — сразу менять белье! Пелагеюшка почти не отходила от корыта. Дядя Сережа все порывался в бреду куда-то бежать: два раза они настигали его у выходной двери и находили силы тащить обратно и укладывать снова в постель. Когда пришли трудные дни, эта grand-dame, как выразился Миша, никакой работой не побрезговала и заразы не боялась. А через год, когда случился удар у Пелагеюшки, бабушка точно так же ухаживала и за ней, и Асю заставляла около нее дежурить. Пелагеюшка целовала бабушке руки и все повторяла:

— Барынюшка моя! Ангелица моя!

Она, должно быть, полагала, что ангел — мужчина, а если женщина, то — ангелица. С такими словами и померла на руках у Натальи Павловны.

«Grand-dame»! «Ее превосходительство!»

Глава четырнадцатая

Мы говорим на разных языках.
Д. Бальмонт

Забавные гримасы иногда строит советская действительность! Это настоящие анекдоты; их рассказывают, смеясь и оглядываясь тут же на дверь — как бы не дошло до ушей соседа, пролетария или гепеушника, который как раз в эту минуту, не дай, Господи, притаился у двери!

Вот, например, маленькая Ася Бологовская побежала в лавку получить макароны, и ей завернули их в лист, который оказался вырванным из трудов Лихачева и как раз на странице, повествующей о предках бояр Бологовских! А вот другой случай: в Академии наук праздновался чей-то юбилей: банкет, речи—и вот с бокалом поднялся высокий седой Перегц. Легкий трепет пробежал по лицам присутствующих, ибо сей академик в своих речах упорно не желал проявить должную лояльность. На этот раз Владимир Николаевич пожелал нырнуть в глубь истории и припомнить времена татарского владычества и поездки князей в Орду. Закончил он свою речь так: «Мы все любим и уважаем вас, дорогой коллега, за то, что вы в Орду на поклон не ездите и ярлыков на княжение не выпрашиваете». После этих вдохновенных слов наступила тишина; все глаза опустились в тарелки, многие из присутствующих съежились, как бы желая исчезнуть вовсе... А бедный юбиляр?

Вот анекдот забавней: председатель верховного Совета Калинин в юности служил казачком в имении сенатора Мордухай-Болтовского; молодые господа, которым он копал червей для удочек, снабжали его книгами и первыми познакомили будущего столпа революции с творениями Маркса и Энгельса. Позднее, когда поместье Мордухай-Болтовских уже было отобрано, бывший казачок заступился за внуков сенатора и дал им возможность поступить в университет. Недавно явились арестовывать одного из Мордухай-Болтовских, и вот, перерывая книги и вещи, агенты ГПУ внезапно меняются в лицах и подталкивают друг друга локтями — на стене перед ними портрет председателя Верховного Совета с надписью: «Дорогому Александру Ивановичу от благодарного Калинина».

А вот анекдот еще острее: молодой человек, студент, сын профессора, увидел на улице уже дряхлую даму в черной соломенной шляпке, съехавшей набок, и с перепачканным сажей лицом. Однако черты этой дамы и жест, которым она придерживала рваную юбку, изобличали даму общества. Несколько мальчиков гнались за ней с хохотом, выкрикивая обидные слова. Молодой человек отогнал мальчишек и предложил старой даме руку, чтобы проводить до дому. «Как редко теперь можно встретить таких воспитанных молодых людей. Вы, должно быть, из хорошей фамилии?» — спросила дама. «Римский-Корсаков», — представился, кланяясь, юноша. Дама оторопела: «Однако... Позвольте... Римская-Корсакова — я». Они стали разбираться, и выяснилось, что старушка — Полина Павловна — приходится по мужу кузиной покойного композитора и grand-tante[6] юноше. Пришли в квартиру Полины Павловны, и глазам студента представился огромный портрет одного из его предков рядом с закоптелой времянкой посередине гостиной. Усадив родственника, старая дама начала сетовать на бедственное положение и при этом обмолвилась, что составляет прошение в Кремль, чтобы ей как бывшей фрейлине ее величества установили наконец заслуженную пенсию... Молодой человек вскочил, как ужаленный: «Склероз мозга, она уже не понимает, что делает, а нас погубит!» Прямо от неожиданно обретенной тетушки бросился он к отцу и прочим родственникам, и скоро на экстренном семейном совете было постановлено выплачивать Полине Павловне по пятьдесят рублей в месяц с каждого гнезда, лишь бы она не напоминала кому не следует о былом величии рода...

Много ходило трагикомических анекдотов по поводу заселения квартир недопустимо разнородным элементом; даже в газете раз промелькнула статья под названием «Професор и... цыгане!».

Наталью Павловну всегда беспокоили именно такие рассказы. Весьма возможная перспектива заселения ее квартиры пролетарским элементом превратилась у нее в последнее время в навязчивую идею и лишала ее сна. Великолепная барская квартира Натальи Павловны с высокими потолками и огромными окнами уже несколько лет назад по приказу РЖУ была разделена на две самостоятельные квартиры: пять комнат вместе с кухней и черным ходом отпали. Теперь оставался один парадный ход, а бывшая классная превратилась в кухню с плитой и краном. Мадам содержала эту кухню в величайшей опрятности и чувствовала себя в ней полной хозяйкой. Но и оставшиеся шесть комнат показались РЖУ слишком обширной площадью для одной семьи, и скоро столовая—одна из самых больших комнат, отделанная дубом, — была отобрана и заселена красным курсантом с женой. Теперь за Бологовскими осталась спальня Натальи Павловны, бывший кабинет ее мужа, который стал комнатой Сергея Петровича, бывшая библиотека и маленький будуар; в библиотеке спала на раскладушке мадам, в будуаре на диване — Ася. Попадать в библиотеку и будуар можно было только через гостиную, откуда еще вела дверь в переднюю. Комната, как проходная, на учет не бралась и не подлежала заселению, но за «излишки» площади приходилось платить вдвойне. Небольшой зимний сад, отделенный от коридора стеклянной стеной, представлял собой теперь беспорядочный склад ломаной мебели и ненужных вещей, но поскольку стены в нем были стеклянные, он не мог быть использован как жилая площадь. Отобрать для заселения могли теперь кабинет или спальню, и через два дня после возвращения Аси из Москвы в квартиру беззастенчиво вторглась комиссия из РЖУ, сопровождаемая управдомом. Не снимая фуражек, с папиросами в зубах они обошли комнаты и выбрали жертвой кабинет, который велено было очистить тотчас же, поскольку новые жильцы явятся уже завтра.

Одна беда за другой — едва занялись разгрузкой кабинета, как в тот же вечер скончалась, наконец, знаменитая борзая. Вызвали Шуру Краснокутского, поплакали и повезли собаку на кладбище. Похорони-

[6] Двоюродная бабушка (*франц.*).

ли Диану на семейном месте под скамейкой. Потом пришлось еще полночи заниматься кабинетом. Лишь под утро все было готово, вычищено и прибрано; только концертный рояль — очередная жертва — стоял неприкаянный посередине комнаты: за ним должны были приехать из комиссионного магазина.

Новые жильцы не замедлили явиться. Во время утреннего завтрака раздался звонок и затем в передней чей-то грубый бас начал что-то доказывать, все повышая и повышая голос. Неожиданно, без предварительного стука, дверь гостиной распахнулась и в комнату ввалилась крупная фигура в засаленной гимнастерке, с замотанным вокруг шеи шарфом и взлохмаченной головой.

— Так что я явился с ордером на вашу комнату. Давайте-ка, господа хорошие, ключи, да пошевеливайтесь! Даром, что ли, мы кровь проливали!

Наталья Павловна вышла из-за стола.

— С кем я говорю? — спросила она с достоинством.

— Отставной матрос, потомственный пролетарий Павел Хрычко! — гаркнул хам. — Коли, если желаете увидеть ордер, пожалуй, поглядите, а чинить себе препятствия я не позволю. — Я — инвалид; у меня в боях с Деникиным кисть изувечена, у меня жена и дети. Я жаловаться буду!

— Никто не собирается чинить вам препятствия, — тихо сказала Наталья Павловна. — если у вас ордер, вы вправе переселяться. Ключа от комнаты у меня нет, так как мы жили своей семьей и комнат не запирали, а ключ от квартиры я вам дам. В свою очередь, прошу вас стучаться, прежде чем входить.

— Ишь ты! Я гляжу, спесь-то с вас еще не сбита. И чего смотрят товарищи комиссары? Ну ничего, мы еще разберемся! Ждите!

Вслед за этим началось «великое переселение народов». Неизвестные женщины в валенках и платках перетаскивали домашний скарб — тюфяки, подушки, табуретки, кружки, корыто, пустые бутылки, портреты большевистских вождей... Матерная ругань, детский плач, харканье и плевки служили музыкальным сопровождением этому действу. Едва только водворили вещи, тотчас сели, по-видимому, за стол, так как послышалось нестройное пение и пьяные мужские и бабьи голоса. Наталья Павловна, мадам и Ася поспешили закрыть задвижки из гостиной в переднюю и из спальни в коридор, изолировавшись в своих комнатах, как в осажденной крепости, а выходя в ванную или в кухню, конвоировали друг друга. Чувство беззащитности, покинутости обрушилось на трех женщин. Неожиданно подоспела помощь в лице Валентина Платоновича и Шуры.

— На экстренном заседании решено было произвести мобилизацию на случай, если потребуется вмешательство вооруженных сил дружественной державы, — отрапортовал Валентин Платонович, целуя руку Натальи Павловны.

Мадам отважилась выйти в кухню поставить чайник, чтобы напоить гостей, но тотчас прибежала обратно с сенсационным известием: из кухни исчез самый большой медный чайник, а из коридора — круглый стол черного мрамора, стоявший обычно на нем телефон был попросту переставлен на пол. Это вызвало всеобщее возмущение, особенно кипятилась мадам. Одна Ася пыталась заступиться и, перебегая от одного к другому, тщетно восклицала:

— Не надо подинимать шума из-за пустяков! Пожалуйста, не надо! Он такой жалкий, с больной рукой! Вспомните Достоевского — может быть, эта семья вроде семьи Снегирева или Мармеладова!

— Но, Ксения Всеволодовна, согласитесь, что с первого же дня брать без спроса чужие вещи — бесцеремонность исключительная, — воскликнул Шура.

— Которой должен быть положен конец, или эти наглецы сядут нам на шею! — твердо закончил Валентин Платонович. — Приглашаю вас, Александр Александрович, атаковать вражеские позиции и отбить трофеи!

Краснокутский выпрямился и, отбивая ногами шаг, начал насвистывать марш Преображенского полка. Способность Шуры все превращать в шутку всегда раздражала Асю.

— Под этот марш ходили наши герои, а вы его профанируете! — воскликнула она с гневом. Через пять минут стол был водворен обратно, а одна из женщин, по-видимому, супруга «потомственного пролетария» явилась объясняться по поводу чайника:

— Так что мы очень просим... Гости, видите ли, у нас — не в чем подать... Уж будьте так любезны, мы новоселье празднуем! А если кого из гостей вырвет в коридоре, так уж вы не беспокойтесь — я завтра весь пол перемою, — лепетала она довольно жалобно.

Это была еще молодая женщина тридцати пяти лет, круглолицая мещаночка, достаточно миловидная. Что-то приниженное и подобострастное было в ее манерах в противоположность наглому тону ее супруга. Предупреждение о рвоте произвело настолько ошеломляющее впечатление, что несколько минут все окаменело молчали. Наталья Павловна опомнилась первая и разрешила оставить чайник на этот вечер, но с тем, чтобы впредь без ее ведома вещей не касались. Женщина проворно убежала.

— Ну и публика! — воскликнул Валентин Платонович.

— Ну и сброд! — подхватил Шура, и опять закипело возмущение.

Дверь в гостиную внезапно распахнулась и на пороге выросла фигура самого «потомственного». Жена, видимо, удерживая его, тянула обратно.

— Вы уж очень зазнались тут! — зарычал он, вырываясь. — Со скандалами являются! Ишь ты! Что же мне с семьей в подвале, что ли, оставаться? За что боролись? Да я, если захочу, упеку вас, офицерье переодетое! Нашли кого пугать! Прошло ваше время!

Наталья Павловна поднялась, дрожа от бессильного негодования, остальные замерли. Один Валентин Планотович не растерялся. Он сделал шаг и толкнул в грудь непрошеного гостя:

— Вон, или сейчас вызову милицию и привлеку к ответственности за хулиганство! Угроз ваших здесь никто не боится. Здесь все советские граждане. Я сам был красным командиром! — и выволок Хрычко в переднюю. Тот с размаху ударил его кулаком в лицо, Валентин Платонович тоже ударил мерзавца, но на этом все и кончилось — жена увела «потомственного».

— Наталья Павловна, не расстраивайтесь, он немного навеселе. В трезвом виде он этого не повторит, — сказал Валентин Платонович, держа платок у глаза. Оказалось, что у него порядком подшиблены висок и глаз. Ему стали делать примочки арникой, и Шура с завистью наблюдал, как хлопотала около него Ася.

— Ксения Всеволодовна, если мне суждено погибнуть во цвете лет, умоляю вас, в память обо мне, не заключать á discrétion с вашим новым соседом, — голосом умирающего проговорил он.

Девушка с досадой отвернулась, вспомнив московский поцелуй.

Пьяные крики начали смолкать; молодые люди собрались уходить, и Шура уже взял под руку раненого героя, когда послышался женский визг. Разведка показала, что сцепились жена красного курсанта с женой Хрычко, которая забралась в бочку с ее квашеной капустой. Валентин Платонович был очень доволен этим известием и разъяснял Наталье Павловне, что междоусобные войны всегда ослабляют противника.

Проводив своих защитников, женщины проверили на всякий случай все задвижки и собрались спать. Перед тем как нырнуть в постель, Ася тихо стукнула в дверь бабушкиной спальни.

— Entrez[7], — отозвалась Наталья Павловна. Она еще сидела в кресле. Свет от лампы, затемненной голубым абажуром, падал на ее печальное лицо.

— Бабушка, бабушка, не грусти! Впереди еще будет и счастье!

— О, нет, дитя. Ничего хорошего я уже не жду. Здесь, в комнате моего сына, валяется пьяный хам, в то время как мой сын пропадает в Сибири в глухом поселке, а мой внук не хочет меня знать! Трудно примириться с этим. И мне страшно, Ася, за тебя, за твою судьбу.

Ася прижалась щекой к руке Натальи Павловны.

— Я люблю твои руки, бабушка. Ни у кого нет таких изящных длинных пальцев! Не беспокойся за меня: я очень хорошо знаю, что буду счастлива. Когда я просыпаюсь по утрам и лежу совсем тихо, на меня часто идут длинные золотые лучи; я боюсь тогда даже пошевелиться, чтобы не порвать их, как паутину, и это — как обещание счастья! Такие вещи лучше не рассказывать, и я никогда не рассказала бы, но мне хотелось утешить тебя, бабушка!

С наступлением утра новые жильцы показались уже не столь устрашающими. Гости их удалились; великолепный глава семейства, которого Валентин Платонович тоже наградил синяком, отправился на работу. Осталась только его жена с двумя мальчиками четырнадцати и четырех лет. Она суетилась, мыла пол, визгливо кричала на детей и на кошку, но в общем не выходила из рамок приличия. Чайник был возвращен вычищенным и блестящим.

Столкновение за весь день было только одно — по поводу грязного белья, намоченного в ванне. Соединенными усилиями мадам и жены курсанта принудили новую жилицу вынуть белье и вымыть ванну. Вечером, когда мадам заглянула в кухню, обе женщины мирно стирали белье и вели разговоры, весьма притом поучительные. Они делились впечатлениями по поводу абортов — одна имела их пять, другая — три. Мадам постояла, послушала и сказала себе, что Асю и Лелю теперь нельзя будет вовсе выпускать в кухню.

Глава пятнадцатая

Олега выпустили из больницы только в начале марта. Воспаление легких прошло скоро, но плеврит затянулся. За время болезни, впервые после лагеря, Олег получил возможность отдохнуть и отоспаться. Кроме того в больнице обратили внимание на общее состояние организма—истощение и малокровие—и подлечили впрыскиванием мышьяка с железом и глюкозой. Кормили неплохо. Заключение врачей о плеврите было неутешительно: Олегу объяснили, что застрявший в плевре осколок, неудаленный при прежних операциях, дает и будет давать постоянное воспаление плевры. Вячеслав ошибался, когда с таким азартом доказывал, что заболевший советский служащий обеспечивается зарплатой; выяснилось, что правило это относится лишь к тем, кто проработал более или менее значительный срок в одном учреждении, а Олег, проработавший всего месяц и притом внештатным работником, не имел права на получение зарплаты, и бюллетень имел значение только как оправдание за пропущенные дни.

В городе свирепствовал грипп и доступ посетителям в больницу был воспрещен. О Марине Олег не знал ничего. Думая о ней, он испытывал стыд за то, что случилось между ними в последний день. Он понимал, что не влюблен, и не пытался себя обманывать. Вместе с тем, он говорил себе, что она — порядочная женщина, с которой нельзя было после происшедшего обратить отношения в ничто. Если связь между ними упрочится, он должен будет уйти из порта, ведь не может же он, обманывая ее мужа, встречаться с ним на службе.

[7] Войдите (*франц.*).

Постоянно возникал в его мыслях другой образ — белизна лба, густые длинные ресницы, невозмутимая чистота взгляда.

В день, когда его выпустили из больницы, была оттепель; он вышел все в той же шинели. Без калош он тотчас промочил ноги. Идти пришлось пешком, так как не было даже тридцати копеек на трамвай. Отвыкнув ходить, он очень устал и еле добрался до дому. Подымаясь по лестнице, мечтал, чтобы ему отворила дверь Аннушка. Он знал, что она его жалеет, и надеялся, что она его тотчас покормит и посушит. Но дворничихи не оказалось дома — отворила ему Катюша. Ей, по-видимому, уже было известно, что Марина удостоилась его выбора. Сердито фыркнув, она повернулась спиной и вышла. Нина была в Капелле, Мика — в школе. В комнате Мики, оказавшейся не закрытой, на столе лежала записка: «Олег, согрейте себе суп, вы найдете его в кухне за окном в маленькой кастрюле, хлеб на столе. Я приду только вечером. Рада буду вас видеть. Нина».

Он нашел суп, но устал настолько, что не стал разогревать, а поставил холодным на стол. Вся его тоска и одиночество как будто подстерегали его в этой комнате и с прежней силой тотчас обрушились. «Лучше было мне умереть в этой больнице. Кому я нужен? Кто мне рад?» — думал он. Правда, было одно существо, которое радостно вертелось около его ног, — домашний щенок, дворняжка, с висячими ушами и безобразным хвостом. Он жил у Аннушки. Олег любил собак, привыкнув к ним с детства, и собаки это чувствовали. Со свойственной собакам бескорыстностью, щенок бросился к Олегу, как будто его возвращение сулило неистощимые собачьи радости. Олег погладил щенка и слегка отстранил, но тот снова стал приставать к нему. Олег сел, и щенок положил ему на колени передние лапы. Встретив собачий взгляд, исполненный немого обожания, Олег снова потрепал его по голове, тронутый выражением любви.

— Ах ты, глупый пес! Ну чему ты так радуешься? Скажу я тебе, поправился я совсем некстати. Ну, да нечего делать! Давай вместе обедать, вот бери кусочек хлеба. Не хочешь? Э, да ты сытее меня! Впрочем, ты на харчах у Анны Тимофеевны, а уж она-то не даст голодать. Ну, тогда не мешай мне самому есть, слышишь?

Щенок смотрел на него все с тем же обожанием.

— Чего ж ты, дурачок? — И вдруг невеселые мысли с такой остротой стеснили ему грудь, что он уронил на стол голову и несколько минут не подымал ее. Щенок, встревоженный этой позой отчаяния, напрасно теребил его лапами.

Чьи-то поспешные шаги раздались около двери. Олег быстро выпрямился. В комнату стремительно вбежала Марина и бросилась ему на шею.

— Вернулся? Здоров? Ну, слава Богу! Я так расстроилась, когда узнала! Я так скучала! Просто не могла дождаться!

Что-то теплое, искреннее, идущее от души услышалось ему в ее ласке. Целуя ее руки, а потом губы, благодарный за ее теплый порыв и вновь охваченный страстью, Олег забыл все свои колебания и соображения. В этот раз он не мог бы сказать, что инициатива принадлежала ей! Когда, поправив себе волосы, вся розовая и счастливая, она села и, прижавшись к нему, сказала: «Как я счастлива!», он почувствовал, что тоже счастлив каким-то внезапным и недолговечным счастьем.

— В ближайшие дни мы не сможем видеться, и за это время надо будет что-то придумать — где мы будем встречаться потом, — сказала Марина.

— Почему не придется видеться? Разве ты не придешь в один из вечеров к Нине? — спросил он. — Если не наедине, то при Нине, во всяком случае, увидимся.

— Нет, видишь ли... В ближайшие дни — нет. Меня не будет дома.
— Ты уезжаешь куда-нибудь?
— Я не понимаю, в чем дело?
— Нет.
— Мне придется лечь в больницу на несколько дней.
— Ты больна?
— Да нет же, не больна. Ах, глупый! Неужели ты не понимаешь. Ты был слишком неосторожен прошлый раз, и вот теперь... Ну, пойми же!..
Он схватил ее за руку:
— Ребенок?
— Да! — и она припала головой к его плечу.
— И ты уверена, что мой?
— Конечно, уверена. Я мужу не позволяю... так. Я его держу в ежовых рукавицах. Это тебе только... Одним словом — я знаю! Да пусти же мои руки, ты мне пальцы сломаешь!
— Ты не пойдешь в больницу, я не позволяю! Нет, нет — не позволяю.
— Как не позволяешь? Чего же ты хочешь? Ты в уме?
— Марина, как можешь ты даже думать об этом?! Теперь же поговори с мужем, завтра же! А я подам заявление, что ухожу из порта. Большевики во всем невыносимо осложнили жизнь, но уж по части расторжения браков дело у них налажено блестяще — довольно желания одной стороны, и в несколько дней все будет кончено... Получишь развод, и мы зарегистрируемся.
Она смотрела на него с удивлением.
— Знаешь, ты безумный какой-то! Тебе в твоем положении только жены и ребенка не хватало!
— Марина, ты меня любишь?
— Обожаю! — она потрепала его волосы.
— Почему же ты так отвечаешь?
— Милый, ну взгляни же на вещи трезво. Если я разойдусь с мужем, а ты уйдешь из порта, у нас не будет ни работы, ни зарплаты, ни жилплощади, ни вещей... Ничего. Как же мы будем жить? Это все не так легко! Верить, что с милым рай в шалаше, может только тот, кто не испытал нужды, а я уже достаточно намучилась, когда после революции осталась вдвоем с мамой. Знаешь, я служила регистраторшей в какой-то гнусной поликлинике; на меня кричал каждый, кому было не лень. Получала я только пятьдесят рублей, домой возвращалась только в шесть часов, ела воблу и картошку, стирала сама большую стирку, сама мыла полы, ходила вся драная... Только два года, как я сыта и одета — с тех пор, как Моисей женился на мне. И опять возвращаться к этому же!
— Что ж, я больше не смею настаивать, — мрачно сказал Олег. — Бедная Россия! Если ее женщины так измельчали, тогда в самом деле конец нашей Родине! Значит, мы обречены на вымирание. А хам будет плодиться.
— Какой ты неблагодарный! Я так тебя желала. А ты меня же упрекаешь!
— А я в ответ на все это делаю тебе предложение. Ты этим недовольна? Так чего же ты хотела от меня?
— Я не «недовольна», я очень тронута, но я не могу. Пойми, не могу пойти на такой риск.
Он встал с колен.
— Как хочешь. Я сказал все, что может желать услышать женщина в такой момент. Больше мне сказать нечего. Но знай, если ты сделаешь аборт, я разорву с тобой.
— Но почему же?
— Ты не хочешь от меня ребенка, ты мне отказываешь в моей руке, ну а я не хочу этих встреч. Мне твой отказ оскорбителен. Вот и всё,

— С операцией все уже решено: я записана на койку. Завтра в двенадцать часов Моисей Гершелевич повезет меня.
— Моисей Гершелевич? А как же он принял это?
— Ну... Я сумела представить дело... Втерла ему очки... — и она повертела рукой перед его глазами.
Его передернуло от этой фразы.
Из коридора послышался звонкий голос Мики, вернувшегося из школы и препирающегося с дворничихой — она кричала, что он не снял галоши и наследил по всему коридору. Марина вскочила и пошла навстречу мальчику. Мика весело поздоровался с обоими.
— Поцелуй от меня Нину, Мика, и скажи, что мне очень хотелось с ней поговорить. До свидания, Олег Андреевич.
Олег подал ей шубку и надел ботики. В кухне, бросая любопытные взгляды, вертелась Катюша. Олег вышел за Мариной на лестницу.
— И все-таки, Марина, последний раз прошу тебя — одумайся! Если ты выйдешь за меня и оставишь этого ребенка, я всю жизнь посвящу тебе.
Она стояла, опустив голову и разглядывая хвостики своей муфты. Он взял ее руку:
— Согласна?
Не поднимая глаз, она отрицательно покачала головой. Он выпустил ее руку и пошел наверх, она — вниз. «Никогда он не разорвет со мной, — думала она, спускаясь, — достаточно мне будет на одну минуту остаться с ним наедине и броситься ему на шею, и он снова мой. Я его уже знаю». И все-таки слезы наворачивались на глаза.

Вечером Нина сказала Олегу:
— Вы можете поздравить меня — я официальная невеста Сергея Петровича. У меня установились самые лучшие отношения с его матерью, и при первой возможности мы обвенчаемся.
Он поцеловал сначала одну ее руку, потом другую:
— Очень, очень рад за вас. Значит, не перевелись еще на Руси женщины, готовые идти за человеком даже в Сибирь. Я уверен, что у вас будут счастливые дни!
— Я не ожидала, что вы будете поздравлять так горячо и искренне. Я думала... память брата... — растрогалась Нина.
— О нет! Если бы вы выбрали человека из враждебного лагеря — преуспевающего большевика... Но для белогвардейца, сосланного... Я рад. Я горжусь вами.
Зазвонил телефон. Марина просила Нину немедленно приехать к ней и выслала машину. Нина поехала. Олег взволновался. «Может быть, Марина передумала и хочет передать это мне через Нину?» — подумал он. Нина не возвращалась долго, но он не ложился, дожидаясь. Услышав, наконец, ее шаги, он вышел в коридор снять с нее пальто, вопросительно на нее взглянул: «Знает ли она, что я честно предлагал брак?» Она встретила его взгляд и, по-видимому, угадав его мысль, пожала его руку:
— Вас не в чем упрекнуть. Марина сама не знает, чего хочет.
На следующий день Олег должен был идти в поликлинику, выписываться на работу, но, против ожидания, его задержали еще на три дня, которые он провел то за книгой, то за шахматами, то за колкой дров, и, наконец, вызвался исправить электропроводку в комнате Нины, не зная, чем заглушить тоску. На третий день он подошел открыть дверь на звонок и увидел перед собой Моисея Гершелевича в прекрасной шубе с каракулевым воротником. «Объяснение!» — мелькнуло в его голове, и сразу составилась фраза: «Готов дать вам удовлетворение, в какой бы форме вы ни пожелали!» Но еврей протянул ему руку и, улыбаясь золотыми зубами, сказал:
— А, уже дома! Приятная неожиданность! Ну, как здоровье? Вас

заменяет один юноша, но с работой плохо справляется. Ждем, очень ждем. Когда думаете выйти?

— Завтра иду в поликлинику. Буду просить, чтобы выписали на послезавтра.

— Нет, нет. Торопить врачей никогда не следует — здоровье прежде всего. А к первому мая я выпишу вам премиальные, чтобы вы могли поправить свои дела.

— Благодарю, не надо. Я еще так недавно работаю... На вас нарекания будут.

— Устроим все, устроим. Как-никак, имею некоторую власть. А скажите, Нина Александровна дома? Меня командируют в Москву, а у меня жена в больнице — хочу просить, чтобы Нина Александровна ее навестила.

Олег повел его к Нине.

— Ну, что Марина? — было одним словом из ее первых восклицаний.

Олег решил, что при таком разговоре он может показаться лишним, и пошел из комнаты, но у двери намеренно задержался, закуривая для вида. Муж отвечал:

— Не совсем благополучно. Выскабливание делал сам профессор, а, между тем, она температурит. Хотел просить вас навестить ее завтра. Там впускной день. Передайте ей, пожалуйста, от меня эти груши и виноград.

Олег вышел.

Он стоял на табурете в коридоре, натягивая провода, когда Нина и Моисей Гершелевич вышли из комнаты и остановились у вешалки. Еврей говорил:

— Как я умолял ее не делать этого! Согласитесь, что уж мы-то при нашем материальном положении можем позволить себе роскошь иметь детей! Я специально ездил к ювелиру, купил ей браслет за пятьсот рублей, обещал после родов серьги — ничего нельзя было с ней поделать. А теперь вот целый день плачет и температуру себе нагоняет.

При этом он весь так и разбухал от гордости — и за материальное преуспевание, и за мнимое отцовство. Ему явно невдомек было, что бестактно рассказывать такие интимные вещи, не стесняясь присутствия постороннего человека. И как это мелко — упоминать о материальном процветании и приводить цифру за браслет. А что за самоуверенность в том жесте, каким он перебросил одну из груш Мике. Олег брезгливо поморщился, и когда Моисей Гершелевич наконец ушел, он заметил с горькой усмешкой:

— Процветающий еврей среди разоренных, униженных русских дворян! Знамение времени!

Глава шестнадцатая

Елочка стала частой гостьей у Бологовских — врач прописал Наталье Павловне впрыскивания для укрепления сердечной мышцы, и та, питая ужас перед районной амбулаторией, решила обратиться к Елочке, которая охотно согласилась, заранее предупредив, чтоб об оплате не было и речи. Каждый раз, когда она приходила, Ася или француженка выкатывали маленький чайный столик, как если бы дело происходило в великосветской гостиной девятнадцатого века. Архаический столик с севрским сервизом на фоне давно не ремонтированной, запущенной комнаты, и усталая француженка, раскладывающая жалкую повидлу на очаровательные блюдца, а рядом — Ася, натирающая паркет или стирающая пыль с бесчисленных бабушкиных овальных миниатюр...

— Eh bien, Hélène? [8] — спрашивала Наталья Павловна у Лели,

[8] Ну что, Элен? (*франц.*).

когда та в очередной раз возвращалась с биржи. Ответ всегда был один и тот же — товарищ Васильев, видимо, находил для себя неизъяснимое наслаждение в том, чтобы всеми способами не давать дорогу «непролетарскому элементу». Елочка взялась хлопотать, чтобы ее дядя, старший хирург, пользующийся большим весом в больнице, попросил своего приятеля рентгенолога взять Лелю к себе в ученицы, а как только она овладеет специальностью, можно будет ее устроить на работу, минуя биржу с плотоядным товарищем Васильевым — специальность дефицитная и рентгенкабинеты переманивают друг у друга рентгенотехников. Все пришли в восхищение от этой выдумки.

Елочка была счастлива хоть как-то помогать этой семье. Она все больше и больше привязывалась к Бологовским, хотя при этом считала их семью не из передовых, не из тех либеральных помещичьих семей, где девушки шли на Бестужевские и медицинские курсы и потом работали в земских больницах и школах, как покойная Елочкина мама. Конечно, не погибни Россия, Ася и Леля блистали бы в светских салонах и крутили романы с офицерами. Это вызывало в Елочке только презрение. И все же она четко сознавала, что готова на любую жертву ради Аси и Лели, Натальи Павловны и мадам. Елочке, с ее замкнутостью и чувством собственного достоинства, противно было просить и добиваться чего-то. Для себя. Но не для других, особенно для тех, кого она любила.

Один случай запал ей в сердце. Женщина привезла на операцию своего мальчика лет двенадцати — русоволосого, загорелого, с темными печальными глазами. Это была крестьянка, в домотканой холстине, цветном платке и зипуне, с котомкой за плечами. Глаза ее были такие же темные и печальные, как у сына. Скорбь и страшная тревога смотрели из них, когда она обнимала мальчика, который в свою очередь обхватил руками мать, как будто ища у нее защиты. Когда Елочка пробегала обратно, мальчика уже увели, а мать сидела на скамейке и слезы текли ручьями по загорелым худым щекам красивого лица... Толстая равнодушная санитарка сидела тут же и урезонивала ее:

— Ну чего ты? Чего, глупая? Медицина нонече сильная, лечат умеючи. Сперва, вишь, осмотрит ординатор, а завтра, поутру, потом прохвессору покажут — не сразу на стол. Нонече всё для народа! Уход за им будет, какой тебе и не снится: с кровати встать ни в жисть не позволят! Всё подносить станут; потому — медицина! А ты в слезы!

Елочка приостановилась, и санитарка увидела ее.

— Вот и сестрица тебе то же скажет. Ейный папаша первеющий какой ни на есть хирург. Вот проси, чтобы он твоего сына резал. Дюже в этом деле горазд.

Женщина обратила испуганный, умоляющий взгляд на Елочку и бухнулась ей в ноги... Елочка вела себя слишком сухо, она заторопилась сказать:

— Хирург вовсе не мой отец, а только дядя. Трудные случаи он и всегда оперирует сам. Встаньте, это не принято.

Правда, она пожала при этом ее руку, но сей жест, не принятый в простонародье, вряд ли сказал что-нибудь сердцу крестьянки! И вот теперь Елочка мучилась, думая о себе, что нет в ней сердечности и простоты.

Помнился ей постоянно и еще один случай: в операционную принесли на носилках залитого кровью человека. Это оказался испытатель гранат — ореол храбрости, который не мог не сопутствовать такому человеку, и знакомый вид военной травмы расшевелил немного сердце Елочки, но только на несколько минут. Когда она взяла в руки историю болезни и увидела в соответствующей графе — партиец с 18 года, — все в ней тотчас же снова омертвело. Тогда она записала у себя в дневнике: «Конечно, я всегда готова исполнить свой долг по отношению к каждому, но души моей пусть с меня не спрашивают. Я вольна

вложить ее куда сама захочу. Если Господь Бог вернется в Россию, то воскреснет сестра милосердия, а сейчас я — медсестра, и пусть этого довольно будет тем, кто так исказил, заштемпелевал и прошнуровал нашу жизнь!»

У входа в вестибюль клиники ее всегда встречала величественная фигура швейцара. Швейцар этот — бывший кучер Александра III, богатырски сложенный старик, весь был преисполнен чувства собственного достоинства. За свою жизнь он столько перевидел высоких особ, так наметал глаз, что лучше любого агента ОГПУ распознавал «господ», в каком бы виде эти господа ни появлялись перед ним. Он считал для себя унизительным приветствовать партийцев и, напротив, радостною обязанностью — поклониться «бывшему». Из всего персонала больницы поклоном своим он удостаивал лишь несколько лиц по своему выбору, главным образом лишь старых профессоров. Дядя Елочки, пожилой хирург, сохранивший манеры и выправку царского офицера, также входил в их число. Молодых врачей-ординаторов нового времени швейцар глубоко презирал и упорно титуловал «фельдшерами», на которых некоторые и в самом деле походили; на врачей-женщин он откровенно фыркал. Елочке имел обыкновение кланяться, перенося на нее частицу уважения, выпавшего на долю ее дяди, а также зная, что она из славной стаи прежних «милосердных».

Швейцар стоял обычно не у наружной двери, а несколько поодаль, у внутренней лестницы близ лифта, бездействующего со дня великой революции, как и все лифты в городе. Тут же помещалась вешалка для нескольких привилегированных лиц, снимать пальто с которых швейцар почитал высокой обязанностью.

— Пожалуйте, Елизавета Георгиевна! — сказал он теперь. — Дяденька ваш уже ушли. Наказали передать вам, чтоб вы к ним обедать завтра пожаловали. — Снимая с Елочки пальто, прибавил: — Вечор из Москвы зять воротился; рассказывал, что Страстной монастырь и Красные ворота вовсе снесли, Сухареву башню и Иверскую Матушку тоже срыли, а в Кремль не токмо что не пущают, а у ворот караулы стоят и по Красной площади милиция шмыгает — спокойно не пройдешь. Зять приостановился было, чтоб взглянуть на Спасскую башню, ан милиционер к нему: «Гражданин, здесь останавливаться воспрещается!» Трусы они, Елизавета Георгиевна, как я погляжу. Покойный император — Александр Александрович — всегда-то повсюду езживали: и в церковь, и в Думу, и на гвардейские пирушки. Я на козлах, да два казака позади — только и есть! А ведь знали же они, как убили их папеньку. И сами Александр Николаевич после десяти покушений всё один езживали, а как в одинадцатый раз бомбу в Их Величество бросили — и только были с ними адъютант и два казака. Ни в жисть не прятались, русские были люди — не то что нынешняя мразь: жиды да прочая нехристь!

Елочка оглянулась и прижала палец к губам, но швейцар не пожелал снизить голоса:

— А я не боюсь! Меня и то моя старуха донимает: «Я, — говорит, — домой спешу и слышу через открытую фортку, как ты в комнате советскую власть ругаешь. Голос больно у тебя зычный, — говорит, — и уж будет нам от твоего голоса беда неминучая». А я так полагаю, что это все в руках Господних.

— Вы молодец, Арефий Михайлович, побольше бы таких, как вы, — сказала Елочка.

Ходатайство ее увенчалось успехом. Хирург не откладывая обещал поговорить с рентгенологом. Елочка тотчас побежала сообщить радостную весть, но в нескольких шагах от подъезда Бологовских ей мелькнуло свежее личико и кокетливая шляпка.

— Леля!

Девушка обернулась. С ней был долговязый молодой человек, который тотчас потянул руку к фуражке. Леля представила его, говоря:

— Валентин Платонович Фроловский, мы знакомы еще с детства.

Она выслушала и поблагодарила Елочку очень мило, но сдержанно, если не холодно.

— Довольны вы, милая маркиза с мушкой на щечке? — спросил молодой человек. — Милое дитя, могу вас уверить, что на советской службе не слишком весело.

— Поживем — увидим! Вон там идет полковник Дидерихс. — И, кивнув Елочке, Леля ускользнула в сторону, как изящное видение.

Молодой человек сказал, скандируя:

— Гвардейский полковник продает газеты на улицах. — Красивым жестом поднес к кепке руку и поспешил за Лелей приветствовать полковника.

Елочка взглянула ему вслед и увидела высокого старика. У него была странно длинная шея, большие скорбные глаза под мохнатыми бровями напоминали чем-то глаза затравленного зверя. Сумка почтальона, надетая через плечо, не могла скрыть военную выправку и остатки гвардейского лоска.

Направляясь к Бологовским, Елочка рассчитывала на задушевную теплую минуту и веселый щебет за чайным столом и, брошенная теперь посредине тротуара, почувствовала себя разочарованной и уязвленной.

Идти к Асе теперь было не для чего, и она направилась к Анастасии Алексеевне, чтобы передать ей приготовленные для штопки носки. Анастасия Алексеевна по своей привычке тотчас начала охать и жаловаться, при этом сообщила, что недавно проработала несколько дней сестрой-хозяйкой в больнице «Жертв революции».

— Понадеялась я, что поработаю там, но сотрудница, которую я замещала, почти тотчас поправилась. А мне там обед полагался, и работа нетрудная — сами знаете — порции больным раскладывать. — Две слезы выкатились из красных глаз.

Елочка озабоченно смотрела на нее, и чувство неприязни опять перемешивалось в ней с чувством жалости.

— А как здоровье? — спросила она.

Анастасия Алексеевна поднесла руку к голове.

— Нехорошо... Все что-то мерещится. Темноты боюсь, одна в квартире оставаться боюсь. На днях соседи поразошлись, и от единой мысли, что я в квартире одна, такой на меня страх нашел, что я выскочила пулей на лестницу, а дверь, не подумавши, захлопнула. Ключа при себе у меня не было и два часа это я на лестнице в одной блузке продрожала, пока соседи не подошли. Странные рожи какие-то лезут: раздуваются, ползут из углов. Только и мысли, что, как сейчас, там на сундуке надуется страшный лиловый старик, повернусь, увижу — так уж лучше не поворачиваться! А то как бы в кухне под столом опять та рожа, что вроде большой лягухи, не квакала свое: плюнь на икону, плюнь!.. Ничего этого другой раз и нет. Повернусь — и сундук пустой, и под столом никого... А вот навязывается в мысли. Я ведь сызмала с темнотой путаюсь. Впервые это ко мне пришло, когда я еще гимназисточкой была: билась, помню, над арифметической задачей. Помните, какие трудные бывают, потруднее алгебры... Вдруг откуда ни возьмись пришло мне в голову попросить, шутки ради, помочь мне нечистую силу: «Помогите, — говорю, — уж как-нибудь рассчитаюсь!» Только сказала, и так это быстро уяснилась мне вся задача — ровно занавесочку в мозгу отдернули. А ночью вижу около своей кровати огромную рожу и пасть раскрыта: «Дай мне есть», — говорит. Жили мы тогда на самой окраине Пензы, мать сама пекла хлебы. В этот день как раз испечены были, лежали накрытые полотенцем. Я схватила и бросила ему. Утром проснулась и думаю: «Экий сон противный привиделся!» Вдруг слышу, мать кричит: «Дети, кто хлебы трогал? Не могли ножом отрезать? Обезобразили буханку, и полотенце на полу!» Она ругается, а я ни жива, ни мертва! Весной причащаться пошла, вдруг кто-то мне ровно бы

в самое ухо: «Выплюни, а ну-ка выплюни!» А я и выплюнула недолго думавши. Ага, вздрогнули небось?!

— Да, вздрогнула, ведь это кощунство — плюнуть на портрет человека и то непростительно, а Дары — святыня! Зачем же вы?

— А сама не знаю, зачем. Так просто. Тогда все нипочем было — бегаю да хохочу, а вот теперь расхлебываю. Кабы муж другим человеком был, думается мне, ничего бы теперь со мною не было — Крымская история очень уж нервы поиздергала. Помните, говорили мы с вами про Дашкова, поручика? Я фамилию его тогда вспомнить не могла?

Елочка мгиовенно выпрямилась, как струна.

— Помню. И что же? Его видели?

— Представьте! Как раз ведь толковала, что его никогда не вижу, да тут-то и увидела!

— Как это было?—Брови Елочки сдвинулись, и голос прозвучал строго.

— Разливала я больным чай, а санитарки разносили; после ужина это было; взглянула этак вперед, да за дальним столом вдруг вижу — сидит среди других, в таком же сером халате, что остальные; ну как живой, совсем как живой.

— Однако какой же? Одно из ранений у него было в висок, голова была перевязана. Таким и видели?

— Нет, перевязан не был, а только — он. Помню, след от раны мне в глаза бросился — шел от брови к виску. Кабы не знала я, что убит, подумала бы, что живой. Малость только постарше стал.

— Странно! — прошептала Елочка. — Стал старше, зарубцевалась рана... На галлюцинацию не похоже. Неужели же не подошли, не заговорили? Не справились в палатном журнале? Анастасия Алексеевна, отвечайте же мне!

— Испугалась я, Елизавета Георгиевна. Помнится, чашку выронила и расколола. Засуетились санитарки; дежурный врач подошла и спросила, что со мной, а когда я снова в ту сторону взглянула — никого уже за столом не было.

— Ну, а на другой день?

— А на другой день я уже не работала — это было в канун расчета.

Мысль Елочки работала лихорадочно быстро: если бы она видела его в один из многих дней, это была бы явная галлюцинация, но его появление в последний день могло произойти оттого, что ему с этого только дня разрешено было выйти в столовую. Неужели в самом деле он? Надо сбегать в больницу «Жертв революции» и справиться, не было ли там на излечении Дашкова. И как будто мимоходом она спросила:

— А вы там на каком отделении работали?

— Подождите... Вот и не припомнить... Плоха я стала... На терапевтическом.

— Этот случай показывает только одно — подобные разговоры вам безусловно вредны, — сказала авторитетно Елочка.

Раздался стук в дверь, и Анастасия Алексеевна подошла отворить. Елочка услышала ее восклицание: «Ты? Вот не ждала!» Она обернулась на дверь и увидела человека, которого там, давно, в Феодосии, ей приходилось видеть ежедневно в часы работы. Она, как ужаленная, вскочила. Он успел измениться с тех пор: она привыкла видеть его в офицерской форме, а теперь он был в сером помятом пиджаке; не было прежней выправки, слегка облысели виски и какое-то выражение гнусности показалось ей в слегка обрюзгшем лице... Он выглядел теперь почти мещанином.

— Кого я вижу? Сестра Муромцева! — Что-то прежнее, офицерское, мелькнуло за обликом измочаленного советского служащего: по-офицерски он выпрямился, подходя к ней, щелкнул каблуками и вытянул по швам руки.

Елочка схватила пальто, брошенное на стуле, и поспешно пошла к двери с гордо поднятой головой... Чтобы она пожала руку предателю Злобину, который выдавал палачам «чрезвычайки» последних русских героев? Никогда! Этой чести он не удостоится!..

На следующий день она забежала со службы домой, намереваясь тотчас отправиться в справочное больницы, и увидела Анастасию Алексеевну, ожидавшую ее в передней.

— А я к вам... Вы ушли, не простились. Не рассердились ли вы? — как-то униженно начала она.

Они прошли в Елочкину комнату.

— Вы вольны принимать у себя кого вы желаете. Странно было бы, если бы я сердилась. Но, я полагаю, вы понимаете, что мне неприятен этот человек.

— Это я поняла, но и вы поймите, что я не могу не принимать его, если он время от времени все-таки приносит мне деньги.

— Совершенно верно, если вы берете от него деньги, вы не можете не принимать его. Но я лично нахожу, что нельзя брать деньги от человека, который помогал большевикам убивать.

— То, Елизавета Георгиевна, вы! Вы, известно уже, — первый сорт, отборные чувства! А я о себе не обольщаюсь, — второсортная я. Это как в магазине чая пакеты: этот — цейлонский, этот — экстра, а этот — дешевенький. Я и круга не того, что вы: мои родители простые лавочники были. Им невесть какой честью показалось, когда я за врача замуж выскочила. Кабы он кадровый военный был, а не по призыву, мне бы и не видать его, как своих ушей. Зачем я от него деньги беру? Да ведь я, как-никак, с ним прожила двадцать лет, я его от тифа спасла: сколько около него бодрствовала, насильно на постели удерживала... А теперь болею я. Мое состояние никуда не годится, он сам говорит. Почему же не принять помощь? Вот этот... как, бишь, его? Дашков, поручик — муж осведомлялся — такого на излечении не было; значит, опять галлюцинация.

— Что? Не было? Не было! — голос Елочки оборвался. — А вы зачем рассказывали вашему мужу?

— Почему же не рассказать? Рассказала.

— Так, очень хорошо! Вы рассказали, а он отправился наводить справки. — Елочка грозно засверкала глазами.

— Ох, уж вижу я, что вы, Елизавета Георгиевна, опять сердитесь, а вот за что? Ну, пошел, спросил; там просмотрели по книгам за текущий месяц и ответили, что такого не было. Только и всего!

— А зачем он осведомлялся? Ведь не зря же пожилой, занятой человек таскался за сведениями? Безусловно, он имел цель: он хотел выследить офицера, который однажды каким-то чудом ускользнул из его рук. Допустим, ему сообщили бы, что такой человек был, и при нашей системе протоколирования выложили бы тотчас и адрес, и место работы. Что ж было бы дальше—как вы полагаете?

— Да ведь его же не оказалось! Стоит ли толковать? — хныкая, твердила Анастасия Алексеевна.

— Да, его не оказалось, зато гнусность вашего супруга оказалась налицо! Готовность свою к новому предательству он доказал со всей очевидностью, — яростно обрушивалась Елочка. — И вот что я вам скажу, Анастасия Алексеевна: наши с вами отношения кончены. Я больше не хочу ни видеть этого человека, ни слышать о нем, а вы, по-видимому, не так уж редко видитесь. Вы способны передавать ему и наши с вами разговоры... Вы удивительно беспринципны! Нам лучше прекратить знакомство.

— Ох, Елизавета Георгиевна! Легко вам говорить о принципах, вы молоды, здоровы, квалифицированны, твердо стоите на ногах... А вот были бы в моем положении, не то б запели!

— Не беспокойтесь, не запела бы!

— Не зарекайтесь! Ну что ж, я пойду! Оттолкнуть человека очень

просто — чего проще-то! Обещали помочь: собирали работенку, жалели, угощали, а чуть раздосадовались — и гоните! И никакой жалости. А еще мужа моего за жестокость осуждаете, он подобрей вас, как посмотришь. Это ведь уже не в первый раз, что мне от дома отказывают: все знакомые открестились. — И она всхлипнула.

Елочка боролась с собой.

— Извините мне мою горячность, — сказала она, наконец, протягивая руку. — Останемся друзьями. Я приготовлю вам работу. Только на квартиру к вам я больше не пойду. Приходите вы сами. Я буду вас ждать через неделю в пятницу. Согласны?

— Ну, спасибо вам, миленькая. Не сердитесь, моя красавица. Ведь я одинокая. — И она опять всхлипнула.

— Вы только должны обещать мне не говорить мужу, что мы с вами видимся, — продолжала Елочка.

— Вот вам крест. Хотите икону поцелую?

— Нет, не надо. И запомните: поручик убит, забудьте все это.

Когда Анастасия Алексеевна, наконец, вышла, Елочка опустилась на стул и закрыла лицо руками.

Больного с такой фамилией не было! Конечно, не было! Безумно было надеяться. Мир так пуст! Мертвые не воскресают!

Глава семнадцатая

Олег опять начал ходить на службу. Работа и дорога из порта и в порт с бесконечными ожиданиями трамваев занимали так много времени, что домой он возвращался не раньше семи часов вечера. Стараясь заглушить безотрадные мысли, порывшись в библиотеке Надежды Спиридоновны, он брался за книгу. Обедал Олег на работе, в столовой для служащих, а ужинал вместе с Ниной и Микой по желанию Нины, которая нашла более целесообразным общее хозяйство. Теперь, когда он мог вносить свой пай, он с радостью согласился на это.

Недели через две после выхода на работу он услышал в коридоре голосок Марины, которая, здороваясь с Ниной, чему-то смеялась. Впрочем, смех ее показался несколько искусственным. Как только она прошла к Нине, он поспешно оделся и вышел из дому. Весь вечер бродил по городу и только к двенадцати часам, когда, по его расчетам, Марина уже должна была уйти, вернулся домой. Ни в каком случае он не желал ее видеть, не желал ни близости, ни объяснений.

Когда Марина пришла в следующий раз, он поступил точно так же. Нина, конечно, поняла его маневры, хотя не заговаривала с ним об этом; точно так же она ни разу не упомянула при нем об Асе: а ведь, по всей вероятности, теперь она нередко видела ее.

Однажды Олег сидел на кухне и читал. Вячеслав стоял у примуса и по обыкновению зубрил что-то. Через несколько минут вошла, позевывая, Катюша и, увидев себя в обществе двух молодых людей, тотчас сочла необходимым уронить платочек. Олег, в которого слишком глубоко въелось светское воспитание, автоматически сорвался с места и поднял ей платок. «Боже мой, ну и духи! Это тебе не «Пармская фиалка», — подумал он и уткнулся снова в книгу. Катюша, между тем, просияла и присела на табурет, обдумывая следующий ход.

— А у меня поллитра есть! Я бы угостила и сама выпила—одной-то скучно! — сказала она куда-то в пространство.

Оба молодых человека продолжали читать.

— В «Октябре» идет «Юность Петра Виноградова». Вот кабы один из мальчиков хорошеньких сбегал за билетами, я бы, пожалуй, пошла.

Ни Олег, ни Вячеслав не шевелились.

— Ишь, какие кавалеры-то нонеча пошли непредупредительные! Уж не самой ли мне пригласить которого-нибудь?

Глаза Олега скользнули по ней с таким выражением, как будто он увидел у своих ног жабу. Вячеслав оставил книгу.

— Эх ты! Постыдилась бы! Комсомольский билет позоришь! Тут, поди, с балеринами водились, Кшесинскую видывали, а не таких, как ты. Нашла кому предлагаться!

Катюша немного как будто смутилась, но стала отшучиваться. Олег делал вид, что поглощен чтением. «Он меня за великого князя, кажется, принимает... Вот еще не было печали!» — подумал он со смехом, затем отложил книгу и решил пойти побродить по городу, посмотреть на особняк Дашковых.

Едва только он вошел в комнату, чтобы положить книгу, как его догнал Вячеслав.

— Товарищ слесарь! Я вот тут в прогрессиях путаюсь — не поможете ли?

— Садитесь, — сказал Олег.

Вячеслав слушал его объяснения, мобилизуя, по-видимому, все свое внимание, — с нахмуренными бровями и сжатыми губами. Выражение Мики — «грызет гранит науки» — было очень метко. Олег невольно сравнивал его с Микой, который схватывал все на лету и шел к нему за объяснениями только потому, что на уроках математики занимался чтением или игрой в шашки с соседом.

— Спасибо, — сказал Вячеслав и собрался уходить, но вдруг взгляд его упал на портрет матери Олега.

— Это кто ж, мамаша ваша или сестрица будет? Сразу видать, что вы с ней похожи.

В каждой черте лица и в каждой детали туалета у дамы там — на портрете — была такая тонкая, аристократическая красота, которую никак нельзя было отнести к матери слесаря. Олег ответил:

— Да, это моя мать.

Вячеслав еще несколько минут всматривался в портрет.

— Красивая дамочка! Вся, видать, в бархатах, а на шее жемчуга, надо думать?

— Вот что! — сказал Олег, бросая на стол карандаш и сам удивляясь тому, как властно и жестко прозвучал его голос. — Вы, по-видимому, уже знаете — я не сын столяра и не слесарь, я — поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка, князь Дашков. Считаете нужным доносить на меня — сделайте одолжение! Запретить не могу, но изводить себя слежкой и намеками — не дам. Предпочитаю сказать прямо.

— Так вы в открытую перешли? Я ничего определенного не знал — подозревал что-нибудь в таком роде. Плохие вы конспираторы, господа офицеры!

— Плохие — не спорю! Ну-с, что же вы теперь намерены делать?

— Да ничего. Доносить я пока не намерен.

— Что значит «пока»? Сколько ж это времени желаете вы оставить меня на свободе?

— А при чем сроки? Пока чего дурного не заприметил, пока не станете нам вредить.

— Вредить? Странное какое-то слово! Я не вредить умею, а бороться! Пока, к сожалению, не вижу возможности.

— Ах, вот как! Вряд ли и впредь будет у вас эта возможность! Наше ОГПУ молодцом работает.

— А если вы сигнализируете касательно меня — будет работать еще лучше.

— Я уже сказал, что сигнализировать не буду. Коли что заприметчу, тогда другое дело, а напрасно зачем. Хватит с вас семи лет лагеря за белогвардейщину-то. Может, вы нам еще и пользу какую принесете. У вас преимущества еще очень большие.

— Преимущества у меня? Теперь? Смеетесь вы? Какие же это преимущества — хотел бы я знать?

— Умны, а не понимаете? Званий у вас много, говорить и держаться умеете! А мы вот с азов начинаем. Ну, спасибо за задачу, пойду пока.

И Вячеслав вышел.

«Я теперь в руках этого рабфаковца! — подумал Олег. — Игра, по-видимому, приходит к концу».

На следующий день, когда он вернулся с работы, Нина предложила ему контрамарку на концерт в Филармонию.

— Я достала ее для Мики, а он не хочет идти из-за церковной службы, — сказала она. — Имейте только в виду, что придется стоять.

— Этого я не боюсь, меня смущает мой вид.

Она принялась уверять его, что теперь в Филармонии не только мундиры, но и фраки и смокинги повывелись, хотя публика более пристойная, чем во всяком другом месте.

— Смотрите только, чтобы вы вернулись целым и невредимым после Шестой симфонии, — прибавила она. — Вы такой впечатлительный.

— Чего вы опасаетесь, Нина? Револьвер мой при вашем благосклонном участии покоится на дне Невы, а это единственный способ, которым я мог бы действовать наверняка. Бросаться под машину и сделать себя в довершение всего инвалидом — у меня не хватит храбрости.

— Странное признание из уст Георгиевского кавалера! — сказала она и вручила ему билет.

Когда Олег Дашков вошел в знакомый зал бывшего Дворянского собрания и обвел глазами его белые колонны, он почувствовал тесноту в груди от боли воспоминаний, а начать вспоминать значило вспоминать слишком многое! Он занял место около одной из колонн и стал осматриваться. Памятника Екатерине нет, красных бархатных скамеек тоже, гербы забелены. Да, публика выглядит совсем иначе: многие вроде него — такие же общипанные и затерроризированные. Ни блеску, ни нарядов! Если бы покойная мама могла появиться здесь такой, какой бывала прежде!.. И он вспомнил ее со шлейфом, с высокой прической и в фамильных серьгах с жемчужными подвесками. Как он гордился ее утонченной красотой, когда, бывало, почтительно вел ее под руку. И знал, что в зале нет ни одной дамы красивее его матери. Расстреляна! Сбродом под командой комиссара «чрезвычайки»! Никого рядом—ни мужа, ни сыновей, ни преданных слуг! Нет, лучше об этом не думать. С этими мыслями можно в самом деле под машину броситься.

Он снова стал оглядывать зал. Странно, что военные сидят! Раньше садиться не смели до начала. Как все было стройно, изящно, изысканно, и как бедно и уныло теперь! Что за количество еврейских лиц! Откуда повыползли?! Здесь, кажется, весь Бердичев! Одеты добротней русских, а вот здороваться не умеют — только головами трясут, как Моисей Гершелевич. Рассеянные остатки «бывших», евреи и наспех сформированная советская интеллигенция «от станка» — вот что такое современный свет, в котором никто друг друга не знает и все чужие.

Начавшаяся музыка прервала его мысли. Шестая симфония должна была исполняться во втором отделении. В антракте, стоя по-прежнему у колонны, он снова и снова наблюдал толпу, выискивая благородные лица и стараясь прочесть в них следы пережитого. Внезапно глаза его остановились на одном лице — это была девушка, не слишком молодая, ее никак нельзя было назвать красивой; но в ней привлекал внимание неуловимый оттенок порядочности и благородства, который чувствовался и в том, как она сидела, и как держала руки, и даже в том, как лежал белоснежный воротничок около ее горла. Прирожденная культура чувствовалась во всем ее существе. Но не только этим несовременным отпечатком приковала она его внимание — чем больше он всматривался в нее, тем неотвязней донимала мысль, что она кого-то напоминает, что эти черты ему знакомы. «Где мог я видеть ее?» — спрашивал он себя, продолжая всматриваться в этот профиль. Но вот она повернула голову, и он увидел ее лицо.

«Сестрица из госпиталя, где я лежал! Та сестрица, та — особенно милая, особенно заботливая!» И мысль его разом перенеслась в сферу воспоминаний, которые он обычно от себя гнал, где боль душевная и боль физическая сливались в одно, и трудно было решить, которая из них мучительней.

Это тогда он выработал в себе ту стойкость, с которой мог теперь принять равнодушно все; именно тогда залегла в его душе та скорбная складка, которая — он это чувствовал — уже не разгладится. Невыносимо было лежать пластом без движения, нельзя было сделать вздоха без острой боли в боку, ни поднять головы без мучительной тошноты. Невозможно было отогнать мысли, что у него уже никого нет, что все, кто ему дороги, — погибли. Свет заслоненной лампы, белые косынки, письмо, которое она читала. И над всем этим надвигающаяся конечная катастрофа... Если бы можно было все это забыть!.. Он был тогда еще очень молод, в госпиталь попал впервые, ему не хватало матери и материнской заботы. Тоска по ней душила, а лежать одному среди чужих было непривычно странно. Он ни в чем не мог упрекнуть окружающих — они исполняли все, что требовалось, он видел, что они сами измучены и переутомлены, но отсутствие живого, теплого, личного отношения к себе угнетало его. Он всегда был несколько замкнут с посторонними, но с детства особенно дорожил теми, с кем его связывали незримые нити душевной привязанности. И такого человека рядом не было! Но вот понемногу на фоне этих чужих лиц, как среди теней на экране, выделилось и запечатлелось в памяти лицо — то, на которое он смотрел сейчас. В этой сестре было что-то непрофессиональное, домашнее, милое, отличавшее ее от всех. Видно было, что она тревожится и огорчается за него; забота ее была более тонкая и нежная. Ни разу выражение усталости, раздражения или безучастия не мелькнуло в ее лице. Стоило ему сделать малейшее усилие — приподнять или пошевелить рукой — тотчас она появлялась возле: «Что вы хотите! Не шевелитесь! Нельзя, надо позвать, для чего же я здесь?» Она никогда не дожидалась зова, и вместе с тем забота ее была полна застенчивой сдержанности и ни разу не перешла в навязчивость. Утонченность его воспитания помогла ему, несмотря на его юность, оценить и понять эти нюансы. Когда его завтрак оставался нетронутым, она садилась на край его постели и кормила его с ложки, уговаривая и упрашивая есть. Она всегда находила время, и казалось, каждый его глоток доставлял ей радость. Он припомнил одну из самых мучительных перевязок, когда он искусал в кровь все губы, чтобы подавить стон, считая неприличным малодушием позволить себе выразить страдание. Врачи и сестры говорили: «Еще минуту терпения, поручик. Сейчас все будет кончено, сейчас. Мы знаем, что вы у нас всегда герой». Но это звучало заученно и, очевидно, повторялось каждому изо дня в день. Конечно, и они жалели его, но жалость эта была притуплена привычкой и обезличена. За этими словами он не слышал ничего, кроме желания, чтобы сопротивление раненого не осложнило и не замедлило дела... Да, он и не хотел ничего от этих чужих людей! Но вот эта сестрица... Ее тотчас он узнал по той особенной бережности, с которой она приподняла ему голову, давая глотнуть из рюмки. Он открыл глаза и увидел, что она плачет... Так могла стоять над ним мать или сестра! Он уже начинал поджидать часы ее дежурств, но она вдруг перестала приходить, и на его настойчивые вопросы ему отвечали, что эта сестра заболела сыпным тифом. И вот теперь — через девять лет — она неожиданно снова перед ним.

Он решил, что подойдет к ней! Тогда, в Крыму, в сестрах были дамы и девушки из лучших семейств. Нельзя допустить, чтобы могло быть опасным заговорить с ней. Жаль упустить встречу с человеком из прежнего мира, с этой милой девушкой, которая была так добра. Недостойно было бы не подойти к ней. На минуту ему вспомнились шутки офицеров по поводу того, что девушка эта с глазами газели неравнодушна к нему...

Дирижер взмахнул палочкой.

«После окончания тотчас подойду к ней», — и Олег стал слушать. Стихия безнадежности, разлитая во всей симфонии, так завладела им после охвативших его печальных мыслей, что несколько минут по окончании он простоял неподвижно, а когда встрепенулся — публика уже начала расходиться. Это мешало ему видеть ее. «Пойду скорее оденусь и подожду в вестибюле». Но вестибюль был полон народа. «Здесь я могу упустить ее — пойду встану лучше у выхода». Он выбежал на улицу и встал у подъезда. Люди шли и шли, выходя из большой двери, а ее все не было. «Неужели ушла раньше?» Он прозяб на ветру до костей в своей шинели, но все-таки не уходил.

Глава восемнадцатая

Падет туманная завеса,
Жених сойдет из алтаря,
И из вершин зубчатых леса
Забрезжит брачная заря.

А. Блок.

До сих пор Елочка посещала только оперу. Послушать Шестую симфонию она решилась под впечатлением слов Аси. «Чистая музыка, не связанная ни со зрительными впечатлениями, ни с текстом, выше, глубже оперы», — сказала раз при ней Ася. Оказалось, однако, что Елочке отвлеченная музыка говорит мало: сколько она ни старалась вслушиваться, она никак не могла перестать думать о посторонних музыке вещах... Как в первом акте, так и во втором, когда началась симфония. Чудесные звучания скользили мимо. «Как я бездарна! — с горечью думала она, — одна я такая во всем зале». Она стала обводить глазами соседние кресла, а потом взглянула на людей, стоящих за барьером между колоннами. «Вот эти ради музыки даже стоять готовы. Все слушают и понимают, кроме меня!» Глаза ее скользнули по одному лицу, и сердце застыло...

Он! Неужели? Быть не может! Мерещится! Трепещущей рукой она схватилась за лорнет — несовременную, но неизменную деталь своего туалета. Кажется, он... Он или кто-то на него поразительно похожий! Она вспомнила примету, по которой Анастасия Алексеевна узнала его. Шрам! Да! Должен быть шрам от раны! У него было ранение левого виска... Да — левого! Ах, если бы он повернулся немного, чтобы увидеть. И она продолжала лорнировать его. Он стоял, прислонясь к колонне, с руками, скрещенными на груди, мрачно сдвинув брови, и, видимо, весь находился под впечатлением музыки. Но Елочке было уже не до музыки: почти каждые пять минут она наводила на него лорнет и вот, наконец, он слегка повернул голову и она увидела шрам, обезобразивший левый висок. Сомнения не оставалось — он! Она оставила лорнет и похолодевшей рукой коснулась горячей щеки. Так значит, он жив, спасся! Что же было с ним за все эти годы? Какой он теперь? Кто он? Она считала его погибшим, всю свою юность она его оплакивала, никого не ждала, ни на кого не смотрела, никем не интересовалась... Она забыла о себе и не думала о том, чтобы устроить свою жизнь! Все свои ожидания она перенесла на иную сторону жизни, а он оказался на этом берегу. Может быть, он счастлив и доволен жизнью, может быть, он женат. Странная обида накипала в ее груди. Опять она схватилась за лорнет... Но он не выглядел счастливым — от нее не укрылись его худоба и бледность, его заштопанный китель, по-видимому, еще старый — офицерский. Он несколько старше, чем был, но опять такой же измученный и печальный... Впрочем, он, очевидно, после болезни. Теперь уже ясно, что именно его видела тогда в больнице Анастасия Алексеевна. Что же делать? Подойти к нему — неприлично, а больше такого случая не выпадет... Роковые минуты не повторяются — нельзя упускать их!

Прозвучали последние аккорды, зашумели аплодисменты, публика стала подниматься. Елочка опять взялась за лорнет и увидела, что он смотрит в ее сторону. Испуганно выпустив лорнет, она опустила голову, ей захотелось убежать, спрятаться перед неизбежным... И снова, уже без лорнета, обернулась в его сторону. Но его на том месте уже не было. Она сидела не шевелясь... Может быть, он пробирается к ней через эту толпу? Прошло минут пять-десять, он не шел. Ясно стало, что он покинул зал. Безнадежная тоска легла ей на сердце, точно могильный камень. Конец. Неповторимый случай упущен. Остается сказать — «аминь». Люди расходились, она все сидела, не в силах встать и уйти. Она еще ждала чего-то... Изредка подымая голову, обводила глазами зал. Но вот притушили свет, последние группы стали выходить. Ей тоже пришлось встать. Она медленно вышла, окинула глазами лестницу, прошла в гардероб; медленно оделась, спустилась вниз, безнадежно оглядела вестибюль и пошла к выходу. Она была одна из последних. Вот она закрывает за собой тяжелую дверь и слышит голос: «Разрешите приветствовать вас! Мы были когда-то знакомы? Вы узнаете меня?» Его голос! Она вся задрожала и подняла глаза — он стоял перед ней с фуражкой в руке! Она прижалась к стене и молча, не отрываясь, смотрела на него — каждая жилка в ней трепетала. Он иначе объяснил ее волнение.

— Это уже не в первый раз, что при встрече на меня смотрят, как на выходца с того света, — сказал он. — Тем не менее это все-таки я.

Она не шевелилась.

Так эта встреча все-таки осуществилась здесь, по эту сторону!

Оборванные тучи то закрывали звезды, то открывали их; деревья сквера раскачивались от ветра, за реальным вставало нереальное. Сердце бешено билось, голоса не было, чтобы отвечать.

— Вы меня не узнаете? Но ведь вы были сестрой милосердия в Феодосии в двадцатом году, не правда ли?

— Я вас узнала... но... Я, я удивлена. Я вас считала погибшим, — прошептала она наконец.

— Как видите, я не погиб. Не знаю уж для чего, но жив остался. Я увидел вас в зале и осмелился подождать. Вы были так добры ко мне когда-то, что я не мог уйти, не засвидетельствовав вам своего глубокого уважения. Я надеюсь, вы извините мне мою смелость?

Она кивнула головой, довольная этой корректностью.

— Вы разрешите мне немного проводить вас, чтобы поговорить хоть несколько минут?

Она отделилась от стены и пошла по тротуару. Дашков пошел рядом, он не взял ее под руку по советской моде, и ей это понравилось.

— Сестрица... Ах, что это я?! Извините за старую привычку.

— Это слово мне дорого. Им вы меня не обидите, — ответила она, и голос ее дрогнул.

— Я ведь не знаю вашего имени и отчества; не откажитесь сообщить, — проговорил он опять с тою же почтительностью.

— Елизавета Георгиевна Муромцева.

— Я с очень теплым чувством смотрел на вас в зале, Елизавета Георгиевна. Я вспоминал, какой вы были замечательной сестрой — всегда терпеливой, внимательной, чуткой, — вот таких описывают в литературе. Ведь я, бывало, ждал и дождаться не мог ваших дежурств.

«Так вот что!» — подумала Елочка, и слезы полились из ее глаз. Пришлось вынуть из муфты платочек.

— Я так любила всю мою палату, — прошептала она, вытирая глаза, — для меня таким горем было, когда я узнала о расправе с моими ранеными... Я была тогда больна тифом.

— Да, я помню... Я о вас спрашивал.

— Даже теперь горько вспомнить, — шептала она, — это была жестокость свыше меры.

— О да! Жестокими они быть умеют, — сказал Олег, а про себя отметил, что она не боится быть откровенной, она смелее его.

— Я была уверена, что и вы... Что и вас тоже... Как вы спаслись?

— Меня спас все тот же денщик. Он подменил мне документы и перенес меня в солдатскую палату. Там нашлись предатели, которые многих выдавали, но меня это каким-то образом не коснулось. Елизавета Георгиевна, я вижу, я вас расстроил; эти воспоминания, по-видимому, вам тяжелы... Извините.

— Пусть тяжелы. Я хочу знать. Вы долго лежали?

— Последние три недели лежал уже при красных. При первой возможности — едва лишь смог встать на ноги — я поспешил убраться из госпиталя. Мы с Василием укрылись в заброшенной рыбацкой хибарке. Потом нас все равно выследили и задержали.

— Как «задержали»? Так вы все-таки подвергались репрессиям?

— Да, Елизавета Георгиевна: семь с половиной лет я провел в Соловецком концентрационном лагере. Я совсем недавно вернулся и почти тотчас попал в больницу. Вы видите, мне рассказывать нечего: я все эти годы не участвовал в жизни.

Она остановилась.

— Соловки! Соловки! — и схватилась за голову. Муфточка и маленький платочек упали к ногам. Олег поспешно поднял.

— Какие чудесные духи! Из тех, которые я любил раньше. Вы вся прежняя, не теперешняя, Елизавета Георгиевна.

Щеки Елочки вспыхнули при упоминании о духах.

— Я надеюсь, что с вами, Елизавета Георгиевна, жизнь обошлась милостивее — надеюсь, что вы репрессиям не подвергались?

Она рассказала о себе, но очень коротко. Тысячи вопросов к нему вертелись на ее губах, но она не решалась задавать, опасаясь показаться навязчивой.

— А как ваше здоровье? После такого ранения концентрационный лагерь... Как вы выдержали?

— Я и сам удивляюсь. Выдержал как-то. Рана в висок зажила бесследно, а рана в боку несколько раз открывалась. Мне сказали, что в ней остался осколок, который дает постоянный плеврит. Плеврит, однако, привязался ко мне после «шизо».

— Что такое «шизо»? — спросила она с недоумением.

— Так называются в лагере штрафные изоляторы, в которые сажают за провинности.

— Да разве же можно с плевритом так легко одеваться? Вы зябнете в этой шинели.

— Что делать! У меня нет пока многого необходимого. Хорошо еще, что моя belle-soeur [9] приютила в комнате моего брата, а то и жить было бы негде.

— Вы служите?

— Начал, но поправить свои дела и обзавестись необходимым еще не успел. Вот и вынужден пока что ходить в таком виде, что совестно перед вами.

— Передо мной, пожалуйста, не извиняйтесь. Мне сейчас противны как раз все те, кто имеет расфранченный вид.

Мы четыре дня наступаем,
Мы не ели четыре дня!
Та страна, что должна быть Раем,
Стала логовищем огня, —

неожиданно продекламировал Дашков.

— Это ведь Гумилев? — улыбнулась Елочка.

[9] Свояченица (*франц.*).

— Да. Из нашей стаи — русский офицер.

— И расстрелян, — добавила девушка.

В эту минуту они подошли к подъезду дома, в котором она жила.

— Мне сюда, — сказала она тихо.

Они остановились у подъезда и несколько минут молчали. Оба думали об одном и том же — как продлить знакомство.

— Елизавета Георгиевна, — сказал он, понимая, что сам должен сделать первый шаг. — Неужели же мы с вами расстанемся, чтобы больше не увидеться? Теперь так редко случается встретить людей из прежнего мира. Я бесконечно одинок. Я был бы очень рад еще раз увидеть вас. Есть у вас родители, которым вы могли бы меня представить?

— Нет, я живу совсем одна, — прошептала она.

— Вы можете быть уверены, Елизавета Георгиевна, что мое отношение к вам всегда будет исполнено самого глубокого уважения, — сказал он опять с тою же почтительной покорностью.

Легкий румянец покрыл щеки Елочки. Ей уже было 27 лет, а никогда еще в жизни не приходилось объясняться с мужчиной. Принять его у себя она нисколько не опасалась, ее останавливало другое — назначив после первой же встречи свидание, она могла показаться легкомысленной как в его, так и в своих собственных глазах. Она стояла молча, растерянная. Он видел, что она колеблется, но ему понравилось это. «Благородная девушка! С прежними устоями, с гордостью!» — думал он, покорно дожидаясь. Находчивый ум Елочки скоро отыскал выход из создавшегося тупика.

— Я не об этом думаю — меня беспокоит ваше здоровье, — сказала она. — Приходите ко мне на службу в больницу, я свожу вас на рентгеновский снимок и, если осколок в самом деле есть, покажу снимок дяде. Он — прекрасный хирург. Это он оперировал вас когда-то. Пусть скажет свое авторитетное мнение.

Олег понял, что она все-таки не захотела принять его на дому и таким образом нашла выход, но понял также, что разговор об осколке не был только предлогом в ее устах и что к его здоровью она по старой памяти не могла относиться безучастно. Поблагодарив ее, он спросил:

— Елизавета Георгиевна, скажите, вы помните мою фамилию?

— Да, князь Дашков. — Елочка умышленно употребила титул.

— Ci-devant [10] прибавьте! Так вот теперь по документам я уже не князь, и не Дашков, а всего-навсего Казаринов. С того времени я так и застрял под этой фамилией. Выявить свое подлинное лицо — значит, попасть снова в лагерь, если не на тот свет. Признаюсь, пока еще не имею желания. Это все надо держать в строгом секрете.

— Я понимаю, — сказала она очень серьезно.

После нескольких слов, уточнявших время и место встречи, они простились. Входя в подъезд, она еще раз обернулась на него, он тоже обернулся и, встретившись с ней взглядом, поднес к фуражке руку. Этот офицерский жест заставил сладко заныть сердце Елочки; институтская влюбленность в гвардейскую выправку, в изящное движение еще уживалась в ней рядом с сестринским состраданием и мистическими чаяниями и еще вызывала затаенный девичий трепет во всем ее существе.

Она вошла в свою комнату и в изнеможении бросилась на кровать. «Жив! Нашелся! Узнал! Пришел ко мне! Я буду его видеть! Господи, что же это! Могла ли я думать, собираясь на концерт здесь вот, в этой комнате, что меня ждет такое счастье!» — Она вдруг бросилась на колени перед образом:

— Господи, благодарю Тебя! Благодарю, что Ты спас его! Благодарю за встречу! Ты справедлив — теперь я знаю! Ты видел мою тоску, мое одиночество, мою любовь! Ты все видел! Ты велик и мудр, а

[10] Бывший (*франц.*).

любовь к своим созданиям Ты дал мне почувствовать на мне же самой. Ты дал мне сегодня так много, так много! Ради одного такого вечера стоит прожить жизнь.

Порыв прошел, она опустила сложенные руки и опять задумалась.

Соловки! Странное, святое, многострадальное место. Древний монастырь, с белыми стенами, окутываемый белыми ночами, омываемый холодным заливом. Белые древние стены смотрятся в холодную воду... Еще со времен Иоанна Грозного ссылали туда опальных бояр, которые жили, однако, настолько весело, что игумены посылали царям частые грамоты с просьбами взять от них бояр, которые образом жизни соблазняют братию. Этот монастырь рисовал Нестеров на картине «Мечтатели»: белая ночь, белые стены, белые голуби и два инока — старец и юноша — на монастырском дворе грезят о подвигах подвижничества. А вот теперь этот монастырь стал местом крестного страдания лучших людей России. Коммунистическая партия пожелала устроить «мерзость запустения на месте святом». Они разогнали монахов и место спасения превратили в место пыток, о которых по всей Руси шептались втихомолку... Она видела раз это место во сне — вот эти самые белые стены и холодную воду, а над ними стояло розовое сияние — может быть, излучения молитв за тех, кто томился за этими стенами? И он был там! Не потому ли всегда так больно сжималось ее сердце всякий раз, когда она слышала о Соловках! Ей хотелось теперь узнать все подробности быта узников и обращения с ними, но расспрашивать было бы неделикатно — ему, наверно, тяжело вспоминать. «После такой войны, таких ран — семь лет лагеря! Боже, Боже! А когда, наконец, выпустили — некуда идти! Ни дома, ни Родины, ни родных... Как бы помочь ему? Я многое могла бы сделать, да ведь он не позволит». И только тут она вплотную подошла к мысли, что лишь одним путем могла бы помочь ему — если бы стала его женой. «Как бы я берегла его!» — с невыразимой нежностью думала она, смакуя в памяти жест, которым он простился с ней. Она забыла, с каким пренебрежением фыркнула на Асю, когда та заговорила о «земной» любви; думая о счастье жить для Дашкова, уже не находила это счастье мещанским. Внезапно ее целомудренное воображение содрогнулось: за двадцать семь лет своей жизни она не узнала даже поцелуя. В ней уже начала вырабатываться стародевическая нетерпимость. Одна мысль о близости с мужчиной заставляла ее вздрагивать от отвращения. И даже сейчас, влюбленная в его лицо, голос, осанку, в упоении вызывая их в своей памяти, она содрогнулась при мысли о том, что делают с девушкой, когда она становится женой... Но тотчас отмахнулась от этой мысли: все равно! Ради счастья заботиться о нем можно пойти даже на это! Она принесла себя мысленно в жертву, совершенно уверенная, что в объятиях и поцелуях мужчины никогда не найдет радости для себя, хотя одна мысль об этом мужчине заставляла ее влюбленно трепетать. И снова погрузилась воображением в картины тех забот и того внимания, которым стала бы окружать его. Бронзовые часы на камине пробили два часа, потом три, четыре, пять — она не ложилась; сидела одетая, напряженно глядя в темноту и не замечая времени.

Глава девятнадцатая

В больницу Дашков поехал прямо со службы; великолепный старообразный швейцар, стоявший у лифта, зорко взглянул на его лицо и простреленную многострадальную шинель... Так зорко, как будто что-то заподозрил... Однако необыкновенно вежливо поклонился ему:

— Пожалуйте! Кому прикажете доложить? — узнав, что требуется сестра Муромцева, швейцар тотчас же вызвал Елочку по коммутатору и накинул на Олега белый халат, без которого его бы не пропустили

дальше. Олег нащупал в кармане рубль и, обрадовавшись находке, протянул швейцару. При этом он с удивлением заметил, что около швейцара на полу стояла большая картина, по-видимому, голландской школы — курица с цыплятами на темном фоне.

Елочка выбежала к нему навстречу в белом халатике и форменной косынке. Щеки ее горели. Тотчас она повела его по лестницам и коридорам, что-то говорила о нем людям в белых халатах, и его тотчас вызвали на снимок, которого в районных амбулаториях приходилось дожидаться неделями и на руки не выдавали. После снимка они условились о новой встрече, когда он должен был явиться сюда же узнать поставленный диагноз.

Елочка вернулась к себе заряжать автоклав, а Олег спустился на выход. Там, около швейцара, стояла, надевая перчатки, молодая девушка с длинными косами. При взгляде на нее у Олега перехватило дыхание.

— Ксения Всеволодовна! — он вытянулся со свойственным ему изяществом, словно на нем и сейчас был аккуратный, с иголочки, мундир гвардейского офицера.

Ее глаза, которые он так часто вспоминал, смотрели в течение секунды с недоумением, потом приветливая улыбка осветила лицо.

— Извините, я не сразу узнала вас! Олег Андреевич Казаринов, так, кажется?

— Так точно, — отчеканил он с интонацией, которую она не поняла. — Каким образом вы здесь и притом одни, Ксения Всеволодовна?

— Это целая история! — доверчиво защебетала она. — Бабушка послала меня в Эрмитаж, в закупочную комиссию с этой картиной. — Тут он, наконец, отметил значение «куриной» картины. — Леля взялась помочь мне ее донести. Леля работает здесь со вчерашнего дня практиканткой в одном из рентгеновских кабинетов, я зашла посмотреть на Лелю в медицинской форме, а теперь пойду по бабушкиному поручению. Вот только картина очень парусит — как бы не унесла меня в стратосферу.

— Разрешите мне вам помочь! — подхватил он тотчас, с радостной готовностью забирая картину. И они вышли.

Связному разговору очень мешала несчастная курица, которая действительно все время парусила и норовила вырваться из рук, к тому же Ася призналась, что проболтала с Лелей и боится опоздать — закупочная комиссия заканчивает работу в семь часов. Припомнив, что у него в кармане двадцатипятирублевка, на которую он рассчитывал жить до следующей получки, Олег махнул рукой на все соображения и предложил нанять такси, но лицо девушки приняло такое испуганное и настороженное выражение, что он тотчас же оборвал фразу:

— Вы не желаете ехать, Ксения Всеволодовна?

— Да я бы очень желала, но бабушка запретила настрого.

— Ксения Всеволодовна... Я далек от желания подбивать вас на непослушание. Я как-то не сообразил, что еще не представлен вашей бабушке. Извините, но не относите меня к разряду совсем чужих. Я все-таки не первый встречный, а beau-frère Нины Александровны и познакомились мы с вами в ее комнате.

Ася остановилась.

— Как beau-frère? Каким же образом? Ведь Нина Александровна — княгиня Дашкова, а вы... Казаринов?..

Олег спохватился. Секунду он колебался, но встретив иронично-недоумевающий взгляд ясных глаз, остановился и, прислоняя картину к фонарному столбу около Александровской колонны — они пересекали в это время пустынную площадь Зимнего дворца, — сказал:

— Я вижу, что проговорился, и хочу вам сказать прямо: я не Казаринов, я — Дашков. — И опять ему пришлось в общих чертах пересказывать невеселые подробности своей жизни. Кончилось все неловкой сценой:

— Я вам не дам нести картину, отдайте, если так! — вдруг сказала Ася очень воинственно.

— Позвольте, почему?!

— Нельзя носить такие тяжести, если было ранение!

— Ксения Всеволодовна! Ведь уже девять лет прошло... — Он чуть было не стал откровенничать, как грузил тяжелейшие бревна в Соловках и в Кеми с утра до ночи, да еще по пояс в воде. Но успел подумать: жалобиться?.. И посмотрел ей прямо в глаза.

Странные были у нее глаза: их светящийся центр, казалось, находится впереди орбиты и, накладывая голубые тени, озаряет лицо и лоб.

— У вас кто-нибудь оставался здесь? Кто-нибудь встретил вас, когда вы вышли из лагеря: мама или папа, или сестричка?

— Никто. У меня все погибли.

Секунду она не сводила с него испуганного взгляда и вдруг залилась слезами, прижавшись головой к фонарному столбу:

— Я не знала, я ничего не знала! Простите, что я говорила с вами, как с чужим!

Олег подошел к ней вплотную и застыл.

— Не огорчайтесь, милая! Не я один. Я думал, вам это все известно, иначе не заговорил бы. Вытрите ваши глазки и пойдемте, а то в самом деле опоздаем.

Она все еще всхлипывала. Очень медленно стала успокаиваться. Олег опять поднял картину, и они пошли.

В Эрмитаже он остался ждать ее в вестибюле. Очень скоро она вернулась, волоча за собой картину.

— Эта курица такая несчастливая. Который раз я ношу ее в разные места и всегда неудача! Сначала сказали: прекрасный экземпляр, подлинная Голландия, семнадцатый век, оцениваем в две тысячи. Я, как на дрожжах, подымаюсь и вдруг слышу: «Но...» У меня душа в пятки! «Семнадцатый век у нас представлен очень многими экспонатами и в приобретении данного Эрмитаж не заинтересован, предлагайте любителям». Как вам это понравится? Где я возьму этих любителей? Что же мне теперь делать?!

— У вас острая нужда в деньгах? — спросил Олег.

— Через неделю у меня рень рождения — девятнадцать лет. Недавно были именины, а их не праздновали — бабушка сказала: «Не до того». А день рождения обещала отпраздновать и обещала мне белое платье. Английские блузки уже так надоели. Теперь — ни платья, ни вечеринки не будет! — Она была так очаровательна в своем детском огорчении, что он не в силах был свести с нее глаз.

— Ксения Всеволодовна, снесемте картину в комиссионный магазин. Здесь есть один поблизости. Бежимте!

Он зашагал саженными шагами, она рысцой побежала рядом! Увы! Курицу и здесь принять не захотели! Указывали, что магазин перегружен товарами, что картина с дефектами... Оба вышли понурые.

— Ну, теперь кончено,— сказала Ася.— Что ж, противная курица, поехали домой!

— Не огорчайтесь, Ксения Всеволодовна, быть может, бабушка ассигнует для вашего праздника другую вещь.

Она вздохнула:

— Уж не знаю. У нас стоит в комиссионном рояль, но выручка за него пойдет дяде Сереже, а если бабушка сказала — так и будет.

Они повернули на Морскую и через несколько минут остановились у подъезда.

— Я был очень счастлив встретить вас, Ксения Всеволодовна! Надеюсь, мы еще увидимся. Желаю, чтоб праздник ваш состоялся.

— И я буду надеяться! Знаете что? Приходите к нам в день моего

рождения. — И тут же смутилась, покраснела до ушей: — Ах, что я сделала!

— Вы и в самом деле непослушный ребенок, Ксения Всеволодовна. Что ж, придется мне как можно скорее быть представленным вашей бабушке. До свидания.

Она улыбнулась и исчезла за тяжелыми дубовыми дверями старинного подъезда.

В тот же вечер он попросил Нину представить его дому Бологовских.

Между тем, Асю ждала буря. Француженка за опоздание повела ее тотчас пред очи бабушки. Пришлось Асе признаться, что ее сопровождал князь Олег Андреевич Дашков.

— Что? Какой князь? Муж Нины Александровны давно убит, а больше нет князей Дашковых.

— А вот и есть, оказывается! Он мне сам сказал.

— Чепуха! Тебе можно наговорить что угодно, ты всему веришь. Ясно, что опять выдумки, как с Рудиным. Ты не дала адреса?

Асю усадили заштопывать белье. Сидеть было скучновато, тем более что иголку она органически не выносила. Желая развлечься, напевала вполголоса все, что ей приходило на память.

В середине второго дня мадам, выходя в булочную, наткнулась в подъезде на высоченного рыжего детину в кепке, сдвинутой на затылок, с косматым чубом, выпущенным на лоб. Он стоял, запустив руки в карманы и тараща глаза на лестницу. Француженка покосилась на него, обошла сбоку и опять покосилась. Возвращаясь из булочной, она снова увидела его на том же месте.

— Le voila! [11] — сказала она себе, и закипело ретивое. Она замахнулась на парня корзиной:

— А ну пошёль! Пошёль! Вот нашёлься князь! Ваше сиятельство! Я тебе покажу, какой ты князь! Не лезь к благородной дьевушка! А ну — пошёль!

Детина вытаращился на нее.

— Пошёль! — наступала неугомонная мадам. — Наш дьевушка не по тебе! Ты — du простой [12], так и не льезь! Милиций вызовю! Вот нашёлься князь!

— Чё привязалась, заморская ведьма! — пробормотал рыжий дуралей, отмахиваясь руками. — Какой я тебе князь?! Пошла вон, немецкая рожа!

От последних слов мадам взорвалась, как бомба.

— Я немецкий рожа?! Я?! Mon Dieu! [13] Я француженка, парижанка! Я тебя в милицью, в милицью! — и она хлопнула его с размаха по физиономии.

Рыжий, явно не ожидавший такой расправы, позорно бежал.

Явившись домой, мадам торжественно поведала о своей блестящей победе. Все весело посмеялись, но Асю от наказания штопкой не освободили.

Некоторое время помаявшись, Ася не выдержала и, решившись просить помощи со стороны, осторожно прокралась в коридор к телефону. Набрав номер, она попросила позвать Нину Александровну.

— Нины Александровны нет дома. Что прикажете передать? — услышала она мужской голос. Сердце ее забилось от волнения.

— Тогда попросите, пожалуйста, Олега Андреевича, — отважилась выговорить она, точно в воду бросилась. — Ах, это как раз вы! Говорит Ася, то есть я хотела сказать — Ксения Всеволодовна. Олег Андреевич, выручайте меня! — и она описала ему, как ей попало за встречу с ним.— Теперь я сижу наказанная и вот штопаю белье, а это невыносимо скуч-

[11] Ах, так! (*франц.*).
[12] То есть из простых.
[13] Боже мой! (*франц.*).

но! Мне задали новую фугу, так хочется ее проиграть, а вместо этого надо вырезать ножницами круглые дыры. Олег Андреевич, пожалуйста, расскажите Нине Александровне, что случилось со мной, и пусть она идет скорее на выручку, только пусть не говорит, что я ее вызывала. Больше не могу говорить — боюсь разбудить бабушку. Вы передадите? Ну, спасибо! — и повесила трубку. Щеки ее пылали.

Нина прибежала в тот же вечер. Усевшись в качестве бесспорной любимицы на край кровати Натальи Павловны, она тотчас спросила, где Ася, а выслушав рассказ Натальи Павловны, призналась, что это действительно ее beau-frère — князь Олег Дашков, и поведала свекрови о трагической судьбе Олега. Послали за Асей, которая все еще сидела за бельем. Кроме объявленного прощения, сопровождавшегося милостивым поцелуем в лоб, ей сообщили, что сейчас она будет мерить платье. Ася не знала, что, несмотря на «опалу», переговоры о платье продолжались, и накануне вечером мадам вынимала из сундуков и раскладывала перед Натальей Павловной всевозможные сборки, нижние юбки и лифы, обсуждая, что можно сделать из этого для Аси. Мадам умела мастерски переделывать и обладала большим вкусом, как истинная француженка. За день она успела подготовить платье к примерке. Восхищенную и разрумянившуюся Асю поставили на маленькую скамеечку перед трюмо в уютной спальне Натальи Павловны, и мадам стала закалывать на ней что-то легкое, белое, отделанное кружевами валансьён, которые были еще очень хороши, хоть и отпороты с нижней юбки. Нина и только что прибежавшая Леля принимали самое горячее участие в обсуждении деталей. Ася и Леля умоляли сделать платье немножко моднее, чем всё, что они носили до сих пор, но решающее слово осталось за Натальей Павловной — она не разрешила увеличить вырез и потребовала прибавить еще два сантиметра к длине платья.

Заговорили о предстоящем дне рождения и решили, что beau-frère Нины Александровны непременно должен быть в числе приглашенных.

— Il doit être tréz distingué, ce monsieur [14], — вставила свое слово и француженка. Она была несколько разочарована тем, что неведомый незнакомец оказался подлинным князем Дашковым, а не тем парнем, с которым она имела этим утром столь успешное столкновение. Теперь ей пришлось срочно перестроиться и окружить Олега романтическим ореолом. Патриотка и республиканка во всем, что касалось Франции, мадам была яростной противницей революции в России и была влюблена в русскую аристократию.

— Est-il beau, monsieur le prince? [15] — спросила она Асю, чрезвычайно заинтригованная.

— А вот увидите сами, — ответила Ася, вся сияя. Она чувствовала себя совершенно счастливой; ей хотелось петь и прыгать, и даже судьба Сергея Петровича и плата за учение перестали ее беспокоить. Вечеринка состоится — это было сейчас всего важнее!

Даже при таких невыносимых условиях жизни того времени, всякие родители старались повеселить свою молодежь. Если танцевать было негде — обходились без танцев и все-таки собирались. Возникали и другие осложнения: стоило лишь собраться тесным кружком, как тотчас это кому-то казалось подозрительным: враждебно настроенная соседка или бдительный сосед сигнализировали управдому или прямо в гепеу о подозрительном собрании «бывших», и часто в минуту веселья звонок возвещал о непрошеном вторжении. В лучшем случае — управдома, в худшем — самих несгибаемых рыцарей революции, гепеушников. Чтение собственных стихотворений, стихов Гумилева, Блока или Бальмонта, мистические или философские разговоры, рассказывание анекдотов — все считалось предосудительным и могло служить доста-

[14] «Должно быть, это очень благородный человек» (*франц.*).
[15] «А этот князь хорош собой?» (*франц.*).

точным основанием для обвинения в политической неблагонадежности или прямо в контрреволюции и кончиться ссылкой или лагерем. Известен случай, когда в вину было поставлено переодевание в старорусские костюмы — двое юношей оделись рындами, а девушки — боярышнями. Хозяин дома был обвинен в великодержавном шовинизме, получил семь лет лагеря, из которого не вышел, а юноши-рынды и девушки-боярышни отправились в ссылку в Туркестан. Квартира и обстановка погибли.

Почти на каждом вечере узнавалась какая-нибудь страшная новость — один посажен, другой сослан, третий вовсе сгинул без следа. Собираться старались по возможности незаметно: разговаривали вполголоса, а расходились поочередно, осматривая, пуста ли лестница. Трудно было сохранить жизнерадостность в таких условиях, но жизнь брала свое: к постоянной опасности привыкают, и молодежь находила возможность веселиться под этим дамокловым мечом. В сороковые годы война перемешала общество, но в двадцатые и тридцатые дворяне и интеллигенты еще не смешивались с пролетариатом, и порожденный большевистской пропагандой антагонизм был чрезвычайно обострен. Слово «интеллигент» широко применялось как ругательное. Нечего уже говорить о таких кличках, как «офицерье», «буржуй», «помещица» — эти слова превращались в клеймо, с которым человека можно было безнаказанно травить. В свою очередь, в противоположных кругах слова «пролетарий» и «товарищ» произносились с насмешкой и становились синонимами тупости, хамства и зазнайства.

Наталья Павловна и мадам, как ни трудно им это было теперь, решили во что бы то ни стало повеселить Асю. Места в квартире у них все еще было достаточно, с деньгами выручил продавшийся из рук в руки бинокль, и вопрос о вечеринке был решен.

Глава двадцатая

У Елочки появилось много забот. Недавно в списке неплательщиков, намеченных к исключению, она увидела фамилию Аси и спешно внесла за нее требуемую сумму, а потом записала на себя несколько сверхурочных дежурств в больнице, чтобы пополнить месячный заработок. В рентгеновском отделении она опекала Лелю, кроме того постоянно приходилось подкармливать и снабжать работой Анастасию Алексеевну. И вот теперь — Олег! За него больше, чем за всех прочих, болела душа, но всего сложнее было помочь как раз ему. Ясное дело, что он не допустит никаких одолжений.

На рентгеновском снимке действительно был обнаружен осколок неправильной формы с зазубренными краями 6—7 сантиметров. Хирург сказал, что если этот осколок не вызывает болезненных явлений — лучше его не трогать, но в противном случае он должен быть удален. Елочка ухватилась за эту мысль. Если бы он согласился лечь в клинику, у нее была бы тысяча возможностей окружить его своей заботой и вниманием, от которых ему никак нельзя было отказаться. Она мечтала подежурить около него ночь после операции и воскресить таким образом былые дни, оживить и продлить то, что было прервано на девять лет. Пересказывая Олегу мнение хирурга, она, сама того не замечая, нажимала на необходимость операции несколько больше, чем это делал сам хирург.

Олег решительно отказался от операции. Он сказал, что более не в состоянии находиться в казарменной или больничной обстановке, подчиняясь тому или иному режиму. Это наскучило ему свыше сил! Бог знает, долго ли ему доведется быть на свободе... Надо воспользоваться этим временем! Он хочет послушать музыку, он хочет съездить на воздух за город в лес — эти пустяки значат для него очень много. Главного соображения он не высказал — ему, наконец, мелькнула возможность более близкого знакомства с Асей и отказаться от этой возмож-

ности или отсрочить ее ему не хотелось, даже если бы осколок причинял ему гораздо бо́льшие неприятности.

Елочка огорчилась, но старалась не выдать своих чувств, и ей это удалось. Они разговаривали, сидя на скамье в вестибюле больницы.

— К тому же мне надо работать,— продолжал Дашков.— Мне необходимо поправить мое материальное положение. Вы сами заметили, что я недостаточно тепло одет. У меня нет даже перчаток. Я только что начал сколачивать сумму на костюм, откладывая от каждой получки. Потеря места поставила бы меня в положение самое безвыходное, тем более что устроиться снова очень трудно — анкета меня губит.

— Вы не потеряли бы места, — возразила Елочка, — пока человек на бюллетене или в больнице, сократить его не имеют права. Это одно из немногих гуманных нововведений новой власти.

— Удивительно, что таковое имеется, — ответил Олег.

Ему захотелось переменить разговор, и через минуту он заговорил о Бологовских.

— Я как раз буду у них завтра, — сказала Елочка.

— Завтра? На рождении Ксении Всеволодовны? Я тоже буду — я получил приглашение. Там мы увидимся!

— Я еще не знаю, приду ли... Танцы, новые люди... это не для меня.

— Приходите, Елизавета Георгиевна! Я почти ни с кем не знаком в этом доме, мне очень было бы приятно вас там встретить. А возвращаться одной вам не придется — я вас провожу до вашего подъезда, не беспокойтесь.

Это послужило приманкой, перед которой Елочка не устояла. Четвертая встреча с ним, и притом в частном доме и таком респектабельном, могла окончательно закрепить их знакомство. Она пообещала прийти.

Ася была необычайно мила в своем новом платье с легкими воланами и полукороткими рукавами. Шею ее обнимала тонкая нитка старинного жемчуга, подаренного ей в этот день Натальей Павловной. Подлинный фамильный жемчуг, задумчиво и загадочно мерцающий на грациозной шее девушки, придавал облику Аси еще бо́льшую утонченность. Ее пушистые пышные волосы, закрученные ради праздника в греческий узел, легкость и стремительность ее движений, темные ресницы — были восхитительны. Ну почему одной — всё, а другой — ничего! Разве нельзя отдать Елочке, ну, если не ресницы, то хотя бы улыбку Аси? Только хорошенькая девушка может так непринужденно двигаться, смеяться, говорить; она знает, что ей все можно, потому что она от всего хорошеет, она инстинктивно чувствует, что ею любуются, и это ее окрыляет, ей не приходится опасаться неудачного слова или неудачного жеста — в ней мило все, ей все простительно!

Елочка сделала открытие, что ее трагический герой, несмотря на все свои злоключения, остался великосветским донжуаном, который легко поддается женским чарам и, едва попав в гостиную, готов к ухаживаниям. Расцветающая юность, улыбки и волны волос, легкость бабочек здесь значат больше, чем долгая и безнадежная верность ее сердца! Вот если бы он был в больнице, где нужны помощь и сочувствие, никто бы не мог соперничать с ней — там она легко установила бы душевный союз с ним, а здесь...

Как только Олег вошел в гостиную, инкогнито с него было тотчас сорвано; один из молодых людей, тот, которого Елочке представили под фамилией Фроловского, пошел к Олегу навстречу с восклицанием:

— Ба! Дашков! Старый дружище! А меня уверяли, что ты убит!

Они оказались однокашниками по пажескому корпусу. Елочка забеспокоилась: не следовало знать эту тайну широкому кругу лиц! Некоторое время она участвовала в общем разговоре, вместе со всеми

умилялась крошечным щенком, которого подарил Асе Шура Краснокутский, но как только начались игры, она отделилась от общего кружка: игру в фанты она не переносила с детства — одна мысль, что ей придется играть, петь или декламировать перед всеми, наводила на нее ужас. Она вымолила себе разрешение не участвовать в игре и стала наблюдать за ходом событий со стороны.

Фроловского усадили на стул, и он с необыкновенной изобретательностью выдумывал штрафные наказания для каждого фанта, вынимаемого из передника мадам. Больше других проштрафилась Ася: в переднике лежали две ее вещицы и обе заработали очень странные задания — она должна была ответить настоящую правду на любой вопрос, заданный поочередно каждым из играющих, а также сознаться перед всеми, кто из присутствующих нравится ей больше и меньше всех. Леля получила задание рассказать историю своей вражды к кому-нибудь. Олег, как и Ася, — ответить правду на любой обращенный к нему вопрос. Сам себе Фроловский приказал изобразить выступающего на митинге оратора. Шура получил обязательство выступить с игрой на рояле и пришел в отчаяние, умоляя разрешить ему поменяться фантом с Асей. Но Фроловский был неумолим!

— Никаких мен, или это неинтересно! Начинаем с виновницы торжества. Пожалуйте сюда в середину, Ксения Всеволодовна! Садитесь на стул. Итак — извольте отвечать правду. Кто желает спрашивать первым? Все молчат! Извольте, начну я, ибо я за словом в карман не полезу. Желаете ли вы выйти замуж, Ксения Всеволодовна?

— Валентин Платонович, вы ужасный человек! — сказала она, глядя на него без улыбки.

— Весьма польщен. Однако же отвечайте.

Ася секунду помедлила.

— За свой идеал хотела бы, — сказала она очень серьезно, — только не теперь, попозже, теперь мне еще так у бабушки пожить хочется.

— Точно и ясно, — сказал Валентин Платонович, но Шуру Краснокутского этот ответ почему-то взял за живое.

— Уточните же, по крайней мере, что за идеал и каковы его отличительные признаки? — воскликнул он.

— Александр Александрович, если я правильно понимаю, вы задаете ваш очередной вопрос? — пожелал навести порядок Фроловский.

— Да, пусть это будет мой вопрос! Воспользуюсь своим правом, уж если до этого дошло!

Все улыбнулись.

— Мы ждем ответа, Ксения Всеволодовна, — сказал Фроловский.

— Да не торопите же! Дайте хоть подумать, — пролепетала сконфуженная Ася. — Мой идеал... Это такой... человек, который очень благороден и смел, а кроме того обладает возвышенным тонким умом. Он должен глубоко любить свою Родину, как папа, за Россию отдал жизнь.

— Ксения Всеволодовна, — сказал Олег, улыбаясь и не спуская с Аси ласкового взгляда, — как же так: «отдал жизнь»? Выйти замуж за покойника только в балладах Жуковского возможно.

— Ах, да! В самом деле! Я, кажется, сказала глупость... Ну, если не погиб, то во всяком случае много вынес за Россию — бедствовал, скрывался, был ранен... — Она замерла на полуслове. Ей пришло в голову, что слова ее могут быть отнесены прямо к Олегу, и, опустив голову, она не смела на него взглянуть.

— Тяжелый случай! — безнадежно сказал обескураженный Шура.

— Ваши дела плохи! — сказала ему Леля.

Асе хотелось поскорее уйти от этой темы, и она спросила:

— О какой балладе упоминали вы, Олег Андреевич?

— О балладе «Людмила». Девушка роптала на Провидение за то, что жених ее пал в бою. И вот в одну ночь он прискакал за ней на ко-

не. Был ли это он сам или дьявол в его образе — история умалчивает, но он посадил ее на своего коня и умчал на кладбище.

Олег не продолжал далее, но неугомонный Валентин Платонович закончил за него:

— И могила стала их любовным ложем.

— Monsieur, monsieur! — предостерегающе окликнула француженка, хлопотавшая около стола.

— Milles pardons! [16] — воскликнул Валентин Платонович, — но это сказал не я, в Жуковский!

Шура, между тем, не мог успокоиться по вопросу о «герое».

— Ксения Всеволодовна, вы несправедливы! — воскликнул он, — я по возрасту моему не мог участвовать в этой войне и проявить героический дух. А теперь господа пажи попадают в выгодное положение по сравнению со мной потому только, что старше меня.

Олегу стало жаль юношу.

— Успокойтесь, Александр Александрович, еще никто никогда не жалел, что он молод. У вас еще все впереди, а наша молодость уже на закате, — сказал он.

— Аминь! — замогильным голосом откликнулся Фроловский. — Будем, однако, продолжать. Спрашивайте теперь вы, Елена Львовна.

— Какое сейчас твое самое большое желание? — спросила Леля Асю.

— Вернуть дядю Сережу, — это было сказано без запинки, и лицо стало серьезным.

Очередь была за Олегом.

— Я буду скромней моих предшественников. Что вы больше всего любите, Ксения Всеволодовна, не «кого», а «что»?

— Что? О, многое! — она мечтательно приподняла головку, но Фроловский не дал ей начать.

— Учтите, что собаки, овцы и птицы относятся к числу предметов одушевленных — не вздумайте перечислять все породы своих любимцев.

— Какой вы насмешник! Я грамматику немного знаю, — на минуту она призадумалась. — Люблю лес, глухой, дремучий, с папоротниками, с земляникой, с валежником, фуги Баха, ландыш, осенний закат и еще купол храма, где солнечные лучи и кадильный дым. Ах, да: еще белые гиацинты, вообще все цветы и меренги...

— Ну, вот мы и добрались до сути дела! — тотчас подхватил Фроловский. — Теперь вы начнете перечислять все сорта цветов и все виды сладкого. Что может быть, например, лучше московских трюфелей?

— Трюфеля я последний раз ела, когда мне было только семь лет, и не помню их вкуса, — было печальным ответом.

— За мной коробка, как только появятся в продаже! — воскликнул Шура, срываясь со своего места, и даже задохнулся от поспешности.

Все засмеялись.

— Коробка за вами. Решено и подписано, а теперь переходим к следующему пункту, — провозгласил, словно герольд, Фроловский. — Ну-с, кого из числа играющих, Ксения Всеволодовна, любите больше всех?

— Что ж тут спрашивать? Ясно само собой, что Лелю. Ведь мы вместе выросли.

— А кого меньше всех?

Наступила пауза.

— Я облегчу ваше положение, Ксения Всеволодовна! — сказал Олег. — Меня вы любите меньше всех, так как вы только теперь узнали меня, а все остальные здесь ваши старые друзья.

Он сказал это, желая подчеркнуть, что не принял на свой счет ее высказываний по поводу идеального мужчины, и дать ей возможность

---

[16] «Тысяча извинений!» (*франц.*).

выйти перед всеми из неловкого положения, но она в своей наивной правдивости не приняла его помощи.

— Вот и нет, не вас вовсе, — ответила она с оттенком досады.

— Меня, наверно, — уныло сказал Шура.

— И не вас, — сказала она тем же тоном.

— Так кого же?

— Вас, — и взгляд ее, вдруг потемневший, обратился на Валентина Платоновича.

— За что такая немилость, Ксения Всеволодовна? — воскликнул тот.

Все засмеялись.

— Мораль сей басни такова: не задавать нескромных вопросов, — сказал Олег.

Исповедь Аси, наконец, кончилась. Наступила очередь Лели.

— Враг у меня один — товарищ Васильев, — объявила она.

— О, это становится интересно! Друзья мои, слушайте внимательно, — воскликнул тот же Фроловский. — Кто он, сей товарищ?

— Инструктор по распределению рабочей силы на бирже труда. Он восседает в большой зале на бархатном кресле в высоких сапогах, в галифе и свитере, а поверх свитера — пиджак, на лбу хохол, на затылке кепка. Посетителю он сесть не предлагает. Я стою, а он говорит, что я дочь врага. «Ежели вы этого понять не желаете, моя ли то вина? Я охотно верю, гражданочка, что работа вам нужна, но заботиться о семьях белогвардейского охвостья нет возможности. Возьмите это в толк и не мотайтесь сюда зря, гражданочка». — Леля остановилась.

— Передано с художественной правдивостью. Браво, Елена Львовна! — сказал Олег. — Некоторые выражения вы, по-видимому, заучили наизусть.

— Почти все. Я столько раз всё это слышала, — сказала она со вздохом.

— Страничка из истории! — подхватил Валентин Платонович. — Валенки и платок тут не помогут — родинка на вашей щечке, Елена Львовна, слишком напоминает мушку маркизы; не хватает только седого парика.

Ася держала на коленях щенка, которого все время тискала и ласкала:

— Щенушка, милый! Ты спать захотел, мой маленький? Сейчас я тебя пристрою в колыбельку. Ушки вместо подушки, хвостиком прикроем нос, и заснешь сладко-сладко!

Олег заметил, что Валентин Платонович тоже смотрит на Асю; глаза их на минуту встретились, и Олегу показалось, что его товарищ думает совершенно то же самое... «Не уступлю!» — твердо решил Дашков.

— Господа, я, как признанный церемониймейстер, предлагаю продолжать, — заговорил Фроловский. — Садись сюда теперь ты, князь.

— Не трепли, Фроловский, пожалуйста, мой титул, — сказал, усаживаясь в круг, Олег. — Не следует заново привыкать к нему, чтобы не сказать при чужих. К тому же он бередит мне слух.

— Извини. Не буду, — ответил Фроловский. — Кто желает задать вопрос? Видно, начинать опять мне? А ну-ка скажи, дружище, которая из присутствующих девушек тебе нравится больше других?

Взгляд Олега упал на молчаливую печальную Елочку, сидевшую в стороне; ему почему-то стало жаль ее, захотелось втянуть в игру и поднять во мнении окружающих...

— Вот уж не думал, что попаду в положение Париса! — громко сказал он. — А нравится мне всех больше Елизавета Георгиевна!

Елочка вздрогнула и вся загорелась.

Ася, как попугайчик, спросила Олега то же, что он спросил ее:

— Что вы любите больше всего, не «кого», а «что»?

— Россию, — ответил Олег после минутного молчания.

— Россия не «что», а «кто», — неожиданно для всех строго и серьезно произнесла Елочка, и глубоко сдерживаемое, потаенное чувство прозвучало в ее голосе густым красивым звоном, будто где-то на далекой колокольне ударили в колокол.

Все умолкли на минуту, как будто упомянулось имя недавно скончавшегося близкого человека.

— О! — воскликнул Валентин Платонович. — Мысль интересная, но обсуждение отведет нас слишком далеко от нашей прямой задачи. Эту мысль мы обсудим за чайным столом.

Шура, который никак не мог успокоиться в вопросе о героизме, спросил Олега:

— Считаете ли вы себя героем — таким, как охарактеризовала Ксения Всеволодовна?

— Героев рождает эпоха и обстановка, а не всегда личные качества, — сказал Олег. — Я видел сотни и тысячи героев среди офицеров и солдат и даже среди оборванцев-пролетариев во враждебном лагере. Героями в наше время были все, кто не бросил оружие. Думаю, что я был не лучше и не хуже других.

«Ну уж нет, — подумала Елочка. — Оценка слишком скромная! Командир «роты смерти» и два Георгия!» Но вслух не произнесла ни слова.

Между тем, Леля, Ася и Шура напали на Фроловского:

— А вы-то сами, наш церемониймейстер? Свой номер вы, кажется, зажуливаете? Теперь ваша очередь!

Фроловский взял из передней фуражку, надел ее на затылок, взлохматил себе волосы и принял тупое и угрожающее выражение лица.

— Товарищи́, — начал он зычным голосом, делая ударение на последнем слоге и словно выдавливая из себя слова, — в дни, когда все советские гражда́ны, в том числе и мы — ударники нашего завода — с небывалым подъемом трудимся на пользу социалистического строительства, капиталистические акулы и их прихлебатели замышляют погубить молодую советскую республику. С помо́щью кулаков, буржуёв и белобандитов всех мастей они хотят насадить нам снова ненавистный капиталистический строй. Но этому, товарищи́, не бывать! Подлые капиталисты просчитались — мы не дадим им сунуть к нам свои свиные рыла! Даром, что ли, мы кровь проливали? В ответ на их происки мы — пролетарии завода «Красный Утюг» — заверяем партию и правительство, а также товарища Сталина, что будем работать еще лучше́е и еще бдительней будем следить, чтобы в наши ряды не закралось ни одного предателя-контрреволюционера, особливо из белогвардейского охвостья. Товарищи́, будьте бдительны!

Слушатели зааплодировали так горячо, будто были и впрямь рабочими завода «Красный Утюг», собравшимися на митинг.

Шура Краснокутский, отбывая свой фант, сел к роялю и стал наигрывать кое-как «Дон-Грея», охая и жалуясь на свою судьбу. Услышав звуки фокстрота, Валентин Платонович насторожился, словно боевой конь, и расшаркался перед Лелей, но та растерянно пролепетала:

— Я не танцую... Наталья Павловна и мама не позволяют... фокстрот.

— Господи, прости мне! Кажется, я уже во второй раз нарушаю благонравие этого дома! — сказал Валентин Платонович. — Пройдемтесь разочек, милая маркиза, пока старших нет. Уж неужели вовсе не умеете?

Леля робко положила руку ему на плечо.

— Попробую, только не проговоритесь при маме, пожалуйста! Я у нашей соседки танцевала раз... Если мама узнает, она меня к ней не пустит.

Оба танцевали очень хорошо, но как только у двери послышался голос француженки, Леля вырвалась из рук Валентина Платоновича.

— А ты, Дашков, что же не танцуешь? — спросил Фроловский, подходя к Олегу.

— Не умею и я, — ответил Олег. — Просидев семь с половиной лет в чистилище, не имел возможности научиться, а в те годы, когда я был в числе живых, этого танца еще в заводе не было.

— В чистилище? — повторил Фроловский, и лицо его стало серьезно. — Так ты уже отбыл это? А я пребываю в приятном ожидании. Моя maman не засыпает раньше шести утра, все ждет... Даже сухарей мне насушила и чемодан собрала на всякий случай.

Звуки вальса прервали их разговор. Валентин Платонович живо поймал Асю и закружил по комнате, но почти тотчас им пришлось остановиться, так как Шура сбился. Воспользовавшись паузой, Ася сказала тихо:

— Валентин Платонович, я вас хотела предупредить: не расспрашивайте Олега Андреевича — у него все погибли и я заметила, что ему тяжело говорить.

Олег видел со своего места, что они переговариваются вполголоса и что Валентин Платонович взглянул раза два в его сторону. Опять ревнивая досада всколыхнулась на дне его души.

Между тем, Ася и Леля побежали в спальню, где разговаривали старшие, и вытащили оттуда Нину, умоляя ее сыграть им вальс. Нина должна была в этот вечер петь во втором отделении какого-то шефского концерта и уже собиралась уезжать, но, уступая просьбам молодежи, села к роялю. Если звуки фокстрота ничего не говорили сердцу Олега, то звуки знакомого вальса расшевелили в нем воспоминание о вальсах в доме отца под эти же «Маньчжурские сопки». Однако мысль, что Валентин Платонович сейчас подойдет к Асе и опять обнимет ее талию, подхлестнула, и он поспешил пригласить ее.

«Какая прекрасная пара! — подумала Нина, проследив за ними глазами. — Ну, слава Богу, что хоть сегодня он доволен и весел!» Наталья Павловна тоже наблюдала за порхающей внучкой; глаза ее и Нины встретились, и обе без слов поняли друг друга — если бы не постоянная опасность, нависшая над головой Олега, можно было бы мечтать о...

Француженка смотрела с умиленной улыбкой:

— Ma pauvre petite Sandrillone va bientot devenir une princesse et plus tard une dame d'honeur peut-être! [17]

Елочка из своего угла смотрела с укором: «Танцевать, когда Россия распята? Когда в лагерях томятся его товарищи? Он после всего, что пережил, может танцевать?» Вечеринка все менее и менее делалась ей по душе.

И уже с неприязнью думая о цветущих и все больше и больше хорошеющих Асе и Леле, Елочка хмурилась: «Куклы! А у него за этот вечер даже улыбка стала глуповатой!» Он нравился ей измученным и пламенеющим ненавистью, и ей хотелось видеть его всегда только таким.

Продолжение следует

[17] «Моя бедная маленькая Сандрильёна, она непременно должна стать княгиней, а потом, быть может, и дамой высшего света!» (*франц.*).

НАДЕЖДА ЕМЕЛЬЯНОВА



НЕ ОСКВЕРНИ ЛЮБОВЬ ИЗМЕНОЙ...

Молитва

Знать, суждено: пройти и круги ада,
Из чаши бытия испить года,
Где смешаны и горечь, и отрада —
Живая и смертельная вода.
Давно мне одиночество не ново,
Какую боль пережила душа!
Страшнее всех последний круг:
там слово,
Увы, не стоит больше ни гроша.
Одно лишь стережет надежней
клетки
Меня, лишая права и на смерть:
Зеленый прутик
на засохшей ветке —
Мой сын — мой дух,
моя земная твердь.
И не унять душевную тревогу,
И глядя в ночь, в немую пустоту,
Молюсь. Кому — Судьбе,
Вселенной, Богу?..
Вся жизнь вмещается в молитву ту:
«Хоть сына упаси! Найду я силы
Исполнить за него любой обет!
Пусть женского мне счастья
не хватило,
Убереги от материнских бед!..
Храни его от лжи и от навета,
Соблазн пороков низких отведи,
Пусть будет вечной верностью
согрета
Его земная доля впереди.
Не оскверни любовь его изменой...»
Как тыщу лет все женщины Руси,
Молюсь одной молитвой
незабвенной:
«Я все отдам. Но сына упаси...»

ЕМЕЛЬЯНОВА Надежда Алексеевна родилась в 1947 году, детство и юность ее прошли в Казахстане. Училась в школе-интернате. Переехав в 1966 году в Оренбург, работала на заводе, в библиотеке, в отделении издательства, в центре народного творчества, в областной газете. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Автор трех поэтических сборников — «Земные узы», «Тепло руки», «Пора». Член Союза писателей. Живет в Оренбурге.

Напоминание о Трое

А. Солженицыну

Время пахнет порохом и кровью,
Запахи иные заслоня.
Отчего-то вспомнила я Трою
И ее злосчастного коня.
Тех, кто не был сломлен топорами,
Стрелами, свинцом или огнем,
Часто губят лживыми дарами —
Этаким затейливым конем.
Вот и нам дарован был во благо
Рай земной, какой не знал и Бог,
Чтобы сгинули в аду ГУЛАГа
Все, кто этот рай принять не мог.
Снова ветер над Отчизной свищет,
Мрак полощет, тучи в клочья рвет:
Это коммунизма ль призрак рыщет,
Тень ли геноцида восстает?
Снова уготовано России
Корчиться и гибнуть на миру:
Революционные витии
Снова призывают к топору!
Снова на слуху: «До основанья
Мы разрушим...» — старые слова!
Видно, долговечны упованья
На идею, ту, что не нова.
И опять опричнину ль, дружину
Будоражит кто-то на кругу:
«Бюрократ? — Дави его, вражину!
Аппаратчик? — Гни его в дугу!
Что там не в традициях народа? —
Плюньте вы на эту пастораль:
Деньги, секс, от совести свобода —
Чем вам не духовность,
не мораль?!»
И вот-вот взметнется, как граната,
Лозунг: «За победу до конца!»,
И пойдет, как прежде,
брат на брата,
На расстрел отправит сын отца!..
Вы, у Правды выкравшие ризы,
Сеятели дыма и огня,
С чем вас ждать,
какие там сюрпризы
Прячете в троянского коня?..

\+\+\+

Из детства

Эта речка тихая — Утва,
Где снует по отмели плотва,
А по берегам растет картошка —
Пахнет медом ранняя ботва.

Речка азиатская — Утва,
Ну, а мы — веселая братва!
Все равны — казахи и татары,
Украинцы, русские, мордва.

Эта речка чистая — Утва,
Но взлетает маленький Ан-2,
И пылит из чрева белый облак —
Саранчи смертельная жратва...

Речка моей родины — Утва,
Ты течешь уже едва-едва.
Без тебя земля осиротеет;
Так душа без памяти мертва.





АЛЕКСАНДР МАКАРОВ



Лимитчик

(ФРАГМЕНТЫ ПОЭМЫ)

Я по лимиту жил в Москве
пять лет.
И в этом не раскаиваюсь, нет.
Однако и не радуюсь нисколько.
Воспоминанья этих лет остры,
Как грани потемневшего осколка,
И как шатры цыганские остры.

Мы съехались в Москву
из разных дыр.
Встал перед нами рыжий бригадир.
И я о нем подумал: «Это пастор».
Запомнил взгляд —
двуствольное ружье.
«Вы будете иметь
московский паспорт,
Вид на Останкино и виды
на жилье».

Приехав из станиц и деревень,
Мы слушали с восторгом дребедень,
Еще горбом не изучив науки,
Еще нутром не понимая слов:
«Москве необходимы ваши руки
И чащи металлических лесов».

И потянулись трудовые дни.
О, как прекрасны, молоды они,
Хотя и невезло тогда фатально,
Но это ход истории самой, —
Все лето рыться
в сырости подвальной

И землю наверху долбить зимой.
Несуетливо делали дела
Ребята из Тамбова, из Орла,
Из Брянска, из Уфы,
из Ярославля.
Работало у нас два москвича,
Пусть москвичи простят,
коль сгоряча
Прославлю их, а может быть,
ославлю.

Они отменно были хороши.
Прогульщики и оба алкаши.
Но только не от этого тревожно.
Их вымел из своих рядов завод,
Послали к нам (на стройке, значит,
можно),
И дали срок на исправленье — год.

Тогда впервые в голове, как мышь,
Тихонько заскреблась
больная мысль
О том, что может быть,
и я в бригаде
Срок отбываю с ними наравне?
Затихла мысль, но стало грустно
мне,
И сердце было с разумом
в разладе.

Так значит мы, лимитчики Москвы,
Наполненные свежестью травы
И чистыми озерами провинций,
Тут отбываем некий личный срок?
Да за какую все-таки провинность
Нас в котлован свалил
незримый рок?

Зато живем и трудимся в Москве
По миру деревенскому в тоске,
И, может быть, получим
здесь квартиру
(Хотя и нелегко в Москве
с жильем)
И не пойдем бродяжничать
по миру,
И жизнь свою как надо проживем.

Но это в перспективе, а пока
Я постигаю сущность молотка
Отбойного — рвет нити сухожилий.
О, горький пот напрасного труда:
В том месте, где бетон мы уложили,
Должна лежать дюймовая труба.

О жизнь, неужто мы себе враги?
Понять мне это время помоги.
За все, за все, что мы нагородили,
Нас вызвали в кремлевский
кабинет,
И вместо наказанья наградили.
Наград случайных не было и нет.

О, эта страсть к вручению наград,
За хлебный казахстанский
миллиард,
За хлопок, за участие в параде.
Любил медяшек звон
ленивый вождь.
Сам лично представлял себя
к награде.
И шел аплодисментов
долгий дождь.

Испытывая радость и тоску,
Я полюбил немилую Москву,
Она мне стала близкой и понятной.
Приезжие (со всех концов земли)
В Москву седую пыль
страны везли
И с этой пылью ехали обратно.
. . . .

Не замолчу, Москва, твоей вины,
Твои огни в любой глуши видны
И будоражат разум непорочный.
Как мотыльки летят юнцы на свет.
Хоть не сгорят в твоем огне,
о нет,
Но крылья опалят, уж это точно.

Тягуч, Москва, твой мед и крут
рассол.
Как много опустело русских сел.
(«А где же дети, мать?» —
«В столице дети...»)
Старухи да больные старики
На берегу засохшей речки Леты
Стоят и вдаль глядят из-под руки.

Они одни. Им некому помочь.
День позади, а впереди лишь ночь
Да вечность, за себя совсем
не страшно,
Их ветры отпоют, свистя, пыля,
За землю страшно (с целиной
и пашней,
Кто остается?), страшно за поля,

Которые с тобой одних кровей,
Любовь и колыбель судьбы твоей,
Они в мороз укрыты белым пухом,
Здесь ветер шепчет каждому:
«Ты мой».
Земля, как мать-старушка,
верит слухам,
Что дети возвращаются домой.

✦✦✦



МАКАРОВ Александр Михайлович родился в 1946 году в селе Еремееве Тамбовской области. Служил на Северном флоте. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор нескольких книг стихотворений. Член Союза писателей. Живет в Староюрьевском районе на Тамбовщине.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



Технология Апокалипсиса

«Третий ангел вострубил...»

Казалось бы, страшнее чернобыльской катастрофы может быть лишь атомная война или сам конец света. Но вот в прошлом году в Челябинске небольшим тиражом, под общей редакцией народного депутата СССР А. Н. Пенягина вышла в свет книга из серии «Резонанс», содержание которой составило заключение группы специалистов о радиационной обстановке на Южном Урале. В свою очередь «Литературная Россия» 13 сентября того же года опубликовала телеграмму, направленную в адрес чрезвычайного съезда Союза писателей России и экспертной группы Верховного Совета СССР рядом русских общественных деятелей — генеральным директором Центра ноосферной защиты им. академика Н. Д. Зелинского А. Н. Зелинским, председателем Православного научного центра «Фаворъ» М. К. Вавиловым, врачом-психиатром Ю. Г. Шишиной и сопредседателем общества «Энциклопедия русских деревень» писателем Г. П. Калюжным. Она именно так и озаглавлена — «Страшнее Чернобыля». В ней также идет речь о «глобальной радиационной катастрофе с эпицентром на Южном Урале близ Челябинска», грозящей миру «радиационным Апокалипсисом — Голгофой», и жертвами которой стало уже полмиллиона человек. В день появления телеграммы в печати под гостеприимной крышей московского дома-музея академика Н. Д. Зелинского состоялся второй проблемный семинар «Русские в опасности» по теме «Радиационный аспект экологии», организованный Православным научным центром «Фаворъ» и Центром ноосферной защиты. В фокусе внимания семинара, в котором участвовали ученые, общественные и политические деятели, журналисты, было положение на Южном Урале. Обсуждение, затронувшее и проблемы атомной энергетики в целом, вывело на широкие философские обобщения. Так, А. Н. Зелинский заметил, что «распад страны и распад радиоактивных элементов — это следствия одного процесса, правду о котором мы до конца еще не знаем». Прозвучала и оценка ситуации с точки зрения ведущего ученого.

Читателю предлагается взглянуть на наиболее острые грани обсуждавшейся темы.

Б. КУРКИН,
кандидат юридических наук,
член экспертной комиссии Госплана СССР по расследованию обстоятельств аварии на Чернобыльской АЭС

Управление единым топливно-энергетическим комплексом страны нарушено; парад суверенитетов довершил свое черное дело. В настоящее же время мы становимся свидетелями развала топливно-энергетического комплекса России, важное место в котором принадлежит ядерной энергетике. В чем выражается этот процесс? В том, что в спешном порядке создаются «свои», российские структуры ТЭК, в которых отчего-то не находится места грамотным профессионалам, зато вовсю бушует «политизация». Это в первую очередь относится к ядерной энергетике, на проблемы которой как союзное, так и российское руководство, по существу, махнули рукой.

Каковы эти проблемы? Прежде всего это проблемы надежного оборудования для АЭС. У всех на слуху история с парогенераторами для АЭС, оснащенных реакторами типа ВВЭР. Парогенераторы оказываются с конструктивным дефектом, и убытки (прямые и косвенные) от их постоянной замены составили, по расчетам профессора Ю. И. Корякина, уже около 6 млрд. рублей.

Проблемой парогенов заинтересовалась в свое время даже Прокуратура СССР, но теперь, в связи с временным распадом Союза, дело, похоже, застопорилось. Напомним, что парогенераторы накапливают в себе высокую активность, и потому необходимо, помимо всего прочего, решать проблемы их дезактивации, захоронения и т. д. Однако создается впечатление, что руководство Министерства атомной энергетики и промышленности эта проблема не очень трогает. МАЭП, похоже, пребывает в летаргическом сне, несмотря на то, что по всей стране растет и ширится движение против АЭС, в основе своей вполне понятное и справедливое, но подчас подогреваемое в чисто провокационных и антигосударственных целях.

Так, частым явлением наших дней стал шантаж и угрозы по отношению к работникам АЭС, в частности оперативному персоналу, что имело место, например, в Хмельницкой области.

Излишне напоминать, что от четкой, слаженной и грамотной работы оперативного персонала зависит, произойдет ли новый Чернобыль или нет. Но это, кажется, понимают далеко не все.

Оперативный персонал очень недоволен своим положением: крайне низка заработная плата — так, средний заработок ст. инженера управления реактором не превышает зарплату водителя автобуса, а рядового оператора — заработка иной машинистки. Плохи жилищные и иные социально-бытовые условия работников АЭС, и прежде всего оперативного персонала.

Конечно, можно возразить, что сейчас хорошо живут лишь бизнесмены, бандиты всех сортов и проститутки. Но согласитесь, ответственность операторов перед страной явно превышает ответственность машинистки, пусть даже самой виртуозной.

Научное обеспечение безопасности эксплуатации ядерно-энергетических объектов, по существу, остается таким же, как и до Чернобыля: ВНИИ АЭС и специально созданный Институт безопасности развития атомной энергетики АН СССР, кажется, только тем и занимаются, что провожают свое руководство в загранкомандировки, эффект от которых, как свидетельствует практика, мягко говоря, невелик.

Так, давно назрела проблема метрологического обеспечения эксплуатации ядерных объектов. В докладной записке по состоянию метрологического обеспечения эксплуатации АЭС, составленной и подписанной первым замом гендиректора НПО ВНИИ Физико-технического и радиотехнического института Ю. И. Брегвадзе и начальником НИО В. П. Ярыной, говорится о «низкой надежности измерительной аппаратуры при отсутствии систем самодиагностики». Отсутствует, по их мнению, и концепция метрологического обеспечения АЭС. Записка эта была обсуждена в марте прошлого года на НТК Госстандарта СССР, на том дело и кончилось.

Следующая важная и до сих пор не решенная проблема ядерной энергетики — это проблема радиоактивных отходов. Хранятся и перерабатываются они на территории России, поступая туда с Украины, Литвы и других республик, в которых эксплуатируются ядерные установки.

Спрашивается: как будут строиться отношения России с Литвой, готовой продавать электроэнергию с Игналинской АЭС за рубеж и отправляющей отходы с нее в Россию? Как отреагирует на это население России?

Кстати, ядерное топливо изготовляется также и в России, и случись что, Украина и Прибалтика останутся без света и тепла. И вот уже Красноярский ядерный комбинат отказывается принимать отработанное топливо с 4-х украинских АЭС.

Поэтому политическое безумие, разворачивающееся на наших глазах, может иметь самые неожиданные и непредсказуемые последствия.

Еще одной проблемой, которую принесла с собой «суверенизация» и все с нею связанное, является угроза ядерного и химического терроризма. А посему необходимо принятие срочных мер по защите от возможного нападения на ядерные и химические объекты страны.

До сих пор мы говорили о так называемом «мирном атоме», хотя разделение атома на мирный и немирный весьма условно. Вызывает особую тревогу и серьезнейшую озабоченность факт разгрома (иного слова и не подберешь) нашего научно-технического ядерного потенциала.

Начнем с того, что до предела сокращено финансирование ядерных программ. А Казахстан запрещает проведение в Семипалатинске ядерных испытаний, Ельцин — на Новой Земле. Во что это может вылиться?

Как известно, проведение ядерных испытаний, коли вы завели такую «игрушку», как водородная бомба, просто необходимо, во-первых, хотя бы для простого контроля за состоянием ядерных зарядов, то есть в целях простого обеспечения ядерной безопасности. Во-вторых, для разработки новых систем вооружения и новых технологий. Сколь бы много ни говорилось по радио и ТВ о пользе пацифизма, США продолжают неуклонно развертывать свои ядерные исследования, программу СОИ, для чего и проводят целенаправленно ядерные испытания.

И если мы не будем проводить научные исследования в этой области (чего,

похоже, добиваются политические лидеры), то полная потеря внешнеполитической независимости станет неизбежной. Ибо придется обращаться за помощью к зарубежным специалистам (читай: американским) с целью осуществления контроля как за безопасностью ядерно-энергетических установок, так и ядерных боеголовок.

В-третьих, разгром нашей ядерной науки не даст возможности решить важнейшие проблемы ядерной безопасности, в частности проблемы радиоактивных отходов.

И последнее. Подписанные Горбачевым Парижские соглашения туманно намекают на создание единого «европейского энергетического пространства». О создании такового шла речь и во время визита Горбачева в Швецию после получения Нобелевской премии мира. Что будет сие означать? Поставку электроэнергии из «европ» в СССР? На доллары? Нет, скорее всего продажу электроэнергии, выработанную на советских АЭС, за рубеж. Разумеется, ядерные отходы останутся в России в обмен на «гуманитарную помощь». Кроме того, уже давно идет переправка ядерных отходов с западноевропейских ядерных установок в Россию.

В условиях, когда перерабатывающие комбинаты Томска и Челябинска снимаются с финансирования (конверсия, схожая с вредительством!), работники этих комбинатов будут заинтересованы в том, чтобы отравлять свою Родину. Чудовищно, не правда ли? А посему нужна программа реорганизации ядерных производств в соответствии с потребностями страны.

Антинациональной ядерной политике должен быть немедленно положен конец.

●

М. ЛЕМЕШЕВ,

доктор экономических наук,
президент Российского антиядерного общества

Говоря о страшном положении в районах радиационных бедствий, нельзя забывать, что в самой Москве действует девять, пусть небольших, ядерных реакторов, периодически производящих выбросы, в том числе и при «нормальной», безаварийной работе. Между тем регулярное получение малых доз радиации представляет такую же угрозу для здоровья, как и разовая большая доза. И при этом атомная мафия во главе с академиком Велиховым вещает с телеэкранов о своем стремлении видеть мир без ядерного оружия. Но это наглый обман, ибо атомная энергетика сейчас намного опаснее атомного оружия. Дело в том, что до осознания ужасов атомной войны общество уже дозрело, тогда как оно почти пассивно к пропаганде идей о необходимости развития ядерной энергетики, которая не менее опасна, чем пресловутые боеголовки, но более коварна.

Нам нужно создавать свои активные структуры, способные противостоять целенаправленной разрушительной силе, действующей по определенному сценарию. Недавно помощник президента США во всеуслышание заявил, что, поскольку на планете осталась только одна сверхдержава — Соединенные Штаты, перед ними стоит задача установления нового мирового порядка. Проще говоря, порабощения народов, в том числе и народа нашей, уже расчлененной державы. В свете этих тенденций надо рассматривать и высказывание Э. Шеварднадзе о возможном введении на территорию страны войск ООН, якобы для предотвращения межнационального кровопролития.

Мы очень часто апеллируем к правительству, а между тем у нас его нет. И прежде чем призывать к некоему контролю над нынешними государственными структурами и стремиться влиять на них, надо видеть, какова их природа и как они возникли. Ведь все это движение за «суверенитет», «самостоятельность» — бред, берущий начало от идей доктора Абеля, в свое время консультировавшего Гитлера. Он считал, что невозможно победить русский народ, не разбив Россию под лозунгом самостоятельности на отдельные государства. Надо осознать, что все новообразованные структуры направлены на уничтожение России. Продолжается геноцид русского и других славянских народов, продолжается массовый террор, и прежде всего психологический. Телеэфир, печать заполнены «предсказаниями» нашего вымирания, в частности близкой голодной смерти. Какой творческой энергии можно ждать от человека, подавленного такой пропагандой? Однако как экономист могу сообщить: в нашей стране производили 700 кг зерна на душу населения. Для сравнения: Франция производит 500 кг, ФРГ — 400 кг, Голландия — 300 кг, Дания — 250 кг. Между тем в этих странах Общего рынка идет борьба за квоты — кому продавать хлеб. Мы же, при потребности 35 млн. тонн пшеницы в год, производим 80 млн. тонн, да еще закупаем 30 млн. тонн за рубежом. Все это — сознательная политика превращения России в донора для американских фермеров. За продовольствие в год мы платим 23 млрд. долларов — долларов, вырученных от продажи нефти, газа, золота, леса, цветных металлов, лекарственных растений... Вот так мы истощаем свои ресурсы, губим свою природу и этой ценой создаем условия для процветания зарубежного фермерского хозяйства. Уже даже Финляндия продает нам зерно!

Кроме того, нам грозят энергетическим кризисом. В общественное сознание упорно внедряется мысль о дефиците энергоресурсов. Однако наша страна, население которой составляет пять процентов от населения земного шара, производит 22 процента мирового объема добычи нефти и 43 процента газа, огромное количество электроэнергии, опережая ряд развитых стран, за исключением США, Норвегии и Швеции. Сравнивайте: мы производим на душу населения 2,5 тыс. кг нефти в год, тогда как Франция — 7 кг. И в то же время у нас нет горючего, чтобы убрать урожай, нет керосина для самолетов. И не случайно, что эта «великолепная семерка», пригласившая Горбачева «посидеть в предбаннике», заявила о возможном сотрудничестве с нашей страной именно в областях энергетики и окружающей среды. Это значит — брать, как и раньше, природные ресурсы России и при этом вывозить к нам свои загрязняющие производства и различные отходы, в том числе и р а д и о а к т и в н ы е.

Поэтому мы должны добиваться прежде всего изменения существующих государственных структур, враждебных русскому народу, нашей державности, и взаимодействие с которыми невозможно. Влиять со стороны общественности можно лишь на тех, кто хочет услышать мнение народа и принять его как руководство к действию. Но если работа целых структур и отдельных людей направлена на сознательное противодействие народу, России?..

Я недавно встречался с донскими казаками, сформировавшими у себя две дивизии, вполне боеспособные, могущие постоять несмотря ни на что, за права казачества. Пора с Божьей помощью переходить к активным формам защиты России. В противном случае нас всех превратят в рабочий скот.

●

А. ПЕНЯГИН,

член Верховного Совета СССР,
председатель подкомитета по атомной энергетике
и ядерной экологии

Южный Урал — это уникальный в масштабах всей планеты регион, где за короткое время произошли три радиационные катастрофы, связанные с работой первого в стране промышленного комплекса по производству плутония, на базе которого позднее было создано ПО «Маяк». Первая катастрофа произошла в результате сброса радиоактивных отходов с 1949 по 1956 годы. Облучены 124 тысячи человек по рекам Теча, Исеть, Тобол — вплоть до Ледовитого океана. Были поражены Челябинская и Курганская области. Отселение людей шло очень плохо, в течение шести лет отселили примерно шесть тысяч человек. Результаты выборочной диагностики на тот момент показывали 935 случаев хронического лучевого заболевания; подлинная же цифра неизвестна. Вторая катастрофа — взрыв емкости с радиоактивными отходами в 1957 году, выбросивший в окружающую среду 20 млн. (Чернобыль — 50 млн.) кюри различных радионуклидов. Из них 2 млн. подняло в воздух на высоту километра и пронесло ветром до Тюмени. Пораженными оказались Челябинская, Свердловская и Тюменская области. В результате этой аварии образовался Восточно-Уральский радиационный след (ВУРС). Третья катастрофическая радиационная ситуация связана с озером (теперь уже бывшим озером) Карачай, куда слито 120 млн. кюри радиоактивных отходов. Очень жарким летом 1967 года озеро подсохло, и с образовавшейся береговой кромки смерчем было разнесено около 6 тыс. кюри единиц активности радионуклидов. В итоге облучено 41,5 тыс. человек, в основном проживающих на тех же территориях, что попали под ВУРС-57.

До 1989 года — до выборов народных депутатов СССР — вся эта информация была совершенно засекреченной. Лишь после того, как депутатам от пострадавших областей были даны конкретные наказы — изучить последствия предполагаемого строительства Южно-Уральской АЭС, — началось скрупулезное исследование радиационной ситуации в этом регионе.

Несколько слов необходимо сказать и о Южно-Уральской АЭС. Предполагалось строительство трех реакторов БН-800, предназначавшихся для сжигания находящегося на территории страны плутония, которого у нас больше всех в мире (25 тонн высокофонового плутония, тогда как международная норма устанавливает «потолок» в 20 т), а также для испарения водоемов с радиоактивной водой. Общая площадь их огромна — 83 км², и в них содержится около полумиллиарда кубических метров радиоактивной воды. После того, как убедились, что от радиоактивной воды люди здоровее не становятся, стали строить дамбы, улавливающие радиоактивную воду, предотвращая ее сбросы в реки Течу, Исеть, Тобол и далее по всему Обскому бассейну. До пе-

реполнения дамб осталось всего 20 см, и это при том, что уровень воды растет на 26 см в год. И если переполнения водоемов пока не происходит, то это лишь благодаря дренажу через обводные каналы в старое русло Течи. Последствия растекания таких масс зараженных вод трудно себе представить.

В отличие от чернобыльской катастрофы ситуация на Южном Урале имеет и ряд существенных особенностей. Так, «озеро» Карачай опасно в трех отношениях. Во-первых, существует угроза разноса радионуклидов с поверхности «озера» в случае сильного ветра или прохождения смерча (в 1991 году смерч прошел всего в 50 км от Карачая и водоемов с радиоактивной водой). Стоит сказать, что в точке сброса отходов излучение достигает 600 рентген в час, то есть за 30—40 секунд можно получить почти годовую норму радиации. Во-вторых, после многолетнего сбрасывания радиоактивных отходов (а их в последнее время сбрасывалось до 24 тыс. $м^3$ ежегодно) опасность представляют сами донные отложения. Специалисты не могут однозначно ответить на вопрос о возможности взрыва «озера» в результате саморазогрева, когда оно, сегодня засыпанное наполовину, лишится воды полностью. Во всяком случае, состав донных отложений примерно такой же, как и в емкости, взорвавшейся в 1957 году. И, наконец, в-третьих, под Карачаем образовалась подземная линза радиоактивных вод объемом около 5 млн. $м^3$ и диаметром до 10 км. Линза, движущаяся со скоростью 84 м в год, уже почти проникла под тело реки Мишеляк на глубину 15 метров. В течение 8—10 лет (а возможно, и ранее) произойдет «разгрузка» радиоактивных вод непосредственно в реку.

Существуют и другие острые проблемы, связанные, в частности, с искусственными радиоактивными водоемами, в отношении которых никогда не учитывался, например, вопрос о сейсмичности в данном регионе. Для справки: экспертами Верховного Совета СССР обнаружено приращивание по сейсмике плюс два балла, усугубляемое наведенной сейсмикой из-за скопления в этих местах огромных масс воды — повторяю, радиоактивной.

Таким образом, в результате деятельности ПО «Маяк» возникает огромное количество радиоактивных отходов — до 180 млн. единиц активности. Если за точку отсчета взять, условно говоря, один Чернобыль (50 млн. единиц), то получается, что ПО «Маяк» нарабатывает три с лишним Чернобыля в год.

Существует и такой весьма щекотливый в нравственном отношении аспект. Терриритория ПО «Маяк» и прилегающие к ней земли являются совершенно уникальными по количеству людей, пораженных до степени хронической лучевой болезни. Нигде больше нет такого числа людей, пострадавших от радиации. Такое положение — 40 лет жизни на зараженной территории — вызывает сейчас пристальное внимание международных научных и медицинских кругов. Также и огражденный колючей проволокой «заповедник» ВУРС-57 является для иностранных исследователей единственным в своем роде «полигоном».

В заключение, для полноты картины, следует подчеркнуть, что количество радиоактивных отходов не идет ни в какое сравнение с чернобыльскими: если в Чернобыле загрязненность измерялась в 50 млн. кюри, то на Южном Урале она достигает 1 млрд. 200 тыс. кюри. Комментарий, думаю, излишен.

М. ВАВИЛОВ,

председатель Православного научного центра «Фаворъ»

Думаю, что при обсуждении обозначенной катастрофической ситуации не хватает еще одной, особой точки зрения. Эта точка зрения — Православность. Не находясь на ней, любой профессионал невольно грешит чрезмерным упованием на человеческие силы, когда он считает, что в конце XX века и «мирный» атом подвластен человеку, и «мирный» космос покорен. Можно ли надеяться даже на самый высокий профессионализм и «мудрость мира сего» ученого?

В то же время не нужно думать, что опыт специалистов следует огульно отвергать. Вовсе нет! «Истинная наука не исключает веру и не разрушает ее (...) Русской интеллигенции предстоит великая творческая задача — внести дары христианства в научное исследование и утвердить христианство светом истинного научного знания», — писал И. А. Ильин.

Попытаемся, встав на православную точку зрения, взглянуть на феномен радиации как на овеществленность падших духов (бесов), раздирающих материю живых существ. Примечательно: среди так называемого «выжженного персонала», то есть облученных физиков-ядерщиков число самоубийств на 1/3 выше, чем в остальной человеческой среде. Примечательно и то, что Южно-Уральская радиационная катастрофа именно в три раза превышает знаменитую чернобыльскую «горькую полынь». «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде п о л ы н ь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» (Откр. VIII, 10—11). Падший ангел Сатанаил увлек за собою в отпадение от Бога 1/3 ангелов.

Сделаем некоторые обобщения.

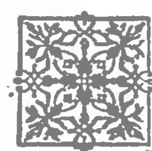
Опасность облучения миллионов людей в результате растекания массы радиоактивных вод совершенно реальна и от часа к часу нарастает.

Земля и вода на том же Южном Урале, по существу, непригодны для жизни. Только близ Челябинска, в радиусе около двухсот километров, число облученных приближается к одному миллиону человек, причем большая часть из них находится под прямой угрозой вымирания.

Таким образом, земля превращается в ад на наших глазах. «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откр. IX, 6).

Мы сталкиваемся с доселе неведомой пандемией общепланетарного страха. Если все прежние источники боязни были видимы — враг или зримый образ врага, оружие как носитель смерти, то радиация — это невидимое глазу излучение. К нам вплотную приблизился разрушающий все живое мир духов злобы поднебесных. Человек — ангел земной и тварь небесная — является существом тричастным, состоящим из тела, души и духа. Основное условие спасения тела в условиях радиации — немедленный выезд незащищаемых спецсредствами людей даже с незначительно пораженной территории. Следует соединить усилия Церкви, науки и власти, подчиняющейся православному церковному устроению, для спасения русских — уникального народа, готовящегося к покаянию перед Богом.

Судя по всему, для нашей Русской Православной Церкви сегодня появляется особый вид «выхода за ограду». «Времена изменились, и служение монахов и священнослужителей также изменилось. Еще оптинские старцы открыли двери своих келий для мира...» («Творчество», № 1 (409), с. 3). Нельзя не согласиться и с мнением русского священника в годах, что «...ныне в монастыре, как в миру, а в миру, как в аду».



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ

БЕСКОНЕЧНЫЙ ТУПИК

179. Примечание к № 177

Это безумная заглушенность русского языка, от которой, в сущности, и погиб Чехов.

Гусев умирает от чахотки.

«Начинает его томить какое-то желание. Пьет он воду — не то; тянется к круглому окошечку и вдыхает горячий влажный воздух — не то, старается думать о родной стороне, о морозе — не то... Наконец ему кажется, что если он еще хоть одну минуту пробудет в лазарете, то непременно задохнется.

— Тяжко, братцы...— говорит он.— Я пойду наверх. Сведите меня, ради Христа, наверх!»

Как точно передал здесь 30-летний Чехов свое будущее состояние. В письмах последних лет у него сквозит постоянное ощущение, что его здоровье зависит от погоды, причем фатальным образом. Погода все время плохая, и он мечется по России и Европе, но она его настигает. И все время мечта: вот перееду, а там хорошо, и выздоровлю. На одном месте не мог усидеть больше трех дней. И чем дальше шло обострение болезни, тем больше сужалось пространство. Места начинало не хватать. Он не находил себе места. Все это сопровождалось эйфорией, безумными надеждами. Если сопоставить все высказывания Чехова о своей болезни, то общий тон такой: «Ничего, ничего, уже лучше. Правда, сегодня опять кровь горлом шла, но это ничего, так, пройдет. А вообще хорошо, уже практически выздоровел».

Конечно, в подобном настроении Чехова нет ничего особенного. Это типичные симптомы чахотки. Врач Чехова Россолимо писал по этому поводу: «Туберкулезные больные крайне оптимистически относятся к своей болезни, то игнорируя симптомы ее, то стараясь объяснить явление чем-либо иным, но не туберкулезом, и нередко накануне смерти считают себя совершенно здоровыми».

Но далее Россолимо выразил свое удивление по поводу типичности и выраженности этих симптомов у Чехова — «образованного врача, крайне чуткого человека, обладавшего способностью глубокого анализа и самоанализа».

Суть дела гораздо глубже. Чехова погубила русская заглушечность, уход от вопросов, отказ от мышления. «Ничего не знаю», «я не я, и лошадь не моя».

Антон Павлович писал Суворину накануне болезни:

«Враг, убивающий тело, обыкновенно подкрадывается незаметно, в маске, когда Вы, например, больны чахоткой и Вам кажется, что это не чахотка, а пустяки... Вся исцеляющая природа, убивая нас, в то же время искусно обманывает, как нянька ребенка, когда уносит его из гостиной спать. Я знаю, что умру от болезни, которой не буду бояться. Отсюда: если я боюсь, то, значит, не умру».

Русские заглушки просто убили Чехова. Боязнь фантастики, смерть и запутанность в заглушечном мышлении. Перед началом болезни, уже при явных симптомах, он вдруг начинает курить сигары. Начал кашлять, но не обращал внимания. Потом заболел и боялся лечиться, посмотреть правде в глаза. Не лечил и кровотечение с 24-х лет.

После первого приступа чахотки его обследовал врач Альтшуллер и ужаснулся: «Я нашел распространенное поражение обоих легких, особенно правого, с явлениями распада легочной ткани, следы плевритов, значительно ослабленную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание».

Но и на этой стадии многое можно было еще поправить. Беда в том, что Чехов отказывался серьезно лечиться, не мог и не хотел поверить в произошедшее. Альтшуллер вспоминал:

«Он упорно заявлял, что лечиться, заботиться о здоровье — внушает ему отвращение. И ничто не должно было напоминать о болезни, и никто не должен был ее замечать... Только с дипломатическими подходами, как будто невзначай или пользуясь случайными поводами, удавалось его послушать и заставить сделать то или иное».

Окончание. Начало в № 1 за 1992 год.

В то же время Чехов понимал все прекрасно. Это странное, чисто русское состояние раздвоенной обреченности, покорное втягивание во влекущий к смерти оговорочный вихрь. И русский в нем кружится, кружится сорванным листком. Все уже сказано, смысл жизни потерян.

Тяжелобольной Чехов сказал Василию Немировичу-Данченко:

«— А N скоро умрет.

— Почему?

— Самого себя обмануть хочет. Вы всмотритесь: рассказывает анекдоты, хохочет, а в глазах у него ужас смерти... Да, впрочем, что ж... Мы все приговоренные.

— С самого рождения.

— Нет я про себя... Мы в первую очередь... Вы еще жить будете, придете сюда, к морю. Сядете на эту скамью. Какая даль сегодня! ...Как жить хочется! ...А в ушах загодя — «вечная память». Иной раз мне кажется, что все люди слепы. Видят вдали и по сторонам, а рядом, локоть о локоть, смерть, и ее никто не замечает или не хочет заметить... Вон N, тот себя одурманивает скверными анекдотами, а ведь он, как и я,— видит ее, видит!»

В «Гусеве» есть персонаж Павел Иванович. Он все говорит Гусеву, что тот смертельно болен, что его использовали, а теперь выбросят. Но сам Павел Иванович тоже чахоточный и умирает за день до Гусева.

Перед смертью Павел Иванович говорит:

«Как сравнишь себя с вами, жалко мне вас... бедняг. Легкие у меня здоровые, а кашель это желудочный... Я могу перенести ад, не то что Красное море! К тому же я отношусь критически и к болезни своей, и к лекарствам».

182. Примечание к № 176

Что же было упущено в Пушкине? — Несерьезность, игра.

Пушкин легок. Разве можно сказать о легком, шаловливом Достоевском, Толстом, Гоголе. Пожалуй, лишь у Чехова иногда мелькало что-то. Некоторые письма его легки и смешны:

«Это не магазины, а сплошное головокружение, мечта! Одних галстуков в окнах миллиарды! ...Ужасно дешевы, так, что их даже я, пожалуй, начну есть...»

Не отсюда ли пошлость и чеховской темы?..

Еще Набоков легок. Сложно легок.

184. Примечание к № 119

И вот уже мичман Раскольников топит в Черном море российский флот.

Как известно, настоящая фамилия Раскольникова — Ильин. Весьма показательно, что в 20-х годах этот прирожденный авантюрист пописывал статейки о Достоевском.

185. Примечание к № 137

Хлестаков — это карикатура на Пушкина

Даже фамилии сходны. Пушкин — Пушинкин, что-то среднее между Хлестаковым-Прутиковым (впоследствии Прутковым) и Тряпичкиным. Это все какие-то ерундовые фамилии.

Но Хлестаков тем не менее творец. «30 тысяч курьеров», они есть, незримо присутствуют на сцене. Ерунда, фат, хлюст, но породил такую фантасмагорию. И все сбылось. Ему верили. Он сам не понимал, что творил миф, что его слова прорастали слишком всерьез. Это и сама история «Ревизора», пьесы, которой так же поверили.

Даже такая ерунда, как Хлестаков способен к абсолютному творчеству, способен к созданию мирового поля мифа. «Что я вру всё». Слова так и льются. Откуда что берется. Абсолютно творческая нация. Где даже полная бездарность — «созидает».

186. Примечание к № 174

В любом случае важно приложить все усилия, чтобы снова не включилась «гоголевская программа».

Возможно, необходим некий Орден Глумливой Адаптации, гасящий чрезмерное развитие личностного начала. Русская личность неизбежно должна существовать, но пускай это будет немножко понарошку.

187. Примечание к № 160

«И от бабушки ушел, и от дедушки ушел».

Розанов писал:

«От всего ушел и никуда не пришел».

И еще:

«Я так мало замешен, «соучаствую миру». Точно откатился куда-то в сторону и закатился в канавку. И из нее смотрю — только с любопытством, но не с „хочу"».

И все-таки у данного колобка — дом, семья, наконец, призвание. Как-то удалось. Моя же сказка, кажется, быстрая. Только выкатился, и сразу лиса «ам» — и съела. Собственно, никакой сказки и нет. Первая ошибка оказалась последней. Меня потратили, «сварили суп». Полный «марксизм».

189. Примечание к № 185

Пушкин-Пушинкин, что-то среднее между Хлестаковым-Прутиковым и Тряпичкиным.

Или возьмем героя «Записок сумасшедшего» — Поприщина. Поприщин — это Батюшков. Нечто неуловимо схожее в этих шипящих фамилиях. Батюшков писал Гнедичу:

«Отгадайте, на что я начинаю сердится. На что? На русский язык и на наших писателей, которые с ним немилосердно поступают. И язык-то по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за «ы»? Что за «щ», что за «ш», «ший», «щий», «при», «тры»? О варвары!»

Это высказывание Батюшкова было хорошо известно, и что сделал Гоголь? Дал вариацию фонетической темы «батюшков», составив ее из этих татарских «при» — «щий».

Это может показаться натяжкой, но вспомним, что бедный Батюшков сошел с ума, и сохранился рассказ врача Дитриха о том, как везли тяжелобольного поэта в Россию. Батюшков смотрел на небо и повторял на итальянском:

«Родина Данте, родина Ариосто, родина Тассо, дорогая моя родина, я ведь тоже художник».

А потом попросил остановить экипаж, бросился на траву и долго и горько рыдал: «Маменька! Маменька!»

«Вон небо клубится передо мной... с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют... Матушка, спаси твоего бедного сына... Матушка! пожалей о своем больном дитятке».

199. Примечание к № 187
Меня потратили, «сварили суп».

Кто виноват? — Я.

Солнцепек. Мыслям тяжело. А объективно что же произошло? — Просто температура мозга увеличилась на 2 градуса. Напекло голову. Но мозг, сам по себе, этого не видит. У него нет же глаз. А со стороны скажут: «Одень шапку». Я даже не пойму, о чем это.

Только косвенно, вторым зрением немного догадываюсь. Мне дана жизнь. Жизнь. Время — деньги. Я на свое время накупил дешевых пряников и глиняных свистулек. И вот жизнь проходит. Я ее проел на никчемных пряниках. Да и пряники-то не ел, а так, для души покупал — красивые. А платил за это, расплачивался годами убитой, проданной жизни.

Что мне теперь, пудовый пряник-тупик в гроб класть себе? Дур-рак! Какой же я дур-рак! Нет, не знаю. Только догадываюсь (по судьбе отца, например). Если бы точно знал, сошел бы с ума.

200. Примечание к № 85
«Чужие должны доказывать друг другу всякую истину» (Н. Бердяев).

Разве? Разве чужие обязательно враги, обязательно держут камень за пазухой? Это русская мысль. Отсюда особенности русского рационализма.

Русский трезвый ум, русский ученый — это прежде всего невыносимейшее начетничество и догматизм. Славянский ум сводится к рассудку. У немцев рассудочность очень обаятельна, сентиментальна, культурна. Для немца само мышление трагично. Это послушание, отказ от плотских радостей, бессонные ночи, юношеский порыв, любовь к учителю (первый монолог Сальери).

Конечно, Гегель догматик, но догматик красивый и человечный. Это кажется для русского оговоркой, но я повторяю: красивый и человечный догматик.

Или возьмем психоанализ. Фанатик психоанализа своим догматизмом людей лечит.

И английский и даже французский догматик тоже нечто широкое и по сути вовсе не догматичное. Но русский... Русский психоаналитик. Бр-р-р! Да он здорового с ума сведет. «Выучишь от сих до сих» и «я тебе добра хочу».

Для западного человека форма — это форма, но форма не злорадная. Форма, не злящаяся на то, что она форма, а не содержание. А русский:

— Ага, у них справки. Значит, карманы зашивай, а то кошелек свистнут. У меня же нет справки на кошелек.

Он пришел получить выписку из жэка, а там уже не люди. Если нет справки, что он пошел в жэк, они его там, в жэке, убьют и съедят. А чего, кто докажет?! И русский начинает «доказывать». Карандаш на веревку, кружку на цепь.

Русский химик или физик, русский экономист, русский юрист, русский историк (не историософ, а фактограф) — это, как правило, нечто невыносимое. Еврей-ученый — какая веселость, ироничность, легкость, свобода. И чем «ученее», чем позитивнее и техничнее, тем легче, лучше. А русский — зуда. И зудит, зудит, зудит. Тупость чудовищная. Утилитарный абстрактный ум. Грубый, славянский. Извилин мало, зато кора толстая. Русский экстраверт — вещь тяжелая, тяжеленькая. И главное, все тянет туда. Это не расовая аномалия, а некоторый русский тип, тип, очень часто встречающийся.

Конечно, тип догматика груб всегда. Но западный тип получил удивительное религиозное смягчение. Ведь западная наука возникла из богословия. Русская наука с самого начала развивается как нечто диаметрально противоположное. То есть прежде всего как нечто некрасивое. Русский ученый безобразен. И где вы видели в русской литературе образ ученого? Ну-ка, поищите. В серебряном веке разве, в чертовщине стилизаций Белого. Нет, следовательно, самого национального типа ученого. И существование русского в науке возможно только за счет серьезного обеднения личности.

202. Примечание к № 182
Некоторые письма его легки и смешны (о Чехове).

Впрочем, самое легкое письмо Чехов не написал, а получил. В мае 1900 года от князя Урусова:

«Я по болезни никуда не могу выходить, сижу дома, но не развожу нюней и думаю себе — ну Ваганьково, так Ваганьково. Врачи, однако, утверждают, что нет непосредственной опасности для жизни. И в самом деле, затяжное воспаление по соседству с головным мозгом — что тут опасного».

Письмо это Чехов получил уже с того света.

203. Примечание к № 178
в сцене пародийной и отвратительной, типично русской «литературной дуэли».

Несомненно, что русская литература все-таки началась с реализма. Первым реалистом был Пушкин. Но в результате — запутался, превратился в порожденного им Онегина и в реальности убит Ленским. Первое чувство на снегу — удивление: «Как же так? Онегин убит? Пустите меня!»

Далее Лермонтов. Опять романная дуэль и альтер эго писателя — Печорин — наповал убивает своего противника. И снова реальность, не тратя время на нравоучения, бьет без промаха, в грудь.

После этого простых, «реальных» дуэлей в литературе уже не встретить. От самой темы, столь привлекательной (диалог-расправа), отказаться было невозможно, но и у Тургенева, и у Толстого, Достоевского, Чехова, и дальше, мельче (Куприн и др.) дуэль уже всегда оговорочна, пародийна. По крайней мере — неудачна. Соответственно в реальности у всех писателей (кроме осторожного Чехова) дуэли, но дуэли так почему-то и не состоявшиеся, как-то рассосавшиеся или расстроившиеся.

В «Двойнике» у Достоевского Голядкин вызывает своего двойника (то есть литературный персонаж в известном смысле) на дуэль, но затем превращает вызов в нечто совсем иное, сюрреальное:

«Дайте мне это письмо, чтоб разорвать его, в ваших же глазах... или если уж этого никак невозможно, то умоляю вас читать его наоборот,— совсем наоборот, то есть нарочно с намерением дружеским, давая обратный смысл всем словам письма моего».

204. Примечание к № 182
пошлость чеховской темы

Чехов сам еще в молодости ощущал удивительную пошлость происходящего с ним. Писал:

«Как ни стараюсь быть серьезным, но ничего у меня не выходит, и вечно у меня серьезное чередуется с пошлым. Должно быть, планида моя такая...»

206. Примечание к № 178
Гумберт настиг похитителя Лолиты, но никак не может его убить из-за зарослей языка, в которых его «я» путается и растворяется.

Погоня Гумберта за похититнлем превращается в филологичеекую охоту. Он пытается установить маршрут беглецов путем разгадывания анаграмм и ребусов, оставляемых Куильти в гостиничных книгах придорожных отелей. Драматург-похититель превращается в язык, в драму русского языка. Нерусскость ситуации лишь в том, что Гумберт борется и даже побеждает, правда, ценой собственной жизни. Это, конечно, западный тон. «Камера» здесь более русская.

209. Примечание к № 202
«ну Ваганьково, так Ваганьково» (из письма Урусова Чехову).

Розанов писал в начале «Опавших листьев»:

«Что значит, когда «я умру»?

Освободится квартира на Коломенской, и хозяин сдаст ее новому жильцу.

Еще что? — Библиографы будут разбирать мои книги.

А я сам?

Сам? — ничего.

Бюро получит за похороны 60 руб., и в «марте» эти 60 руб. войдут в «итог».

Розанов умер в феврале.

212. Примечание к № 189
Поприщин — это Батюшков.

Собственно, среди персонажей русской литературы два великих сумасшедших: Поприщин и Иван Карамазов. Не является ли первый прототипом второго? Из поприщинских записок:

«Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: Поприщин! — я ни слова. Потом: Аксентий Иванов! Титулярный советник! дворянин! — Я все молчу.— Фердинанд VIII, король испанский! — Я хотел было высунуть голову, но после подумал: нет, брат, не надуешь! Знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову. Однако же он увидел меня и выгнал палкою из-под стула... Великий инквизитор... ушел от меня разгневанный и грозя мне каким-то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бессильною злобою...»

Тогда Поприщин превращается в Иисуса Христа. Удивительно, что пародия предшествовала серьезному тексту, что, следовательно, пародия была серьезнее основы, и что вообще литературный процесс развивался в России «наоборот».

213. Примечание к № 203
в реальности у всех писателей дуэли, но дуэли так почему-то и не состоявшиеся

Частным ответвлением писательского мифа является тема невинного убиения русских писателей. Основы тут опять же заложил Пушкин. Сразу же после злополучной дуэли современники дали этому совершенно частному, совершенно личному, интимному событию соответствующую мегаломаническую интерпретацию. «Царское правительство убило нашего Сашу». После этого «царизм» убивал Лермонтова, специально заражал чахоткой Белинского, сбрасывал пьяного Гаршина в лестничный пролет, доводил до самоубийства Надсона. Стоило кому-нибудь, самому незначительному писателю, дать самый незначительный повод для соответствующего умозаключения, как тут же подымался плач: «Нашего Ваню (Колю, Петю, Мишу) убили».

Столь оглушительная пошлость похорон Льва Толстого во многом вытекала из идеологического сбоя. При «отлучении от церкви», при «травле в печати» все же считать смерть 82-летнего писателя, умершего от простуды на вершине своей славы,— считать смерть эту «очередным убийством» (да еще на фоне всем известных семейных дрязг) не получалось никак. «Гражданская скорбь» не получилась, выглядела фальшивой. Ведь, по сути, смерть Толстого вообще была счастливой. Глубокий старик, до конца дней своих сохранивший ум и бодрость духа, умер легко без мучений. Чего уж тут особо убиваться. Даже для родных это горе — горе спокойное, светлое, мудрое. «Всем бы такую жизнь прожить, всем бы нам так умереть».

Но мифы осуществляются. И вскоре русским писателям была предоставлена возможность в максимальной степени удовлетворить свои романтические потребности. И удовлетворить в максимально реалистичной, по-русски реалистичной форме. И в том числе и семье Толстого.

221. Примечание к № 203
Голядкин вызывает своего двойника (то есть литературный персонаж в известном смысле) на дуэль.

В смысле «литературизации» дуэли еще дальше зашел Чехов. В «Трех сестрах» подражающий Лермонтову Соленый в дуэли счастлив. Правда, дуэль бессмысленна, идиотична. И сам Соленый — пародия на Печорина.

224. Примечание к № 46
(признание собственной гениальности) **есть для меня выражение максимальной степени собственной ничтожности.**

Полупарализованному отцу дали I груп-

пу инвалидности. А мать (20 лет совместной жизни не прошло даром) сказала (чтобы его не пугать), что ему II группу дают, но она будет добиваться первой. Отец поверил. Потом всё просил позвонить, чтобы помогли с оформлением документов. Мать: «Да ты не волнуйся, все будет в порядке. Что они, не люди, что ли?» А отец кривился, волнуясь, очень членораздельно (речь он вообще почти потерял), с издевательскими модуляциями, сказал: «А-а, пшел, иди, иди». И, лежа в тренировочном костюме на диване, выразительно дрыгнул ногой. Получилось более чем красноречиво. И, покраснев, закричал: «Ни-а-му не уужоо! Не-нуужо!!!» Это я очень хорошо запомнил. Да и раньше, с самых начатков самосознания, относился к реальности до циничности трезво. Поэтому идея собственной гениальности не только никогда не приходила мне в голову ни в 15 лет, ни в 20, но и вообще идея самой возможности какой-либо субъективной (то есть не манифестирующей, «без документов») оценки априори ощущалась как нечто постыдное, глупое и нелепое. Возможность таких оценок у других сразу вызывала у меня механическую равнодушную улыбку. Человек, как-то оценивший себя, моментально вываливался из ценностного мира — «дурачок». Тема же «гениальности» вообще не имела для меня никакого смысла, так как и не могла не быть субъективной оценкой.

Я никогда не считал себя гением. Но я всегда вёл себя как гений. И лишь потом ужаснулся, нащупав подсознательное определение своего поведения. Я веду себя так, как если бы я был... Что двигало мной всю жизнь? — уверенность в собственной избранности. Уверенность такая абсолютная, такая внедренная в самый центр моего существа, что я ее даже не сознавал. И не испытывал какой-либо нужды в доказательстве себе этой первичной интуиции. Всегда я ощущал себя выше прочих смертных на два порядка. Так полно и органично, что никогда не испытывал пренебрежения к окружающим. Марсель Пруст сказал, что самые демократичные люди в мире — это короли. Они настолько выше своих подданных, что им все равно, герцог перед ними или простой крестьянин. Для него, короля, и тот и другой равно его подданные. Более того, он может как угодно нарушать этикет и, скажем, начать рубить дрова вместе с дровосеком. Все равно это ничего не убавит и не прибавит к его авторитету, ибо этот авторитет абсолютен, бесконечен. Отсюда всегда спокойное, ровное и мягкое обращение. И вот я, крыса номер миллион такой-то, мнил и мню себя королем. Я когда понял это, то даже не знал, что мне делать, смеяться или плакать. Такой нарциссизм при полном ощущении собственной ничтожности, и прямо-таки ленинской никчемности. Что получилось? Парадокс: я всегда себя очень высоко ценил, но очень низко оценивал. Я думал: моя жизнь обладает для меня высшей ценностью, но в глазах окружающих я не имею никакой цены.

Откуда это во мне? Однажды родственника забрали в армию, а мать говорит: «Так ему и надо. Куда его еще».— «Ну как же, жалко. Так бы он сейчас в институте учился. Вот если бы меня забрали?..» А мать: «Ты не для этого рожден». И так спокойно это сказала, просто. Я ушам своим не поверил. Для чего же я рожден? У ней мысли какие-то. Да не мысли — никогда не высказывались и не было,— а просто глубочайшее, совершенно слепое и иррациональное убеждение. Я ее сын. А на моем фоне где-то там, вдалеке, движутся по своим орбитам планеты, рождаются и гаснут звезды, взрываются галактики. Их за мной даже и не видно. А может быть, и нет вовсе. А я — вот он, пожалуйста.

Я все про отца, про отца писал, а про мать-то и забыл. Мама с детства мне две присказки повторяла. Первая, что если умному говорить, что он дурак («Уй дурак, уй-уй идиот, что делаешь, что, ну-у дура-ак, я много дураков видел, но такого...»), то он и вправду дураком станет. А если глупому говорить, что он умный, он, глядишь, и вправду поумнеет. И тут всегда в пример ставила евреев. А вторая присказка тоже толстовская: сын рассердился на мать, ударил ее, испугался и побежал. А мать ему кричит вдогонку: «Смотри, сынок, не оступись!» Это она часто повторяла, и я хорошо запомнил. А сказки мне все отец рассказывал. Мать не умела, если только по книжке.

Отец у меня на «-ский», а мать «-ова». Со стороны отца все родственники, и сам он, это золотые рыбки мохнатые: то с выпученными глазами, то с плавниками гигантскими, то с хвостом каким-то необыкновенным, разноцветным. Все яркие, а плавают плохо, чуть ли не кверху брюхом — художество перевешивает (и мелкое художество). А мать — настоящая золотая рыбка — серенькая, неприметная. Но та самая, от которой все эти «вуалехвосты» и «телескопы» вывелись и без крови которой они в два-три поколения соскользнут в бессмысленное уродство и вообще выродятся. Разум, «художество» и страшное искажение —от отца. От матери — удивительный, безрассудный запас силы и способности к смирению. Отец — недоверие, злоба, неверие в себя. Мать — алогичная доверчивость. Я не знаю, как точнее сказать. Наверно, так:

Лжив ли русский народ? Совсем нет. Понятие «лжи» предусматривает наличие «правды». Лгун знает правду. Русские же как-то не совсем различают эти понятия. Получается нерасчлененная «правдаложь», когда всё воспринимается на веру и сказанное отождествляется с существующим (и наоборот). Но при всем этом у русских существует глубокое и абсолютное недоверие к слову как таковому. Они говорят и верят во что-то и живут этим «что-то», но могут в любой момент подняться и уйти куда глаза глядят. Истина и ложь заменяются категориями «много» и «мало». Мало говорят — истина. Много говорят — ложь. (Начинают заговариваться, теряться в слове.) Отсюда русский талант высокого молчания — безмолвствования. Христос Достоевского ничего не говорит Великому Инквизитору. И это Русский Христос. Поэтому никакой лжи в русских нет. Ложь в слове — это не совсем ложь. Так как правда находится не в слове же, а под словом — в молчании.

В моем родительском мифе трагедия художественной природы отца — в страстном желании слова, выговаривания. Мир отца — это русский мир в его болезненном развитии, в усложненном распускании. Молчаливый мир матери не развернут, но очень ненапряжен, естественен. Во мне произошло какое-то перекрещивание. Мир отца стал материей, а материнское начало — формой. Слово — нечто необязательное, и поэтому тут можно не волноваться. Можно, например, взять тему гениальности и начать ее проводить с разными коленцами. Это вторичное и спокойное облагораживание отца.

Вот и эта книга. В сущности, все должно было бы кончиться на первой странице. Ведь только человек, уверенный в собственной гениальности, может взяться за создание метамифологии (то есть мифологии, в которой потенциально возможно существование самосознания) породившей его цивилизации. Я, Одиноков, должен выступить в виде квинтэссенции национальной идеи, выразить ее с максимальной интенсивностью и ясностью. Путь этот есть прежде всего путь собственного унижения, покаяния. Как же его совместить с максимально высокой самооценкой? Поэтому гениальность представлена в виде униженности. Вобрать эту априорную установку внутрь постепенно распадающегося повествования, сделать ее анализ одной из форм этого распада. Конечно, это вызовет общую раскачку текста и все равно окончится неудачей. Но Ницше сказал, что каждая книга — это завоевание, драматическая поза, и, наконец, катастрофа и внезапное искупление. Справедливо оставляя искупление за рамками писательского замысла, Ницше, по его словам, построил «Волю к власти» с расчетом на конечную катастрофу.

В чем же искупление «Тупика»? Может быть, в возможности соотнесения книги с моей вот-жизнью. И сама жизнь, ее сегменты, будут соотнесены. А это и есть конечная цель любого существования.

230. Примечание к № 224

Получается нерасчлененная «правдаложь».

Юнг писал: «Индусы и китайцы способны интегрировать так называемое «зло», не «теряя лица». На Западе мы не можем этого делать. Для восточного человека проблема морали не кажется занимающей первое место, как это обстоит с нами. Для восточного человека добро и зло являются имеющими смысл компонентами природы и представляют собой просто варьирующие степени одного и того же. Я видел, что в индийской духовности содержится столь же много зла, как и добра. Христианин стремится к добру и поддается злу, индус чувствует себя вне добра и зла и стремится достичь соответствующего состояния медитацией или йогой... в индийской духовности отсутствует как зло, так и добро, или же она столь загружена противоречиями, что индус нуждается в нирване, освобождении от противоположностей и от десяти тысяч вещей. Целью индуса является не моральное совершенство, но состояние нирваны».

Западно-восточная природа русских заключается в том, что в жизни, в слове, они недостаточно различают добро и зло, хотя различение это все же гораздо сильнее, чем на Востоке. С другой стороны, как и для восточного человека, для русских характерен уход от нравственной дилеммы. Но уход означает и ее решение, ибо вне социальной ситуации дихотомия добра и зла наконец проявляется. «Освобождение от противоположностей» реальности выявляет идеальную противоположность — христианское чувство вины и ответственности. Таким образом, мистерия добра и зла наиболее законченно переживается именно на русской почве, хотя с точки зрения не мистической, а, так сказать, вербальной, конечно, упрек Запада в азиатской природе русских верен.

234. Примечание к № 46

Трагедия без грана трагического — это трагедия абсолютная.

Самая страшная трагедия — отсутствие какой-либо трагедии. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые».— Не знаю. Отсутствие внешних событий — грустных и радостных — лишь обнажает внутренний трагизм жизни. Жил-жил человек, потом умер. И всё. Это трагическая основа жизни. А все эти социальные, бытовые и интеллектуальные «катаклизмы» — ерунда, мельтешение. Собственно, самая страшная и кристально чистая, кристально монотонная трагедия — это простая жизнь. Трагедия Шекспира — лишь осложнение и украшение, частность, интересные варианты. Изначальная трагедия — это наша жизнь. «Минуты роковые» мира лишь отвлекают человека от его индивидуальной трагедии.

Моя жизнь удивительно трагична. А собственно говоря, трагических событий в ней нет. Смерть отца только. Но ведь это тоже так банально, так естественно мелко. Внутри же для меня моя жизнь удивительно трагична. Реквием. Но никаких проявлений нет, и никто этого не узнает. Возможно, я необыкновенно поглощен собой и очень в себя вдумался, вчувствовался. Ведь трагедия — это, собственно, не само несчастье, а его сознание. Но на пределе осознания любое событие трагично. И вот это ощущение трагичности жизни как таковой прорывается в сознание тоской по подлинной, настоящей трагедии. Трагедии, осуществившейся в реальности.

240. Примечание к № 135

бунт против реальности именно за счет ее утрированной, ненормальной прорисовки на манер Толстого.

Толстой в «Воскресении» следующим образом описывает христианское богослужение:

«Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь Бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому

мешал иедетый на него парчовый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нем. Самое же главное действие было то, когда священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и поэтому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью».

Подобные отступления в своих романах Толстой обставлял особенной торжественностью, ибо в них предполагалось делание из слов реальности, то есть правды. Несмотря на, а точнее, благодаря диаметрально противоположной посылке, Толстой пришел к чисто иудейскому взгляду на мир.

Лев Николаевич переписывался с Соловьевым. В принципе, он мог это делать на иврите (Соловьев учил язык с Гецом, а Толстой с Минором). В одном из писем Толстой писал:

«Я вперед знаю, что если Вы, Владимир Сергеевич, выразите то, что Вы думаете об этом предмете (о «еврейском вопросе».— О.), то выразите и мои мысли и чувства, потому что основа нашего отвращения от мер угнетения еврейской национальности одна и та же: сознание братской связи со всеми народами и тем более с евреями, среди которых родился Христос и которые так много страдали и продолжают страдать от языческого невежества так называемых христиан».

Если среди евреев родился Христос, то, можно добавить теперь, среди русских родился Антихрист. И он не забыл «глыбу», «матерого человечища». В полуразрушенной и оскверненной Оптиной пустыни, в Ските (самом святом месте, монастыре в монастыре), в алтарной части церкви повесили большой портрет Толстого. Отлученного от церкви.

Розанов сказал о Толстом:

«Чего хотел, тем и захлебнулся. Когда наша простая Русь полюбила его простою и светлою любовью за «Войну и мир»,— он сказал: «Мало. Хочу быть Буддой и Шопенгауэром». Но вместо «Будды и Шопенгауэра» получилось 42 карточки, где он снят в 3/4, 1/2, в фас, в профиль и, кажется, «с ног», сидя, стоя, лежа, в рубахе, кефтане и еще в чем-то, за плугом и верхом, в шапочке, шляпе и «просто так» ...Нет, дьявол умеет смеяться над тем, кто ему (славе) продает свою душу. «Которую же карточку выбрать?», говорят две курсистки и студент. Но покупают целых три, заплатив за все 15 коп.».

Вместо Шопенгауэра получился «наш советский Шопенгауэр». В мешке с рукавами.

Но последний штрих. В Оптиной повешена полутораметровая фотография Толстого. «За 15 коп.» Признайтесь же, что в русской истории есть странная эстетика договаривания. Кажется, ну хоть на этот раз, хоть в эту сторону язык не высунется. А он р-раз — и высовывается. «Великий и могучий русский язык». Во какой. В нашей истории все языки высовываются. Миллиард языков. Может, русская идея, ее лучший биоморфный образ, это ежик такой из языков. Он плывет в океане истории на языках.

241. П р и м е ч а н и е к № 135
Станиславского тут даже жалко

Чехов всегда испытывал к театру пренебрежительное отношение. А фразы «театр — это школа», «театр — это храм» заставляли его хохотать. Он с юных лет насмотрелся на актеров, на театральные нравы и сделал для себя соответствующие выводы:

«Современный театр — это сыпь, дурная болезнь городов. Надо гнать эту болезнь метлой, но любить ее — это нездорово. Вы станете спорить со мной и говорить старую фразу: театр — школа, он воспитывает и прочее... А я Вам на это скажу то, что вижу: теперешний театр не выше толпы, а, наоборот, жизнь толпы выше и умнее театра; значит, он не школа, а что-то другое...»

«Театр, повторяю, спорт, и больше ничего... в театр, как в школу, без которой нельзя обойтись, я не верю».

«Актеры никогда не наблюдают обыкновенных людей. Они не знают ни помещиков, ни купцов, ни попов, ни чиновников. Зато они могут отлично изображать маркеров, содержанок, испитых шулеров, вообще всех тех индивидуумов, которых они случайно наблюдают, шатаясь по трактирам и холостым компаниям».

Разве что к актрисам Антон Павлович был неравнодушен. Онн его волновали как мужчину. Делился по этой части впечатлениями с Сувориным:

«Помнится мне одна 19-летняя, которая лечилась у меня и великолепно кокетничала ногами. Я впервые наблюдал такое умение, не раздеваясь и не задирая ног, внушить вам ясное представление о красоте бедер. Впрочем, Вы этого не понимаете. Чтоб понимать, нужно иметь особый дар свыше».

Симпатия к актрисам понятна. Женщин Чехов не любил, но испытывал к ним влечение. Актрисы же — это самые женственные женщины, средоточие всех женских пороков, так волнующих мужское воображение. У Чехова в письме к Кннппер промелькнула фраза:

«Добродетельных играют только бездарные и злые актрисы».

Женщина тварь, но она должна быть красивой и смешной, толстой и счастливой. Это должна быть законченная сволочь, и я ее за это буду любить, как охотник любит матерого волка. Книппер покорила пьяного от чахотки Чехова своей матеростью. Девочка в гостях сказала: «Какая тетя Оля красивая! как наша собака». Чехов был в восторге и всегда любовно звал жену собакой. Удивительно точно. Волчица, овчарка немецкая. Умная сука. Она искренно Чехова любила. Любила за эту его удивительную любовь к себе. Его вообще женщины любили. Им нравилось глубокое презрение к ним, да и вообще к людям:

«И женщина и мужчина пятак пара, только мужчина умнее и справедливее».

Из записных книжек:

«Когда женщина любит, то ей кажется, что предмет ее любви устал, избалован женщинами — и это ей нравится».

242. П р и м е ч а н и е к № 240
«священник равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него парчовый мешок, поднимал обв руки квархув (Л. Толстой).

Образ департамента в русской классике: что-то пишут, а потом умирают. А начальство хулиганит.

Я работал на заводе — наш участок был целым миром. Ну, мирком по крайней мере. А посмотреть на департамент, министерство. Адмиралтейство. Оформление кабинетов, общих залов. Какая сложная, величественная и загадочная жизнь. И ложа «Трех Нептунов». Акакий Акакиевич, а наденет балахон, и столоначальник перед ним крыса. Тут сложнее все.

Бунин написал в 1918 году:

«Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали,— всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»

Были в XIX веке партсобрания, но в 1000 раз сложнее. Пасха и 1 мая — такой вот перепад. Русская литература не знала этого. Гоголь и не хотел знать. Начало «Шинели»:

«В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте... Итак, в одном департаменте служил один чиновник».

И чиновнник этот переписывал бумаги. Какие? Чувствуете реализм русской литературы? Толстой обмакивал перо в чернильнницу и, близоруко уткнувшись носом в бумагу, что-то быстро-быстро писал. Потом встал, крякнул, подпрыгнул, несмотря на то, что этому мешал надетый на него мешок, и снова сел за стол. И снова стал много-много писать. Сущность «писания» состояла в том, что предполагалось, что слова, при известном способе нанесения на бумагу, превращаются в действительность.

И вот результат: пушкинская эпоха, гоголевский период, Лев Толстой как зеркало... Россия XIX века, ее сложность и богатство превратились в «одну страну», в пустоте которой летают пушкины и гоголи и её эту пустоту, «описывают». Действительно, еслн оценивать русскую жизнь того времени с точки зрения литературы, то и вправду окажется, что России-то и не было. В России историю заменила литература. До сих пор в нашей стране не написана история XIX века. Такой книги нет. Я не говорю об уровне — хоть что-нибудь. Ннчего. Зато изданы полные собрания сочинений и писем нескольких десятков писателей. Толстого в 90 томах издали. Это больше, чем весь Брокгауз — самая объемистая русская энциклопедия. И если бы хоть там что-нибудь. Но там: «один департамент», «парчовый мешок». Загадочная страна. Иногда кажется: а была ли Россия? может быть, ннкакой России и не было?

250. П р и м е ч а н и е к № 212
«Поприщин!.. Аксентий Иванов! титулярный советник! дворянин!.. Фердинанд VIII, король испанский!..» (Н. Гоголь).

В детстве, стоило кому-нибудь на улице крикнуть, например, «Володя!»,— как я сразу же оборачивался. Хотя звали меня вовсе и ие Володей. Думал: может, меня, может, имя перепутали. Кого же еще звать могут? Вот и сейчас. Сколько лет прошло. Но скажут громко, например: «Соловьев»,— и я сразу вскидываю голову.

255. П р и м е ч а н и е к № 240
в алтарной части повесили большой портрет Толстого.

Чтобы появился Герострат, необходимо было построить сложнейший храм. Чтобы было что сжигать. Но храм Артемиды Эфесской — это ведь еще относительно слабый уровень духовности. А вот какая-нибудь святыня христианская... Икона чудотворная... И она в храме, а храм в монастыре, а монастырь в святых местах, в святой округе. В чистом сосновом бору. И деревья даже растут кругами, наклоняются верхушками к центру. Люди едут с миллионов кв. верст сюда, в какую-нибудь Оптину пустынь. Часто пешком. И вот в самый центр, на икону — плюнуть. А? Подрисовал угольком усы на рекламе — штраф 15 копеек. А тут — смерть. И смерти мало. Потому что плевок в самую душу народа.

Как хрупко, хрупко все. Чем святее, тем беззащитнее. Чем выше культура, тоньше, тем она ранимее и тем выше, тем жирнее зло.

И вот инквизиция, иезуиты. Пустили масоны уточку мальчику семилетнему: «Вот картинка. Иезуиты. Они плохие». Слышишь, запоминай: «Дядя плохой». Ни истории инквизиции, ни сил, против которых она боролась. Этого русским знать не полагалось. Объяснили про прогрессивных ведьм, которых реакционные монахн пытали и ели. Ну, понятно, где в Европе XVI века образование, где библиотеки, где сконцентрированы наиболее образованные люди? Конечно, не в монастырях! Монастыри душат культуру, мучают грамотных и культурных поселян.

В одной из ранних работ Соловьев проговорился в примечании:

«Известно, что когда римский престол под невыносимым давлением европейских правительств, управляемых франкмасонами, решился упразднить иезуитский орден, во всем мире одна Россия дала убежище гонимым монахам, и под могущественным покровительством Екатерины II они могли сохраниться как учреждение до своего официального восстановления Пием VII».

Тут бы и вступиться правдолюбцу-то. Ведь принял католичество. Указал бы на подлинную трагедию, на работу масонской разведки в среде католического духовенства. Рассказал бы о том, как центр западной культуры был постепенно перерожден. Рассказал бы о сожженой на кострах инквизиции. Нет, Соловьев был поумней!

261. Примечание к № 240
«Хочу быть Буддой и Шопенгвуэром» (В. Розанов о Толстом).

Мережковский писал об отлучении:

«Определение Синода о Л. Толстом имеет... огромное и едва ли... сейчас вполне оценимое значение: это ведь в сущности первое, уже не созерцательное, а действенное и сколь глубокое, историческое соприкосновение русской церкви с русскою литературою пред лицом всего народа, всего мира».

Толстой после Гоголя единственный русский писатель, взявшийся за разработку богословских проблем. Но у Гоголя все же осталась христианская точка зрения — в этом его трагедия. У Толстого — сплющенное, невежественное, архаичное язычество. Однако он искренен. Толстой вывернул на всеобщее обозрение изнанку русского писателя и русского писательства. Подоплеку. Я уверен, что если бы Набоков вместо энтомологии увлекся богословием, он написал бы что-то аналогичное.

262. Примечание к № 77
Бог знает обо мне, видит.

В том-то и дело, что не видит и не знает. Отсюда униженное, нелепое шныряние по коридорам, навязывание всем своих рукописей. «Русский с орденом» — сниженный вариант этого феномена — «русский с рукописью». Это орден, но необычный, неизвестный (что-то вроде «Льва и Солнца»), и его надо всем назойливо объяснять: «Это тебе не хухры-мухры, это, батюшка, орден».

Я некрасивый, нищий и меня продали в ничтожества. Но я необыкновенный, гениальный. И могу за счет этого все прекрасно изменить. Однако моя необыкновенность не продается. Она хороша для наследных принцев, миллиардеров. Ее нельзя реализовать. Это как волшебник, который ничего для себя лично сделать не может, хотя бы чего-нибудь косвененькое. Он сам околдован своим колдовством и не в состоянии даже просто убедить окружающих в том, что он это он — волшебник. Ему никто не верит. Так уж лучше помалкивать.

264. Примечание к № 261
Толстой вывернул на всеобщее обозрение изнанку русского писателя и русского писательства.

Соловьев смеялся над Ницше:

«Оставаясь все-таки филологом, и слишком филологом, Ницше захотел сверх того стать «философом будущего», пророком и основателем новой религии. Такая задача неминуемо приводила к катастрофе, ибо для филолога быть основателем религии так же неестественно, как для титулярного советника быть королем испанским. Говорю не о расстоянии рангов, а о различии естественных способностей. Хорошая филология, без всякого сомнения, предпочтительнее плохой религии, но самому гениальному филологу невозможно основать хотя бы самую скверную религиозную секту».

Только не в России. У нас Толстой преспокойно основал новую религию, новую

церковь. И сделал это просто. Без напряжения. Естественно.

Теперь учтите, что Толстой из русских писателей первой величины самый позитивный, самый реалистичный. Поэтому в нем общий **процесс** и открылся с удивительной наивностью. Вся русская литература — это огромный Толстой (неизмеримо более сложный), а то, что произошло после 1917 года,— это увеличенное в миллион раз толстовство, продукт Толстого, умноженного на Пушкина, Гоголя, Достоевского.

Соловьев не избежал общей участи. Собственно, говоря о Ницше, он сказал только о себе. Правда, из-за его органической враждебности русскому слову, Соловьев создать ничего не сумел. Но общий замысел был тот же. И сухая форма удалась даже лучше (соловьевство). Не секта, а схема секты, мундир несуществующей армии.

271. Примечание к № 264
[соловьевство]. Не секта, а схема секты.

Фраза из «Чтений о богочеловечестве»:

«Свободным актом мировой души объединяемый ею мир отпал от Божества и распался сам в себе на множество враждующих элементов: длинным рядом свободных актов все это восставшее множество должно примириться с собою и с Богом и возродиться в форме абсолютного организма».

«Философия всеединства» Соловьева и направлена на объединение множества филологических элементов в единое целое. Гегельянство было уже из-за специфики немецкого языка (всегда «становящегося») занято в основном созданием словесной модели акта порождения. Соловьев сконцентрировал свое внимание на завершении. В акте творения Гегель подражал Богу. Разумеется, в этом есть нечто дьявольское. Нечто. Но вот Соловьев в сущности захотел свернуть мир внутрь, исправить пошатнувшийся космический порядок, что ли. Но проблема неоплатонизма — это проблема человекобожия. С точки зрения неоплатонизма, совершенно не ясно, зачем это Единое распалось на множество отдельных вещей. Внутри христианства этой проблемы не существует. Но и для неоплатонизма, и для христианства тем более непонятно, зачем множество должно снова слиться в нечто единое. Зачем? С точки зрения человеческой, это уничтожение. С точки зрения христианской, дело не человеческое, а божественное, уму нашему недоступное.

В своих воспоминаниях о юности Соловьев с кокетливой иронией писал:

«Я был тогда отчасти славянофилом и потому, хотя допускал, что немцы могут упразднить вселенную в теории, но практическое исполнение этой задачи возлагал исключительно на русский народ, причем в душе я не сомневался, что первый сигнал к разрушению мира будет дан мною самим».

И далее Соловьев вспоминает свою беседу со сверстником-нигилистом:

«Мы были вполне согласны в том, что существующее должно быть в скорейшем времени разрушено. Но он думал, что за этим разрушением наступит земной рай, где не будет бедных, глупых и порочных, а все человечество станет равномерно наслаждаться всеми физическими и умственными благами в бесчисленных фаланстерах, которые покроют земной шар,— а я же с одушевлением утверждал, что его взгляд недостаточно радикален, что на самом деле не только земля, но и вся вселенная должна быть коренным образом уничтожена, что после этого если и будет какая-нибудь жизнь, то совершенно другая жизнь, непохожая на настоящую, чисто-трансцендентная... В заключение спора мой противник заметил, что наши теоретические воззрения могут расходиться, но так как у нас ближайшие практические цели одни и те же, так как мы оба «честные радикалы», то и можем быть друзьями и союзниками, и мы с чувством пожали друг другу руки».

272. Примечание к № 271
«Философия всеединства» Соловьева и направлена на объединение множества филологических элементов в единое целое.

Собственно, это «писательская философия». Соловьев максимально абстрактно (и следовательно, максимально прозрачно) выразил идею писательства, и особенно писательства русского. Но словесно неодаренный, он пришел к мучительному и смехотворному результату. Соловьевский синтез (порождение) совершила русская литература как процесс. Закончил его Набоков, в форме уже безопасной, так как сам «акт» был создан до него и Набоков был нравственно свободен. Розанов же из-за своей уникальной в русской культуре философско-писательской природы наиболее близко подошел к осознанию общей программы.

275. Примечание к № 262
униженное, нелепое шныряние по коридорам.

Господи, зачем Ты дал мне разум, волю, жизнь... а веру в Тебя не дал?

276. Примечание к № 262
Он сам околдован своим колдовством.

Например, я, кек и любой философ, провидец. Но что мне делать со своим даром? Провидцы слепы в реальной жизни. Любимым примером этого для меня является второе письмо о философии, написанное Хомяковым Самарину. Развивая некую мысль, Хомяков позволил себе следующее сравнение:

«То солнце, которое меня греет, его уже нет; а то, которое есть, то меня еще не греет; и будет ли греть, неизвестно. Это станет еще яснее, когда вы сообразите, что человек может быть убит другим человеком, который уже был убит прежде его самого».

Когда Самарин получил это письмо, его друг был уже мертв.

278. Примечание к № 276
Когда Самарин получил это письмо, его друг был уже мертв.

Я не перестаю удивляться, насколько Хомякову (да и вообще славянофилам) была чужда категория злорадства. При довольно частом чувстве гнева, сарказма полностью отсутствует ощущение вовлеченности в жестокий ход событий, в некую отвратительную закономерность.

Последним произведением Хомякова было «Послание из Москвы к сербам» (1860 г.), где молодое Сербское княжество (единственное тогда славянское государство после России) на 30-ти страницах отечески наставляется на путь истинный от имени всего славянофильского лагеря. Тон для воинственных самолюбивых сербов нестерпимый. (Впрочем, трудно и представить какую-либо нацию, благоговейно выслушивающую эти елейные проповеди.)

Но прошло 60 лет, и потомки умных славянофилов коллективно подписавших это письмо (в том числе и потомки самого Хомякова), вынуждены были искать приют в Югославянском королевстве.

И прошло еще 60 лет, и Социалистическая Федеративная Республика Югославия оказалась самым цивилизованным, самым передовым славянским государством, у которого «старшему брату» (выражение славянофилов) учиться и учиться.

В начале хомяковского «Послания» говорится:

«Первая и величайшая опасность, сопровождающая всякую славу и всякий успех, заключается в гордости».

349. Примечание к № 176
монументальная пошлость... развития пушкинской темы в русской культуре.

Пушкин — это пошло. Сколько написано о нем, и на всем лежит печать пошлости. Давно уже само слово «Пушкин» вольно или невольно произносится с двусмысленной усмешкой. Имя Пушкина оказалось магическим, заколдованным. Как царь Мидас был наделен рассерженным божеством даром превращать всё в золото, так имя Пушкина кем-то наделено даром превращать всё в пошлость, в бездарность. В советское время это приобрело размах легендарный, но ведь суть была та же и до революции.

Особенно пошла защита имени Пушкина от пошлости. Как попадется на глаза что-нибудь в этом духе, ну, думаешь, автор «вира помалу» основную железобетонную цитату подводит. Сейчас, сейчас цитировать про «судно» начнет. Глядь, и точно, вот она, родимая! Из письма к Вяземскому:

«Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением... Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции.— Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки и т. д., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы,— иначе».

Набоков в «Даре» писал:

И сказанное особенно относится именно к Пушкину, первому русскому гению. Не на один же XVIII век он опирался.

371. Примечание к № 364

Вот таким образом кривлялся, глумился над женским естеством.

«Глумление» произошло от слова «глум». Глум — это шум. И второе значение: забава. Отсюда «глумец» — скоморох. Глумиться — это значит забавляться издевательством над кем-либо, «тешиться». При этом сам глумящийся тоже втягивается в издевательское действо. Он шут, потешный скоморох.

Однако само слово «глумление» очень строгое, красивое и благородное (фонетически). Отсюда его частое использование в высоком штиле благородного негодования: «Мы никому не позволим глумиться над...» В результате в акте глумления есть высшее отстранение: это что-то отвратительное, но одновременно строгое и серьезное. Трагическое и обреченное.

669. Примечание к № 88

Одиноков — 0

Люблю я Брокгауза читать. Всегда что-нибудь интересненькое найдешь. Была даже мысль: написать книгу и так и назвать — «Брокгауз». Выписать оттуда разные места интересные и впечатления о них. Если бы я был свободен, то конечно бы написал «Брокгауз». Еще была мысль написать «Метро» — описание своего пути по нескольким станциям, переходам, эскалаторам — очень точное, до мельчайших подробностей: какого-нибудь надтреснутого плафона или погнутой вентиляционной решетки. Хорошо бы даже с фотографиями. И опять же во что это все в мозгу складывается. То же — сны. Но со снами страшно. Хотя, если бы я был свободен, то что же, ничего бы страшного не было, конечно. Я бы писал, а вечером читал вслух у камина жене и детям.

Как это хорошо: быть интимно, лично нужным, а социально совсем не нужным. Никто не идет мимо и не говорит, что вот «Одиноков плохо лежит»:

— Ты зачем лежишь? А ну-ка, зубы-то у тебя как — крепкие? Иди ими орехи коли. А мы есть будем. И смеяться.

Еще мечта: написать о своем детстве через книги. Какие я в детстве книги и журналы читал и просто разглядывал, когда читать не умел. Все вспомнить, найти что можно в библиотеках, и через это все выстроится.

Это все мечта, мечта.

В Брокгаузе статья «Нолинск». Город сей на месте села Ноли основан в 1764 г. А в 1780 его сделали уездным центром. Какая прелесть: «Нолинск». А кто там живет? «Нолевцы»? «Нолинчане»? Или уж совсем прямо, если по селу название? И губерния хорошая — Вятская (вякающая). А герб какой у Нолинска!

«В голубомъ поле летящий лебедь, которыя птицы, не останавливаясь въ окрестностяхъ сего города, мимо пролетаютъ».

Не останавливаясь! Ат-лична!!!

Город молодой, преданий и легенд никаких, достопримечательностей вокруг тоже нет. И вот увидели — в небе лебеди летят. И много. Или местные рассказали. Но зачем это безнадежное спохватывание, подчеркивание, что именно «не останавливаясь в окрестностяхъ». Нолинск.

А городишко этот вошел в анналы отечественной истории. Местная чрезвычайка осенью 1918 г. опубликовала в центральном органе ВЧК статью «Почему вы миндальничаете», от которой центровые, столичные душегубы сели на пол. После этой статьи журнал чекистов закрыли за зверство. Постановление ЦК РКП(б) от 25.10. 1918 г.:

«В № 3 «Вестника чрезвычайных комиссий» была напечатана статья за подписью Нолинского исполкома и партийного комитета, восхваляющая пытки, при этом редакция в примечании не указала не свое отрицательное отношение к статье нолинцев (а, вот как их — «нолинцы»). Решено осудить нолинцев за их статью и редакцию за за ее напечатание. «Вестник ЧК» должен прекратить свое существование».

— Слушайте, вы, это.. отпустите меня. Я же не нужен в народном хозяйстве. Ну, ладно, покуражились и хватит. Отца отравили, меня чуть не зарезали, руку вот сломали и чуть не оттяпали. В школе сказали: «способности удовлетворительные», то есть в графе «есть ли умственная отсталость» милостиво поставили прочерк. Спасибо. Превратили в психопата. Работать определили ничтожеством. Кажется, хватит. Довольно. Отвели душу, и хватит. Молодцы. Теперь отпустите. Я вот тут бочком, бочком в щелочку пролезу. Незаметненько-с. Хи-хи. И больше обо мне, клянусь, не узнаете. Я как мышка, тихо-тихо. Вот тут.

— Не-е-ет. Не проскочишь. Дурачком прикидываешься? Не выйдет... Как стоишь!!! Руки по швам!!! Я давно-о тебя слушаю, понять хочу, какой ты есть. Что ж ты, гад паясничаешь? Это кто это отца твоего отравил? Никто его не травил, а наоборот, лечили, и лечили бесплатно.

— Что же не вылечили-то?

— Сделали все, что могли. — Рак — болезнь тяжелая. У вас есть сведения, что лечили неправильно, есть замечания по ходу лечения? Нет? Так чего же вы тогда хотите? Потом, извините, но ваш родитель был человек совершеннолетний и сам несет ответственность за свои поступки. Нечего злоупотреблять спиртными напитками. И к нему чутко относились. Вот на работе, в день 50-летия, грамоту дали. И в годовщину разгрома немецко-фашистских захватчиков тоже грамоту. Потом, что это вы там про «зарезали», про «руку»? Демагогией мы вам заниматься не позволим.

— Да это я разволновался. У меня, видите ли, жизнь...

— «Пропала», да? Слышали, слышали и это. Мечтаете «у камина сидеть». А вы в своей жизни хоть одну печку сложили? Месили глину, таскали кирпичи? «В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней». Что же вы обижаетесь, что вас «определили работать ничтожеством»? Во-первых, у нас любой труд почетен, а во-вторых...

— Ой, отпустите меня, а, отпустите. Какое вам дело, я умру, и все. Не все ли равно, где я умру?

— А во-вторых, пожалуйста: «твори, выдумывай, пробуй». «Сто путей, сто дорог». Хочешь «не ничтожеством» — так покажи себя в деле, докажи, на что ты способен... Да ни на что ты не способен. Можешь только исподтишка издеваться над людьми. Еще такие вот обижаются, понимаешь, «не любят их». А за что тебя любить-то? Хлюпик.

— Ну и отпустите.

— Отпусти-ить? Отец у тебя, говоришь? говоришь, «ничтожество»? — так знай: это все только начало еще, тебе еще жить и жить. Это все пока, как это там... прелюдия. Вообще «лучшая часть твоей жизни».

670. Примечание к № 669.

Еще мечта: написать о своем детстве через книги. Какие я в детстве книги и журналы читал...

Миф должен быть прост, обычен. Глубочайшая ошибка — считать миф чем-то экстраординарным, резко выделенным. Нет, миф — фон. Наоборот, гибель мифа начинается с ощущения неестественности происходящего. Познать миф, овладеть им — увидеть необычное в обычном, даже максимально необычное, метафизическое, в максимально обычном, максимально обыденном, максимально физическом.

Даниил Андреев в «Розе мира» писал о мудгабрах, шрастрах, сакуалах, сиайрах, карр̈охах, раруггах, чрольнах и тому подобных «чудестах». Андрееву казалось, что это и есть мистическое и мифологическое постижение мира. Удивительная наивность! Создать миф невозможно. Можно лишь выскользнуть из него. И то лишь отчасти, и лишь из некоторых его измерений, и лишь как случайность, изгиб судьбы. И догадывание о мифе есть не причина выхода из него,— следствие. Вдруг в обыденном, зауряднейшем видишь фантастику.

Мне, маленькому школьнику, давали по 20 коп. на завтрак. А я однажды купил на эти деньги номер «Техники — молодежи». Сам. И это была первая моя осмысленная покупка. И потом до конца школы я этими журналами, их покупкой и чтением, жил. Почему, зачем. Вот миф. Само время отсчитывалось номерами журналов. Упорядочивалось их аккуратным складыванием в стопки. Разрывалось — их катастрофической нехваткой (все комплекты разрозненные). Для меня это Троя, золото Рейна. Такой мизер, мусор, но ведь и я не планета, не народ и не титан — маленький двоечник. И в сравнительном масштабе — тоже миф. Часть мифа, его конкретная плоскость. Вот так: покупал журналы, и это было фантастичнее карр̈охов и раруггов.

Вообще миф жив. И умирает. Рассказ, даже про раруггов, мертв. И никогда не оживет. Он может жить сам по себе, вне воли автора, как миф, конкретное осуществление мифа. Но совершенно вне воли автора. Даже чем больше усиливается автор его оживить, тем более он мертвеет.

869. Примечание к № 132

«Пошутил, значит. Ну-ну..»

Куда ж ты полез, следователь? Не гения допросов? Думаешь — всласть покуражусь, поиздеваюсь над ним: «Ты тут пишешь про допросы, ну и получишь их, зайчишка во хмелю». Но, попавший в замкнутый мир, кто ты? — лакей, ничтожный лакей мой. Буду тобой шнурки завязывать. Я погиб. Я и писал так. Ильича не простят. Ильич милый выручит.

Всегда испытывал ненависть к самоубийству. Отец напряженно думал об этом, когда узнал о своей обреченности. Но сам не мог и не хотел. И перед смертью молил не самому чтобы, а чужими руками.

Сократ перед смертью говорит:

«Пожалуй, совсем не бессмысленно, чтобы человек не лишал себя жизни, пока Бог каким-нибудь образом его к этому не принудит, вроде как, например, сегодня — меня».

Конечно, жизнь сама убьет. Надо только немного поправить, немножко помочь. Сократ первый режиссер своей судьбы. Подчинивший судьбу своей воле, замкнувший мир в микрокосм.

Даже если грубая провокация не удастся, все равно с последней точкой «Тупика» жизнь моя замкнется и погаснет. Я превращусь в персонаж — нечто неотъемлемое от определенного сюжета. Жизнь превратится в сюжет, все ничтожно сбудется.

Осознав свою ничтожность, я мечтал о несчастной любви. Мне хотелось встретить ее, я успокаивал себя тем, что у каждого человека должна быть любовь, пускай несчастная и несбывшаяся. Точнее, несчастная, но сбывшаяся. На тысячи ладов я представлял себе сначала холодный гнев и презрение, а потом еще более обидное равнодушное участие, холодную и брезгливую жалость. Но все равно это — рука, насмешливо комкающая мое письмо-признание,— даже это было так хорошо, светло. Все получалось, жизнь получала осмысленность. Возникало светлое, необидное прошлое, несчастная, но достойная «личная жизнь».

Но я совершил наивную русскую ошибку, «ошибку Леонтьева». Недооценил злорадство судьбы. Не было ничего. Евгений Леонов собрался выступать в роли Ромео, уже предвидел свист и хохот, будущую «неудачу своей личности», тем бо́льшую, чем искреннее и проникновеннее будет произносить он вечный монолог из чужого амплуа. Но получилось еще хуже, еще злораднее. Его так и не вызвали на сцену; он сидел в полутемной гримерной и рыдал. Краска щипала глаза, текла по лицу; было душно и глупо.

Набоков вспоминал, что он в 17 лет еще никого не любил, но уже спокойно знал о будущей, ждущей его светлой любви. Хотя, заметил Набоков, было все же тоскливо.

В 17? Разве это «ожидание»? А вот в 18? И все тянется, тянется. Пустое, тусклое одиночество. А тут 19 лет. Потом 20, 21, 22. Почти каждый день кончается одинокими слезами. И праздники — Новый год, день рождения — уткнувшись в подушку. А тут 23, 24, 25, 26, 27. Молодость проходит, уже прошла. И наконец все сбывается, но в виде дешевого «Тупика», когда сокровенная тайна личности, ее трагедия выбалтывается первому встречному-поперечному читателю просто так. То, что

мечталось как выговаривание перед сочувствующим и желеющим человеком, внешне чужим, но внутренне, в моем мире, абсолютно близким и родным, превращается в лучшем случае в «рассказ об Одинокове», бормочущийся в скучном сумраке пригородного полустанка случайному знакомому.

Все сбылось. Все, по крайней мере достаточно значительная часть сказана. Теперь делиться не только не с кем, но и нечем. Персона обернулась персонажем. Книга эта — злорадство, тупик, петля на моей шее, итог моей несостоявшейся жизни.

А ведь могла же она состояться. Гоголь писал, что сбоку Павел Иванович Чичиков был похож на Наполеона. Вот и жизнь моя в одном из миллионов возможных ракурсов, хотя бы в одном-единственном, могла бы стать Трагедией.

912. Примечание к № 224

Ницше сказал, что каждая книга это... катастрофа.

Катастрофа «Бесконечного тупика». Одиноков превращается в бесцельную стилизацию, идиотски обыгрывающую собственную гениальность. А Соловьев, Чернышевский, Ленин, Набоков, Чехов и др. оборачиваются лишь двойникеми моего «я». Вещи оживают, превращаются в персонажи, персонажи оборачиваются людьми, люди же оказываются на поверку лишь автономными элементами моего «я». «Бесконечный тупик» превращается в тысячестраничную схему, лишенную конкретного содержания. Не так ли?

915. Примечание к № 912

Одиноков превращается в бесцельную стилизацию.

Стилизация. Положим, у вас доме еж живет. Сказать не «еж», а «ежик» — уже теплое, интимное чувство. И смешно. Уже некая кокетливая улыбка появляется. Сорокалетняя дама, говорящая, что у нее живет ежик, мгновенно входит в роль шаловливого ребенка. Назвать ежика Ермолаем:

— Ермолай по ночам пыхтел, шуршал газетами, натасканными им со всего дома себе под диван. Потом, посапывая мокрым носиком и постукивая коготками о паркет, топотал на кухню, долго лакал молоко из блюдца, удовлетворенно пыхтя и причмокивая.

Постепенно еж превращается в зверюшку из мультфильма, с прической кек у Збигнева Бжезинского. Сидит за столом и пьет чай вприкуску из самовара. Все исчезает в стилизации. Ежик-то пластилиновый!

Но я помню, у домика отца в пионерском лагере жил еж. Я воспринимал его очень серьезно. Опасливо гладил по колючкам, вытаращив глаза смотрел, как отец его специально пнул и еж сначала побежал, а потом свернулся в колючий шар. Отец сам был для меня похож на ежика: во-первых, небритый, а во-вторых — прическа. Я трогал папину щеку, жесткие волосы, уголком растущие на лбу. Все было вполне серьезно. К отцу я относился как к отцу. Но стоило мне прикоснуться к живущей в памяти реальности, как она свернулась колючим шаром и превратилась в жеманную стилизацию. Никакого проникновения внутрь, в тот мир,— может быть, единственно подлинный мир — не получилось. Я могу написать: «Правое полушарие отцовского мозга, ошарашенно шарившее в предсмертной пустоте». Но что это было для отца тогда...

Конечно, Набоков прав:

«Часто повторяемые поэтами жалобы на то, что, ах, слов нет, слова бледный тлен, слова никак не могут выразить наших каких-то там чувств (и тут же, кстати, разъезжается шестистопным хореем)... столь же бессмысленны, как степенное убеждение старейшего в горной деревушке жителя, что вон на ту гору никогда никто не взбирался и не взберется; в одно прекрасное холодное утро появляется длинный, легкий англичанин — и жизнерадостно вскарабкивается на вершину».

Действительно, при удивительном истончании ажурной решетки стиля она перестает замечаться, и притворение переходит вроде бы в претворение. Но, во-первых, что делать не писателям, а простым смертным, и во-вторых, при столь исключительных стилистических усилиях пробиться сквозь сито стиля, платой за явление внутреннего опыта другим служит исчерпание его для себя. Происходит отчуждение. Тот же Набоков сказал:

«Внешние впечатления не создают хороших писателей; хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, будто они и в самом деле существовали».

Выдумка может быть гениальной и может почти полностью заменить реальный опыт. Но при этом смутное и нежное ощущение действительно произошедшего заменяется терпкой темперой, яркой и прочной, но неизменной и пахнущей химией.

Возможна ли целостность «я»? И зачем? Может быть, это лишь признак стремления к смерти?

Контакт в юности с детством чисто физический. А потом возникает контакт с юностью и ее физическим восприятием детства, может быть, и не актуализированным. После юности детство умирает, и человек, вспоминая его, проникает в чужой, хотя и не чуждый, а наоборот, ласковый мир. Обращение к детству помимо юности, вне юности, есть ошибка, свидетельствующая об инфантилизме данной личности. Ведь все равно контакта нет. Есть пластилиновый ежик, Ермолай или металлист. Задачу ежа можно решать соответственно в русофильском или молодежно-панковском стиле.

Не есть ли сама тяга к писательству — признак незрелости русского общества, его вечной детскости, неспособности контакта с собственным прошлым? Ключ к прошлому был не у историков — у писателей. После Карамзина писатели стали давать материал историкам, тогда как нормально было бы обратное.

917. Примечание к № 912

Соловьев, Чернышевский, Ленин, Набоков, Чехов и др. оборачиваются лишь двойниками моего «я».

«Обознатушки-перепрятушки». Я говорю только о себе. Даже в отце — я сам. О мире сужу по «я» философов и писателей; об их «я» по тем людям, которых знал (а знал-то я реально, пожалуй, только одного отца); о них, в свою очередь, по своей биографии; и, наконец, о себе как о «я», которое и является миром, по книгам, написанным этими же самыми философами и писателями. Это бесконечный тупик.

Ничего я не знаю и ничего мне не нужно. Зачем жить, для чего? Переход в сон, мистику и в плотный быт, как счастливую иллюзию реальности. Это и есть трагическое счастье: сон во сне и явь в яви. Я создан совсем для иной, обычной жизни. Внешне совсем обычной, а внутренне абсолютно фантастической, высшей. Настолько высшей и светлой, что сон станет бытием, а бытие — сном. И внешне это будет совсем не заметно, совсем не страшно. Хотя для окружающих меня уже совсем скучно.

На вашу книжную полку

ПЛАМЯ РУССКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Рубеж — понятие емкое, ответственное, ко многому обязывающее. Не случайно сборник лучших произведений, опубликованный еженедельником «Литературная Россия» за последние два года, получил название «Русский рубеж». Рассыпанные на сотнях газетных страниц и порой ускользавшие от читательского внимания, эти произведения собраны теперь воедино в необычном томе «избранного» самых разноликих авторов. Роднит их одно общее чувство — **боль**. «Страстная, глубинная, на иных страницах до явственно слышимого при чтении мучительного стона, крика, — боль за судьбу измученной России...» — говорит Э. Сафонов во вступительном слове.

В нашей истории было много рубежей, преодоленных и с надеждой, и с ликованием, и с мучительной тревогой, — но наиболее трагический суждено было России переступить в 1917 году. Этот рубеж не только выявил внутренние противоречия империи и расстановку враждебных ей сил, но и обозначил российский и мировой раскол. Отныне понятие **русский рубеж** приобрело драматическую окраску: это рубеж, на котором надо стоять насмерть. Бесстрашие духа — еще одно качество, объединяющее авторов сборника — и тех, кто уже ушел от нас, и тех, кто сегодня продолжает русское дело.

Выдающийся мыслитель и публицист И. А. Ильин, чья пророческая работа «Что сулит миру расчленение России» открывает книгу и как бы задает ей тон, всегда оставался верен идее монолитности нашего государства. Оно «есть не случайное нагромождение территорий и племен и не искусственно слаженный «механизм» «областей», но живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся ОРГАНИЗМ, не подлежащий произвольному расчленению».

Горько сознавать, что десятилетиями свободная русская мысль была от нас упрятана, отгорожена и подменена псевдо- и квазифилософией многочисленных дельцов от «марксизма-ленинизма». Невозможно без душевного трепета читать произведения, созданные на чужбине, в эмиграции, но неуклонно продолжавшие великие традиции русской религиозной философии и литературы.

А сколь многое заново открывает нам этот мощный духовный и культурный пласт в понимании чувства Родины! «Кто пил горькую чашу изгнания, — писал Георгий Федотов,— и жил с предчувствием, что долгие годы — быть может целая жизнь — отделяют его от России, тот знает острее всякого другого, что значит тоска по родине. Пусть мысль, в плену предрассудков, отвергала Россию — самое суровое сердце билось живее при воспоминании о родине».

Трагедия гражданской войны, разгром Белого движения, жизнь русского зарубежья — эти скорбные главы истории отражены в прозе Антона Туркула, Ивана Лукаша, Гайто Газданова, открытых для широкого читателя «Литературной Россией». Здесь будет уместно сказать и о том, что именно на ее страницах впервые, после долгих лет искусственного замалчивания, появились имена, без которых отечественная история была неполной: П. А. Столыпин К. П. Победоносцев, святой патриарх Тихон и многие другие, о ком если и упоминалось, то лишь в негативном плане.

Среди лучших материалов историко-духовного цикла необходимо отметить и проникновенные рассказы Ю. Лощица «На полях жития», приближающие нас к «Житию преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия-чудотворца» древнерусского писателя Епифания Премудрого и в то же время к самому Сергию Радонежскому. Сегодня, может быть, как никогда раньше нам необходимо «постичь смысл русской святости, смысл всей нашей исторической судьбы».

Без этого глубокого духовного постижения задача возрождения России может оказаться неразрешимой.

Ныне, когда Россия вновь стоит на грани великих потрясений, особенно важно единение всех здоровых сил общества. Страна не выйдет из тупика, если размежевание на «правых» и «левых», «консерваторов» и «радикалов», «коммунистов» и «демократов» будет продолжаться в угоду собственным групповым интересам, при полном забвении государства. Как точно заметил В. Кожинов (беседа с И. Панкеевым), «в зеркале ведь правое становится левым»...

Иными словами, поверхностная, хотя и резко очерченная — для непосвященных — политизация общества всегда чревата внезапным изменением полюсов, что неминуемо ведет сначала к расшатыванию страны, а затем — и очередной и неизбежной диктатуре.

Позиция «Литературной России» — утверждение подлинного патриотизма, свободного от политических ярлыков и расцветок, опирающегося на многовековой духовный опыт народа. В этом, пожалуй, наиболее существенный смысл понятия **русский рубеж**.

Е. ПОТАПОВ.

«Русский рубеж. По страницам «Литературной России». Изд-во «Художественная литература». 1991. 400 стр.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Летопись России: история в лицах

АЛЕКСАНДР ПАРМЁНОВ

Преподобный Антоний Печерский

В конце XIX века со Святой горы Афон была прислана в Россию икона, писанная неким святогорцем, простая и трогательная, как детская картинка. Изображены на ней стоящие на Киевских горах апостол Андрей Первозванный и преподобный Антоний Печерский. Апостол Андрей держит в одной руке Евангелие — запечатленный символ Бога Слова, проповедуемого им по всей Скифии; другой, слегка приподнятой ладонью вверх, указывает на расстилающийся ландшафт, заставляя вспомнить свое пророчество, сохраненное «Повестью временных лет»: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей». И как бы ответствуя на этот призыв, преподобный Антоний, пришедший на указанное место тысячу лет спустя, стоит, спокойно опираясь на посох, со свитком, на котором начертано: «Аз не к тому боюся Бога но люблю». Между ними — стены, кельи и храмы Киево-Печерского монастыря, а над всем, на облаке, осиянная солнцем Богородица развернула омофор — свой пречистый покров над Россией.

Прошел или нет святой Андрей Первозванный встречным путем «из варяг в греки», был он на Днепре телом или духом — для православного сознания факт второстепенный. Главное, что семя было брошено и что Русская Церковь восприняла преемственность от первого из апостолов, призванных Самим Господом.

Преподобный Антоний проделал долгий путь — и страннический посох на иконе свидетельствует о том — от черниговской земли до Афона, являющегося вторым уделом Божией Матери, и обратно на Русь, которой суждено было стать третьим уделом Богородицы, врученной, как и Святая гора, Ее особому попечительству.

С молодых лет послушный Божией воле, он продолжил труды апостола Андрея, утверждая христианскую веру во спасение родной земли. Зрелым и опытным иноком обосновался святой Антоний на Киевских горах, где в скором времени возник монастырь с главным храмом в честь Успения Божией Матери. Сама Царица Небесная отправила на берега Днепра каменщиков строить «Богородицыну церковь» и послала с ними небольшую икону Успения, ставшую главной святыней обители. «Хочу церковь построить Себе на Руси, в Киеве... К ним посылаю, к Антонию и Феодосию... Приду, чтобы видеть эту церковь, и буду в ней жить», — молвила Владычица (Киево-Печерский патерик).

Так под благодатным покровом начал воздвигаться Дом Пресвятой Богородицы.

Наши отечественные историки не любят писать о преподобном Антонии. Мало достоверной информации. Раннее житие утеряно, позднее изобилует так называемыми «общими местами». Правда, о преподобном упоминают летописи, но скупо. Немногословны летописные повествования и о других деятелях ранней русской истории. И на чем бы основывались многостраничные изыскания о страстотерпцах Борисе и Глебе, митрополите Иларионе, преподобном Феодосии, если бы не сохранились такие памятники древней письменности, как «Сказание о Борисе и Глебе», «Слово о законе и благодати», житие и поучения преподобного Феодосия.

Внешне не яркая, суровая фигура преподобного Антония неслышно появляется на берегах Днепра, пребывает там некоторое время и так же тихо уходит в мир иной. И это — посреди кипения страстей и событий, обуревающих неспокойную столицу русской земли. Но память о нем как бы впечатывается навечно в Киевские горы, а следом — и в сердце каждого православного. Не любят говорить о нем ни иереи, ни иноки, но любят молиться, прося у преподобного помощи и заступничества. И в писаной или умозрительной иконе он лицо не менее реальное и явственно ощутимое, нежели любой подвижник недавнего времени, от которого сохранилась и подробная биография, и даже фотографическая карточка.

Различными путями приходит человек ко Господу. Мы не знаем, что побудило юного Антипу из черниговского городка Любеча на заре христианизации Руси оставить свой дом, родные края и устремиться на поиски учения Христова. «Измлада же име страх Божий, и желаше во иноческий облещися образ», — говорит житие. И только. Не было долгих поисков и метаний. И это доказывает, что его начинаниям предшествовала молитва: Антипа отдает себя в руки Всевышнего, и Тот устраивает его пути. Любеч — Царьград — Афон. «От мирскаго мятежа изшед, отвержением же мира пожив, в тихое пристанище Святыя горы Афона достигл еси...» (из тропаря преподобному Антонию Печерскому). Да и где было искать учителей желающему всецело посвятить себя Господу? Русская земля еще только начинала просвещаться светом истины Христовой. Да, были по городам и церкви, начали появляться монастыри. Но: духовенство, пришедшее с первым митрополитом Михаилом, — греческое, язык и обычаи славянские им чужды, да и само назначение в далекий и холодный скифо-варяжский край могло восприниматься многими миссионерами как ссылка. Здесь требовалась либо кирилло-мефодиевская ревность о Господе, либо любовь к отеческому краю. И Господь взрастил Своих проповедников, сеятелей Слова Божиего на не тронутой еще правдой земле. Одним из первых был Антипа: упорный, крепкий, противящийся (как и переводится само имя его с греческого) всему языческому, мерзкому, тленному, неистинному.

Афон, этот небольшой отросток Халкидонского полуострова, который в свое время с евангельской проповедью обошла Сама Богородица и на котором издавна селились отшельники, начал складываться в своеобразную монашескую республику, а точнее, в настоящую иноческую житницу лишь к исходу первого тысячелетия христианской эры. Первый монастырь — Великая Лавра — был основан там в 961 (962) году Афанасием Великим. И стало их вскоре — двадцать больших обителей и десятки маленьких скитов и пустынек. А на Руси к тому времени уже откняжили и «сходили» набегом на Царьград Аскольд и Дир, соприкоснувшиеся там с волей Царицы Небесной, испытавшие на себе Ее Влахернское чудо и крестившиеся. Уже крещена была и княгиня Ольга (+969). В истории нет случайностей. Когда к IX веку на пути всемирной проповеди Христовой стеной встали ислам и иудаизм, стало складываться, расти и укрепляться озаренное светом Православия Русское государство. И представляется, что непоколебимый, пламенный и животворящий святогорский оплот Православия возник едва ли не в поддержку созидающейся Русской Церкви, строящегося Православного царства. И суждено им было впоследствии питать, обогащать, укреплять и спасать друг друга. Маленький полуостров в Эгейском море и громадная держава, раскинувшаяся посреди иноверцев на двух континентах, — материк Православия. И оба — под водительством и покровительством Божией Матери. А перенесено оно было, это покровительство, немощным человеком, затерянным во мгле веков, но великим пред Господом.

Имена не даются случайно. Каждый знает это на своем опыте. Постриженный на Афоне в монастыре Есфигмен (по другим данным — в Иверском) во имя преподобного Антония Великого, Антоний Печерский вместе с именем принял на себя и труды своего небесного покровителя. Истинный христианин должен стремиться следовать Христу. Но трудно подражать Самому Господу. Гораздо легче, когда дан уже образец, когда можно идти за первопроходцем «Умоляю вас, — находим мы в Послании к коринфянам святого апостола Павла, — подражайте мне, как я Христу». Таким первопроходцем, учителем, наставником и был египетский подвижник Антоний (251—356), заслуживший от Церкви именование Великий, признанный основатель пустынножительства и отец монашества. Его заветов держались и афонские иноки. Эти же традиции суждено было перенести на родную землю отцу русского монашества преподобному Антонию Печерскому. Имя Антоний означает приобретение. Став приобретением для Господа, и тот и другой Антоний через себя приобрели для Господа сотни тысяч верных последователей.

Чем увлек Антоний Великий сонм последовавших его путем иноков: египетских, палестинских, сирийских, византийских, русских наконец, да и многих других? Ведь подвиг его был настолько суров, что, казалось, должен не привлекать, а отпугивать. Полный отказ от мира и «нормальной человеческой жизни», скудная пища, непрестанные труд и молитва, жестокая борьба с демонскими искушениями и напастями, — и все это с юных лет. Но, чередуя труд и молитву, ни на мгновенье не расслабляясь, преподобный Антоний Великий достигает полной победы над собой, над князем мира сего, обретает спокойствие духа и мир в помыслах. К нему, таким образом укрепленному, стекаются ученики; гора, где он подвизается, покрывается монастырями; его наставлений ищут и монашествующие, и миряне;

ПАРМЕНОВ Александр Георгиевич. Родился в 1950 году. Окончил Московский государственный университет. Заведующий церковно-общественным отделом «Журнала Московской Патриархии». Автор ряда публикаций в периодической печати. Живет в Москве.

сам византийский император равноапостольный Константин Великий с сыновьями пользуются его советами, просят молитвенной помощи.

Труд и молитва, суровый образ жизни, строгость и воздержание во всем — вот что завещал своим ученикам Антоний Великий. А что было приобретено взамен? Радость. Радость о Господе и любовь истинная, спокойствие души и свет неизреченный. Пустые слова для алчущих только «радостей жизни». Но тот, кто хоть чуть прикоснулся, хоть краем глаза сподобился видеть нечто подобное, знает: эти дары ценнее всех сокровищ мира, и обладающий ими владеет таким созидательным оружием — судьбоносным и жизнеутверждающим, — что ему не может противостоять никто и ничто.

«Сила Божия в немощи совершается». Эта сентенция блестяще доказывается на примере преподобного Антония Печерского. Пробыв на Афоне некоторое время и «навыкнув иноческому житию», Антоний получает через своего духовника повеление вернуться на Русь, пребывающую в духовном младенчестве. Вернувшись, Антоний прошел по городам и весям, по монастырям, но нигде не нашел правильно устроенной монашеской жизни, только слабые попытки, перемешанные с чисто мирскими, земными хлопотами и заботами. Начавшиеся на Руси после смерти великого князя Владимира (+1015) нестроения, связанные с борьбой за престол и попытками возродить древние языческие обычаи, понуждают преподобного удалиться опять на Святую гору. Но по прошествии некоторого времени он вновь получает повеление вернуться на родину.

Указания, полученные Антонием, были, видимо, настолько ясными, что он возвращается прямо под Киев, на берег Днепра. Это второе возвращение разительно отличается от первого. Антоний уже не странствует ни по монастырям, ни по горам и дебрям. Он знает, куда и зачем идет. Ему было откровение, и он готов работать Богу в том месте, куда его направляет незримая рука, и работать так, как будет угодно Всевышнему. Он несет с собою благословение Святой Афонской горы, а это великая сила: все святогорцы молятся об успехе его миссии. Да и сам Антоний так укрепился в молитве, что уверенно обращается в ней ко Господу, зная — дойдет, и ответ последует непременно.

Он возвращается и селится вблизи самого беспутного и неспокойного города — за стенами столицы Киевской Руси. Ему, нетребовательному, уже приготовлено и место. Не как в прошлый раз — пустующий разбойничий варяжский вертеп, а намоленная пещера, вырытая для тайных подвигов пресвитером княжеской церкви Иларионом, ставшим в 1051 году первым русским митрополитом. Преподобный Антоний несколько расширяет пещерку и укореняется в ней, приступив к обычному монашескому деланию: пост, покаянные слезы, молитва.

В этом делании проходит у него вся оставшаяся жизнь. Затворившись в пещере, почти никому не показываясь, озаренный только светом Христовым, он, как некий невидимый глазу источник, питает преображающуюся русскую землю. События развиваются стремительно. Вокруг внутренне собранного, внешне неподвижного, погруженного только в молитвенное созерцание Антония вскипает новая созидательная деятельность. К нему в пещеры, возникающие окрест, собираются ученики, основывается обитель. Сам он участвует в этом только словом — словом наставления и благословения — именем Христовым. И эти «только слово», «только благословение» творят чудеса. Устроив жизнь монастыря по строгим иноческим уставам, поставив братии игумена, Антоний снова уходит в затвор, выкапывает себе новую пещеру. Братия появляется и здесь. Снова приходится устраивать монастырь, а вернее — расширять. Уже тесно под землей, и Антоний благословляет строиться на поверхности, на горе, отданной инокам киевским князем Изяславом. Воздвигается и первая наземная церковь. И одновременно нескончаемым потоком идут к преподобному за советом и благословением горожане, крестьяне, бояре, князья. Дважды его с братией пытаются изгнать, и дважды они возвращаются, победив кротостью и правдой необузданные нравы и гнев сильных мира сего.

Сподвижники, соработники, собеседники, да и просто современники преподобного Антония почти совершенно закрывают от наших глаз тихий облик его. Редкое слово, неспешная, пронизанная упованием молитва, благословляющая десница — только это и схватывается среди толчеи идущих, едущих, спешащих, делающих, строящих, спрашивающих, гневающихся, из-за их лиц, движений, одеяний... Первые и главные ученики его Никон и Феодосий, князья Изяслав и Святослав с дружинами, некие христолюбцы, преподобные Варлаам и Ефрем, из-за пострижения которых Антоний и претерпел гонения, постоянно увеличивающееся число монахов и молящихся, просящих и предлагающих помощь, варяг Шимон, искусившийся затворник Исаакий и многие другие, названные по именам и не названные.

Пост, покаянные слезы, молитва... Один — за всех и о всех: о всем молодом, игривом новокрещеном народе, о всей не освященной еще земле, густо заселенной всякой демонической нечистью. Не научились юные христиане воздержанию, — он постился за них; не осознав своих прежних грехов, впадали все в новые и новые — он обличал, научал, но и плакал о них, принимая на себя прегрешения ближних и дальних, разделяя с падшими тяжесть содеянного и труд покаяния; не навыкли молитве — он молился денно и нощно. «Многие монастыри поставлены царями, боярами и богатством, но не таковы они, как поставленные слезами и пощением, молитвою и бдением. Антоний вот не имел ни золота, ни серебра, а все приобрел слезами и постом» (Киево-Печерский патерик). Но главное, что он приобрел, и не для себя, для Господа, — это просветленные души человеческие. Да и не мог, не имел права преподобный Антоний прерывать молитву на Богом ему порученной земле. Многие ли в дикой полуязыческой стране русов молились? А ведь надо было вымаливать всех, как неразумных детей, спасать от вечной погибели. И должен был появиться праведник, на котором держится и город, и страна, и народ. Живой праведник, с неиссякающей, непрерывной, нынетекущей молитвой. Да, преподобный Антоний не оставил видимых следов своей личной деятельности. Молитва? Благословение? Но это записывается не в земных — иных книгах, Господних. Но удивительно то, как за короткий срок человеческой жизни, и даже менее того — ведь надо вычесть годы учения, возрастания и становления — преподобный Антоний успел умолить Богородицу принять под Свой омофор Русское государство, сумел открыть сердца и души множества людей Слову Христову, передать их покровительству Божией Матери. И все это своим примером — самой деятельной проповедью.

От юности возлюбил Антоний Господа, от юности возжелал света. И ушел из родных краев, оставив все, что имел или мог иметь, отрекшись даже и от себя самого. Ушел, как думалось и желалось, безвозвратно. Но был возвращен Божиим промыслом: родная земля Антония нуждалась в молитвеннике. Заточил себя в пещера. Но «не может укрыться город, стоящий на верху горы». Да и где мы находим «верх» и где «низ»? Лежащий во прахе перед ликом Господа часто оказывается выше гордо стоящего. Антония обнаруживают, его убежище раскрывают, и он служит людям («кто хочет быть первым, пусть будет всем слугою», — учит Спаситель), указывая путь, которым шел сам, которым надобно следовать. Он думал о своей немощности, греховности, о покаянии, личном спасении. Но Господь судил иначе, и преподобный Антоний был вынужден взять на себя немощи, грехи и труд раскаяния всего своего народа и выучить этот народ справляться с такой неудобоносимой ношей. «Сила Божия в немощи совершается». И через немощного, как кажется, Антония свет хлынул на Русь. Что может быть более незаметного и невзрачного — убогий старец в земляной пещерке? Но если это не пещерка и не старец, а лампада, свеча неугасимая? И вот все — от князя до смерда — шли и шли со всей земли Русской к этому благодатному источнику света.

Преподобный Антоний Великий заложил основы монашества, оставил завет, научение идущим этим путем. Его соименник заложил основы будущей Святой Руси, самого некогда сильного и православного государства. Что бы ни происходило сейчас, что бы ни случилось потом, возродится православная или просто славная Россия или память о ней истребится, — свое слово она сказала, свой страшный и поучительный пример верности ко Господу и отвержения от Него явила. «Разумейте, языцы [народы], и покоряйтеся... Яко с нами Бог».

Москва,
Преображение Господне, 19—21 августа 1991 года.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Русская мысль

ВАДИМ КОЖИНОВ

ИСТОРИОСОФИЯ ЕВРАЗИЙЦЕВ

Вполне вероятно, что для многих читателей оба слова, составившие заголовок этих заметок, окажутся не очень понятными или даже вообще незнакомыми. Между тем «историософия» — это, в сущности, как бы стянутое в одно слово более привычное словосочетание «философия истории», то есть познание смысла и основного хода развития мира или какой-либо отдельной страны и народа (русская, германская, японская и т. д. историософия). Слово это в послереволюционное время было сочтено, как говорится, идеологически вредным и исчезло даже из словарей...

Что же касается «евразийцев» или «евразийства», — это школа, течение, даже своего рода движение, созданное целым рядом русских мыслителей и ученых. Школа как таковая сложилась в эмиграции, причем можно указать совершенно точную дату ее образования — 1921 год, год завершения (хотя в отдельных местностях она длилась и позже) гражданской войны в России. Однако очень важно знать, что евразийские идеи были высказаны будущими создателями школы — прежде всего Г. В. Вернадским (1887—1973) и Н. С. Трубецким (1890—1938) — еще до революции. Знать это столь важно потому, что сегодняшние критики евразийства (а таковых немало, и высказываются они весьма резко) тщатся представить евразийцев в качестве людей, которые будто бы были сбиты с толку революцией и старались-де как-то «приспособиться» к ней. Нет сомнения, что евразийство как цельное течение и должно, и могло по-настоящему определиться именно после революции, исходя из ее «уроков». Но уже сам по себе факт, что первые струи этого течения пробились еще до революции, подрывает позицию его тенденциозных критиков.

В действительности евразийство явилось прямым продолжением и развитием наиболее существенных и плодотворных традиций русской историософии в целом; оно в конечном счете основывалось на завете Пушкина, который в 1830 году писал, предостерегая русских историков от «подражания» своим западным коллегам:

«Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом[1] из истории христианского Запада. Не говорите: иначе нельзя было быть...» (именно так, вопреки Пушкину, говорили позднее «западники»).

Следует со всей прямотой признать, что только сравнительно небольшая часть людей, размышлявших о судьбе России, последовала пушкинскому завету. Но именно об этих русских людях уместно говорить как о мыслителях и писателях, отмеченных печатью высшей гениальности. Речь идет о Тютчеве, Гоголе, Достоевском, Толстом, Константине Леонтьеве, Василии Розанове. Как ни прискорбно, их историософская мысль не стала широким достоянием, ибо, даже признавая очевидное высшее, ни с кем не сравнимое значение первых четырех из них как х у д о ж н и к о в, развиваемые ими и д е и объявляли (и вовсе не только после 1917 года, а задолго до него) в лучшем случае «сомнительными» и, разумеется, «консервативными» или, еще грубее, «реакционными», — что до сих пор представляется чем-то заведомо «негодным». Наследие же Леонтьева и Розанова Россия только начинает для себя открывать, как, впрочем, и собственно историософские размышления Тютчева, Гоголя, Достоевского и Толстого. Как говорится, нет пророков в своем отечестве...

Поэтому, к сожалению, совершенно прав был Михаил Пришвин, записавший во время второй мировой войны:

«Мы, русские, и западники и славянофилы, в истории (вернее, в мысли об истории, то есть в историософии. — В. К.)

[1] Франсуа Гизо (1787—1874) — крупнейший французский историк и политический деятель.

одинаково все танцевали от печки — Европы... Будем мы теперь танцевать от другой печки — Америки, или же, наученные, будем танцевать свободно от себя, а не от печки?»

Замечательно здесь предостережение о вероятной новой «ориентации» — на США, — ориентации, которая ныне, через полвека, действительно «поработила» множество людей, особенно молодых...

Требуют разъяснения пришвинские слова о том, что от Европы «танцевали» не только западники, но и славянофилы. Конечно же, мысль виднейших славянофилов — Ивана Киреевского, Алексея Хомякова, Юрия Самарина — была богаче и глубже, чем славянофильская тенденция в ее самых общих чертах, но так или иначе эта тенденция, эта линия общественного сознания явно зависела от постоянной оглядки на Европу. Поскольку западноевропейская история была создана двумя группами народов — германской и романской, по этому образу и подобию «выдвинули» еще одну — славянскую группу народов, которая будто бы имела единую и цельную историческую судьбу. Шаткость или даже ошибочность этой идеи понимали (и четко выразили свое понимание) уже Тютчев, Достоевский, Леонтьев.

Жесткая, хотя и могущая показаться парадоксальной зависимость славянофильства от Европы заключалась и в характерном для него «отрицании» Европы ради России, отрицании, от которого решительно отмежевались и Тютчев, и Достоевский (в частности, в своей знаменитой Пушкинской речи). Суть дела состояла не в том, чтобы «возвышать» Россию над Европой, но в понимании глубочайшего своеобразия их истории, их собственных судеб. Многое для этого было сделано и в XIX веке, но мыслители, назвавшие себя «евразийцами», впервые, так сказать, объединили отдельные звенья мысли в единую цепь. Не сомневаюсь, что развитие русской историософии еще будет тщательно изучено и понято; здесь приходится ограничиться «заявкой» на тему. Кроме того, далее публикуются статья и комментарии молодого историка духовной культуры С. Ю. Ключникова, подготовившего к печати работы евразийцев.

Но необходимо высказаться об общем развитии историософских идей после революции, то есть в эпоху евразийцев.

И в России, и за рубежом гораздо более широкую известность и признание имеют к настоящему времени не евразийцы, а мыслители другого направления. Это (я называю имена тех, кто более или менее активно разрабатывал именно и с т о р и о с о ф с к и е проблемы) Н. А. Бердяев (1874—1948), П. Б. Струве (1870—1944), С. Л. Франк (1877—1950), Г. П. Федотов (1886—1951). Все они начали свой путь как м а р к с и с т ы, хотя в зрелые годы отошли от этой идеологии и даже противостояли ей (они, кроме Федотова, основные участники известных сборников «Вехи» и «Из глубины»). Но марксизм имеет исходную, фундаментальную основу в идее п р о г р е с с а, которая, между прочим, нераздельно связана с «западничеством», ибо, с точки зрения этого самого «прогресса», Запад оказывается заведомо «впереди» всего остального мира, предстает как своего рода всеобщий «и д е а л» (пусть даже до конца не реализованный).

Словом, первоначальная приверженность Бердяева и других к марксизму отнюдь не была для них случайной. Нужно со всей ясностью сознавать, что в конце XIX — начале XX века обращение к марксизму было делом абсолютно свободного личного выбора; никто не мог «заставлять» делаться марксистом. И такие глубокие мыслители того же времени, как В. В. Розанов (1856—1919), П. А. Флоренский (1882—1937), И. А. Ильин (1882—1954), ни в коей мере не «соблазнились» марксизмом, поскольку не были «прогрессистами-западниками».

Прежде чем двигаться дальше, нельзя не сказать со всей определенностью о тяжкой опасности другого, противоположного «соблазна», каковому, к великому сожалению, подвержены многие русские люди. Речь идет о людях, которые, не усматривая «идеал» в так называемом прогрессе, начинают всячески идеализировать свое, русское бытие, стараясь при этом как бы «не замечать», что величайшие наши мыслители и писатели беспощадно говорили о страшных язвах и грехах России. Ведь даже проникнутый духом беззаветного — подчас даже и чрезмерного! — патриотизма мыслитель и поэт Алексей Хомяков писал о родной стране в 1854 году:

...А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой черной,
И игом рабства клеймлена;
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени, мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!..

Совершенно необходимо (хотя это и весьма нелегко) до конца п о н я т ь, что Россия вовсе не «л у ч ш е» Запада; она просто иная, другая страна, где есть и свое добро, и свое зло, своя истина и своя ложь, своя красота и свое безобразие. Мне могут возразить, что «идеализация» России закономерно возникает как ответ на проклятья ее ненавистников. Однако это бессильный и безнадежный ответ: он не может никого и ни в чем убедить. Бессмысленно и безусловно ложно утверждение, что Запад «хуже» России; многие неоспоримые преимущества людей и самой жизни Запада вполне очевидны. Ответ должен быть совсем другим: тысячелетняя история России ясно свидетельствует, что наша страна никак не может «перестроиться» по образу и подобию Запада. «Опыты» в этом направлении ведут только к разрушению, как ясно показал февраль 1917 года.

До нас дошли написанные п я т ь с о т с лишним лет назад рассказы западноевропейских путешественников о России[2], которые «обвиняют» русских в том, что они не похожи на них самих, — нередко буквально точно так же, как и сегодняшние наши хулители...

[2] См., например, книгу: Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. — Л., 1971.

Одно из типичнейших обвинений России — в «азиатчине» (при этом никто почему-то не задумывается над тем, что такое обвинение по-настоящему оскорбляет отнюдь не русских, а народы, живущие восточнее и южнее их). Это словечко «азиатчина», между прочим, не сходило с уст главных заправил революции, включая доподлинного азиата Джугашвили...

Работы евразийцев показывают, сколь поверхностно и убого это обвинение. Впрочем, еще Достоевский недвусмысленно писал незадолго до своей кончины:

«Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиаты еще более, чем европейцы. Этот стыд, что нас Европа считает азиатами, преследует нас уже чуть не два века... Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный взгляд на себя единственно как только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать), — этот стыд и этот ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили нам в эти два века...»

* * *

Вернемся теперь к сопоставлению евразийцев и наиболее пропагандируемых сейчас мыслителей круга Бердяева. Последние — уже хотя бы в силу личной значительности каждого из них — никогда не опускались до примитивной хулы по адресу России, как это делает сегодня множество авторов, совершенно безосновательно считающих себя их единомышленниками. Но все же жил в этих людях некий комплекс национальной неполноценности, выражающийся в более или менее явно проступающем в их работах убеждении, которое можно определить так: конечно, хороша по-своему наша Россия, но она была бы тем лучше, чем более походила бы на Западную Европу...

Убеждение это настолько владело ими, что они нередко словно слепли, переставали воспринимать очевидные факты. Так, например, Георгий Федотов горестно сетовал по тому поводу, что в средневековой Руси, в отличие от средневековой Европы, не была создана высокоразвитая культура письменности. Между тем «варварские племена», пришедшие в IV—V веках в Западную Европу, застали там цветущую латинскую письменность и в течение нескольких веков попросту пользовались ею. Русь же сложилась на территории, где ранее вообще не было никакой письменности, и тот факт, что она захотела и сумела «взять» ее из далекой Византии, которая тогда была страной наиболее высокой культуры, свидетельствует, если угодно, об определенном «превосходстве» Руси над очутившимися на готовом фундаменте античной цивилизации западными соседями, — хотя, естественно, русская письменность развивалась и медленнее, и далеко не столь широко, как на Западе. Но это не помешало средневековой Руси достигать высочайших вершин в развитии духовной культуры — достаточно вспомнить подвиг преподобных Сергия Радонежского и Андрея Рублева.

Далее, если внимательно вглядеться, в сознании «прогрессистских» мыслителей обнаруживаешь прямо-таки странную особенность: «идеал» и даже сама «идея», которой должна, по их мнению, руководствоваться Россия, находится — в их представлении — вне России. Это приводило подчас к поистине диким последствиям.

Обращусь к одному очень выразительному, но почти совершенно забытому эпизоду (а его не стоит забывать!), который сам по себе вроде бы не так уж значителен, но выявляет способный ошеломить глобальный смысл. Мне рассказал об этом эпизоде его непосредственный свидетель, один из виднейших современных славистов, академик Н. И. Толстой, которого я имею радость знать уже сорок с лишним лет.

Дело было 5 марта 1934 года в Югославии, в Белграде, где жила тогда семья И. И. Толстого (1897—1970) — внука великого писателя. В это время обострились отношения СССР и Японии, и эмигрантская общественность Белграда устроила диспут, на котором решался вопрос о том, как должны себя вести зарубежные русские в случае советско-японской войны. В качестве маститого гостя на диспуте выступил знаменитый участник сборника «Вехи» П. Б. Струве, который заявил, что, мол, настоящий враг наш находится не на Востоке и не на Западе, а в самой России.

Что ж, скажут мне, ведь в России хозяйничали тогда деятели, только что устроившие принесшую неисчислимые жертвы и беды коллективизацию. И может быть, Петр Бернгардович был прав?

Но выступивший вслед за ним И. И. Толстой напомнил, что тридцать лет назад, во время русско-японской войны 1904—1905 годов, тот же самый П. Б. Струве опубликовал в издававшейся в Париже кадетской газете «Освобождение» статью, в которой точно так же заявил: наш настоящий враг — в России... Что же, спросил у П. Б. Струве внук Толстого, — наш настоящий враг всегда, во все времена находится именно внутри России? Ответить было нечего...[3]

Этот эпизод нашел тогда широкое отражение в эмигрантской печати. Никита Ильич даже прочитал мне наизусть фрагменты посвященной сей полемике сатирической поэмы, опубликованной в белградском русском журнале. И в «перманентной» позиции Струве выразилось логическое, естественное следствие историософии, основанной на представлении, согласно которому истинная «идея» России находится вне нее, — в царстве западного «прогресса».

Уместно здесь возразить тем людям, которые могут, исходя из ошибочного по-

[3] Известно, что в 1941—1945 годах Струве, как и другие его сподвижники, признавал, что враг теперь все-таки не внутри России. Но это слабое утешение, ибо тогда подобным же образом понимало дело большинство населения Земли, а не только эмиграции...

нимания существа дел, подумать, что внук Толстого высказался в 1934 году якобы не так, как это сделал бы в данном случае его дед, в ком многие видят «противника» патриотизма. Вот заведомо точная (это не раз проверено) запись яснополянского врача Д. П. Маковицкого:

«30 января 1905 г. — Мне странно, — сказал Лев Николаевич, — что у моих сыновей[4] нет патриотизма. У меня, признаюсь, есть, как и семейное чувство. Падение Порт-Артура мне было больно... Маша[5] напала на меня за то, что я сказал, что лучше бы взорвать Порт-Артур, нежели отдали японцам... В наше время этого не было бы. Умереть всем, но не сдать».

Да, творец «Войны и мира» — самого величественного художественного воплощения патриотического духа — не раз критиковал само понятие «патриотизм». Но если исходить из целостного представления о его жизни и деятельности, становится неопровержимо ясно, что Толстой при этом имел в виду не патриотизм в его истинном значении, но те его извращенные формы, в которых любовь к родине подменяется тупым или фанфаронским сознанием национального превосходства и вседозволенности. Кстати сказать, любовь к родине, исходящая из мнения о том, что моя страна безусловно «лучше» других стран, — шаткое, ненадежное чувство: достаточно какого-либо мощного потрясения, и чувство это сменяется равнодушием или даже презрением к родной земле...

Что же касается подлинного патриотизма, то действительно великий писатель, да и великий мыслитель без него просто не могут осуществить себя. Ведь при всех возможных оговорках и писатель, и мыслитель суть воплощения духа и слова родины, и если в них нет любви к ней, значит, они не любят главное, основное содержание своего собственного бытия (отсюда и возникает упомянутый выше комплекс национальной неполноценности). Именно это имел в виду Пушкин в известном своем письме к Чаадаеву, где он, сказав горькие слова о русских язвах, заявил тут же: «...ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Между прочим, почти одновременно со своими словами о Порт-Артуре в том же январе 1905 года Толстой говорил:

«В республиканских государствах властвует известная кучка людей... Люди, выбирая представителей в парламент, отдают не известным им и большей частью таким, от которых ничего нельзя ожидать, людям власть не только над внешней, но и над внутренней своей жизнью. Если в России переменят форму правления, то выберут в президенты какого-нибудь Петрункевича[6], а Петрункевич и К° не выше царя. Переменять Николая на Петрункевича, монархию на конституцию — это такой же вздор, как если бы предложили вместо православия — пашковство, или скопчество[7], или Армию спасения[8]...»

Евразийцы и в этом отношении — прямые наследники Пушкина и Толстого. Они, в частности, имели смелость говорить, обращаясь к изгнанным из России соотечественникам, что революция — не абсурд, не конец русской истории, но ее полная трагедийности новая страница, которую «подготовили» прежде всего люди типа Петрункевича и Струве. Характерно, что на евразийцев обрушились обвинения в пособничестве коммунизму и даже в сотрудничестве с ОГПУ. Последнее обвинение повторяют и сегодня авторы, которые враждебно или отчужденно относятся к идеям евразийства.

Но это совершенно необоснованное обвинение, очень напоминающее, даже тождественное обвинительной практике того самого ОГПУ! Во-первых, с ОГПУ были связаны одни только малозначительные участники евразийского движения, которые к тому же примкнули к нему поздно, в самом конце 20-х годов.

Во-вторых, наиболее вероятно, что их сотрудничество с ОГПУ началось во второй половине 1930-х годов, когда они уже отошли от евразийства. И наконец — и это самое главное, — ОГПУ обладало беспримерными в истории возможностями проникновения в любые структуры.

Самуил Гинзбург (Кривицкий), в 1935—1937 годах бывший главой советской разведки в Западной Европе, писал в своей книге «Я был агентом Сталина» об альянсе ОГПУ и Коминтерна: «Призвав под знамя демократии тысячи новобранцев, шпионская сеть компартий на службе ОГПУ выросла до небывалых размеров и проникла в недоступные дотоле сферы... Москва получила возможность влиять на должностных лиц, которым не пришло бы в голову близко подойти к агенту ОГПУ...»

И в самом деле: эта агентура, например, прямо-таки насквозь пронизала наиболее мощную, организованную и активную «партию» эмиграции — РОВС (Российский общевоинский союз); даже заместитель его начальника генерал Скоблин стал деятельным агентом ОГПУ. Между тем сегодня пытаются представить евразийство в качестве некоего особенно, даже исключительно «зараженного» этой самой агентурой движения. Люди, утверждающие это, проявляют тем самым либо элементарную неосведомленность, либо прямую недобросовестность. «Присутствие» агентуры альянса ОГПУ — Коминтерн во всех без исключения эмигрантских движениях говорит о его беспримерных в истории возможностях «проникновения» и «влияния», а не о склонности того или иного движения к работе на сей альянс.

И еще об одном. Евразийцев нередко

[4] Среди них были, надо сказать, и довольно-таки незначительные личности.

[5] Дочь.

[6] Петрункевич — это лидер, позднее председатель ЦК кадетской партии; членом этого ЦК являлся и Струве, который, в отличие от Толстого, был убежден, что переменив Николая II на Петрункевича превратит Россию в прекрасную страну западного типа. В 1917 году Николая сменил близкий к Петрункевичу Г. Львов. Но последствия этого Струве не отрезвили...

[7] Религиозная секта.

[8] Зарубежная благотворительная организация.

упрекали, так сказать, в «недооценке» значения христианства в судьбе России. К великому сожалению, к этим критикам присоединился сегодня интереснейший исследователь и публицист Михаил Назаров (в своем докладе «Русская идея и современность», произнесенном в августе 1990 года на VI Всезарубежном съезде русской православной молодежи); он утверждает, что евразийство «отказывается от причастности к стержню русской истории, отходит от христианского понимания судеб мира — в географическое толкование...»

Это по меньшей мере странное обвинение. Ведь в основных евразийских трудах можно прочитать, например, следующее: «Евразийцы — православные люди. И Православная Церковь есть тот светильник, который нам светит; к Ней, к Ее Дарам и Ее Благодати зовут они своих соотечественников» (П. Н. Савицкий — признанный глава евразийства). Или: «Евразийство не может мириться с превращением православия в простой аксессуар... Оно требует подлинного православия, оправославления быта» (Н. С. Трубецкой).

Другое дело, что евразийцы не сосредоточивались на собственно богословских и церковных проблемах, а стремились глубоко понять «з е м н ы е» основы истории России, ее геополитические (а, конечно же, не узко «географические») судьбы. Но при этом ясно формулировалась «практическая» цель: «Воздать кесарево кесарю (то есть учесть все эмпирические политико-хозяйственные требования эпохи), не о т д а в и не п о в р е д и в Божьего» (Н. С. Трубецкой). (Разрядка моя. — В. К.).

Я ни в коем случае не хотел бы быть понятым в том смысле, что евразийцы были всегда и во всем правы (таких людей и таких историософских школ нет вообще). Однако едва ли целесообразно судить о евразийцах, исходя не из того, что е с т ь в их работах, а главным образом из того, чего в них н е т. На таком пути нам пришлось бы слишком многое перечеркнуть в развитии историософии и культуры вообще... Да, евразийцы в силу различных причин обратили свою мысль к земной, а не к горней ипостаси истории. Но непредвзятый взгляд обнаружит, что горнее постоянно подразумевается в их трудах. В том факте, что они обычно только бережно «касались» этой ипостаси, выразилось скорее целомудрие мысли, стремление ничем не «повредить», нежели некий «отход» (по слову Михаила Назарова).

И самое последнее. Легко предвидеть, что многие современные читатели давно забытых работ евразийцев недоуменно скажут: вот, мол, Россия на наших глазах распадается, а эти люди твердят о ее закономерном многовековом единстве?!

Однако Россия распадалась не раз — и в XIII веке после монгольского нашествия, и в начале XVII века, в Смутное время, и после 1917 года, — и все же возникала вновь из праха и пепла. Точное знание будущего недоступно людям, и нельзя с полной уверенностью утверждать, что и на этот раз Россия выйдет из испытаний невредимой. Однако даже если евразийская идея станет только отражением п р о ш л о г о, она все равно глубоко раскрывает причины тысячелетнего бытия России и безмерного богатства и величия этого бытия.

ОТКРЫВАЯ КОНТИНЕНТ РОССИЯ

ПЕТР САВИЦКИЙ

ЕВРАЗИЙСТВО [1]

Евразийцы — это представители нового начала в мышлении и жизни, это группа деятелей, работающих на основе нового отношения к коренным, определяющим жизнь вопросам, отношения, вытекающего из всего, что пережито за последнее десятилетие, над радикальным преобразованием господствовавших доселе мировоззрения и жизненного строя. В то же время евразийцы дают новое географическое и историческое понимание России и всего того мира, который они именуют российским, или «евразийским».

Имя их — «географического» происхождения. Дело в том, что в основном массиве земель Старого света, где прежняя география различала два материка — «Европу» и «Азию», — они стали различать третий — срединный материк — «Евразию», — и от последнего обозначения получили свое имя.

По мнению евразийцев, в чисто географическом смысле понятие «Европы», как совокупности Европы, западной и восточной, бессодержательно и нелепо. На западе — в смысле географических очертаний — богатейшее развитие побережий, истончение континента в полуострова, острова; на востоке — сплошной материковый массив, имеющий только р а з ъ е д и н е н н ы е касанья к морским побережьям; орографически* — на западе сложнейшее сочетание гор, холмов, низин; на востоке — огромная равнина, только на окраинах окаймленная горами; климатически — на западе приморский климат, с относительно небольшим различием между зимой и летом; на востоке это различие выражено резко: жаркое лето, суровая зима; и т. д. и т. д. Можно сказать по праву: восточно-европейская, «беломорско-кавказская», как называют ее евразийцы, равнина по географической природе гораздо ближе к равнинам западно-сибирской и туркестанской, лежащим к востоку от нее, нежели к западной Европе. Названные три равнины, вместе с возвышенностями, отделяющими их друг от друга (Уральские горы и так называемый «Арало-Иртышский» водораздел) и окаймляющими их с востока, юго-востока и юга (горы русского Дальнего Востока, Восточной Сибири, Средней Азии, Персии, Кавказа, Малой Азии), представляют собой особый мир, единый в себе и географически отличный как от стран, лежащих к западу, так и от стран, лежащих к юго-востоку и югу от него. И если к первым приурочить

* Орография — описание и классификация элементов рельефа.— Прим. ред.

САВИЦКИЙ Петр Николаевич — географ, экономист, публицист, мыслитель, один из основоположников евразийского движения. Родился в 1895 году в семье председателя земской управы Черниговской губернии. Окончил экономический факультет Петроградского политехнического института. Рано проявил себя во многих областях — в искусствоведении (его первая работа была посвящена каменному зодчеству Украины), в исторической науке и экономической географии, в журналистике и административной деятельности (работал помощником торгового советника в Норвегии). В годы гражданской войны был секретарем П. Б. Струве и разделял тогда западнические позиции. В 1920 году переехал в Болгарию, где познакомился с П. П. Сувчинским, Н. С. Трубецким и Г. В. Флоровским, составившими ядро евразийского движения. Непосредственным импульсом к объединению молодых мыслителей была рецензия Савицкого в журнале «Русская мысль» на работу Трубецкого «Европа и человечество». Вначале восприняв антизападничество Трубецкого критически, Савицкий вскоре страстно увлекся евразийством и принял в движении самое живое участие. В 1921 году переехал в Прагу, где работал приват-доцентом Русского юридического факультета, читал лекции по славяноведению в Пражском немецком университете, был директором Русской гимназии.

По характеру был чрезвычайно активной, энергичной натурой оптимистического склада, удачно сочетавшей академизм и общественную деятельность. В 20—30-е годы опубликовал множество работ и статей в «Евразийских временниках» и «Хрониках», наибольший интерес среди которых представляют такие труды, как «Россия — особый географический мир» (1927), «Месторазвитие русской промышленности» (1932), «Геополитические заметки по русской истории» (1927), «О задачах кочевниковедения» (1928). Несмотря на проявленные во время второй мировой войны непримиримый антигитлеровский настрой и патриотическое отношение к СССР после освобождения Праги, где он прожил весь период оккупации, в 1945 году был депортирован в Москву, осужден и помещен в трудовой лагерь в Мордовской области сроком на 8 лет. В 1956 году освобожден и возвращен в Прагу. В 1960 году за издание в Париже под псевдонимом П. Востоков книжки патриотических стихотворений был помещен в тюрьму чехословацкими властями и по счастливой случайности освобожден через год. Скончался в 1968 году в возрасте 73 лет в Чехословакии.

имя «Европы», а ко вторым — имя «Азии», то названному только что миру, как срединному и посредствующему, будет приличествовать имя «Евразии»...

Необходимость различать в основном массиве земель Старого света не два, как делалось доселе, но три материка — не есть какое-либо «открытие» евразийцев; оно вытекает из взглядов, ранее высказывавшихся географами, в особенности русскими (например, проф. В. И. Ламанским (а) в работе 1892 г.). Евразийцы обострили формулировку; и вновь «увиденному» материку нарекли имя, ранее прилагавшееся иногда ко всему основному массиву земель Старого света, к старым «Европе» и «Азии», в их совокупности.

Россия занимает основное пространство земель «Евразии». Тот вывод, что земли ее не распадаются между двумя материками, но составляют скорее некоторый третий и самостоятельный материк, имеет не только географическое значение. Поскольку мы приписываем понятиям «Европы» и «Азии» также некоторое культурно-историческое содержание, мыслим как нечто конкретное круг «европейских» и «азиатско-азийских» культур, обозначение «Евразии» приобретает значение сжатой культурно-исторической характеристики[2]. Обозначение это указывает, что в культурное бытие России в соизмеримых между собою долях вошли элементы различнейших культур. Влияния *Юга, Востока* и *Запада*, перемежаясь, последовательно главенствовали в мире русской культуры. Юг в этих процессах явлен по преимуществу в образе *византийской* культуры; ее влияние на Россию было длительным и основоположным; как на эпоху особой напряженности этого влияния можно указать на период примерно с X по XIII век. Восток в данном случае выступает главным образом в качестве одной из характерно «азиатских» («азийских», в указанном выше смысле) черт. Пример монголо-татарской государственности (Чингисхана и его преемников), сумевшей овладеть и управиться на определенный исторический срок огромной частью Старого света, несомненно сыграл большую и положительную роль в создании великой государственности русской. Широко влиял на Россию и бытовой уклад степного Востока. Это влияние было в особенности сильно с XIII по XV век. С конца этого последнего столетия пошло на прибыль влияние *европейской* культуры; и достигло максимума начиная с XVIII века... В категориях не всегда достаточно тонкого, однако же указывающего на реальную сущность подразделения культур Старого света на «европейские» и «азиатско-азийские» культура русская не принадлежит к числу ни одних, ни других. Она есть культура, сочетающая элементы одних и других, сводящая их к некоторому единству. И потому, с точки зрения указанного подразделения культур, квалификация русской культуры как «евразийской» более выражает сущность явления, чем какая-либо иная... Из культур прошлого подлинно «евразийскими» были две из числа величайших и многостороннейших известных нам культур, а именно культура эллинистическая, сочетавшая в себе элементы эллинского «Запада» и древнего «Востока», и продолжавшая ее культура византийская, в смысле широкого восточно-средиземноморского культурного мира поздней античности и средневековья (области процветания обеих лежат точно к югу от основного исторического ядра русских областей). В высокой мере примечательна историческая связь, сопрягающая культуру русскую с культурой византийской. Третья великая «евразийская» культура вышла в определенной мере из исторического преемства двух предшествующих...

«Евразийская», в географически-пространственных данных своего существования, русская культурная среда получила основы и как бы крепящий скелет исторической культуры от другой «евразийской» культуры. Происшедшим же вслед за тем последовательным напластованьем на русской почве культурных слоев азиатско-азийского (влияния Востока) и европейского (влияние Запада) «евразийское» качество русской культуры было усилено и утверждено...

Определяя русскую культуру как «евразийскую», евразийцы выступают как осознаватели русского *культурного своеобразия*. В этом отношении они имеют еще больше предшественников, чем в своих чисто географических определениях. Таковыми в данном случае нужно признать всех мыслителей славянофильского направления, включая Гоголя и Достоевского (как философов-публицистов). Евразийцы в целом ряде идей являются продолжателями мощной традиции русского философского и исторического мышления. Ближайшим образом эта традиция восходит к 30—40-м годам XIX века, когда начали свою деятельность славянофилы[3]. В более широком смысле к этой же традиции должен быть причислен ряд произведений старорусской письменности, наиболее древние из которых относятся к концу XV и началу XVI века. Когда падение Царьграда (1453 г.) обострило в русских сознание их роли как защитников Православия и продолжателей византийского культурного преемства, в России родились идеи, которые в некотором смысле могут почитаться предшественницами *славянофильских* и *евразийских*. Такие «пролагатели путей» евразийства, как Гоголь или Достоевский, но также иные славянофилы и примыкающие к ним, как Хомяков, Леонтьев и др., подавляют нынешних «евразийцев» масштабами исторических своих фигур. Но это не устраняет обстоятельства, что у них и евразийцев в ряде вопросов мысли те же и что формулировка этих мыслей у евразийцев в некоторых отношениях точнее, чем была у их великих предшественников. Поскольку славянофилы упирали на «славянство» как на то начало, которым определяется культурно-историческое своеобразие России, они явно брались защищать труднозащитимые позиции. Между отдельными славянскими народами безусловно есть культурно-историческая и более всего языковая связь. Но как начало культурного своеобразия понятие славянства — во всяком случае, в том его эмпирическом содержании, которое успело сложиться к настоящему времени, — дает немного.

Творческое выявление культурного лица болгар и сербо-хорвато-словенцев принадлежит будущему. Поляки и чехи в культурном смысле относятся к западному «европейскому» миру, составляя одну из культурных областей последнего. Историческое своеобразие России явно не может определяться ни исключительно, ни даже преимущественно ее принадлежностью к «славянскому миру». Чувствуя это, славянофилы мысленно обращались к Византии. Но, подчеркивая значение связей России с Византией, славянофильство не давало и не могло дать формулы, которая сколь-либо полно и соразмерно выразила бы характер русской культурно-исторической традиции и запечатлела «одноприродность» последней с культурным преемством византийским. «Евразийство» же в определенной степени то и другое выражает. Формула «евразийства» учитывает невозможность объяснить и определить прошлое, настоящее и будущее культурное своеобразие России преимущественным обращением к понятию «славянства»; она указывает — как на источник такого своеобразия — на сочетание в русской культуре «европейских» и «азиатско-азийских» элементов. Поскольку формула эта констатирует присутствие в русской культуре этих последних, она устанавливает связь русской культуры с широким и творческим в своей исторической роли миром культур «азиатско-азийских»; и эту связь выставляет как одну из сильных сторон русской культуры; и сопоставляет Россию с Византией, которая в том же смысле и так же обладала «*евразийской*» культурой..[4]

Таково в самом кратком определении место «евразийцев» как осознавателей культурно-исторического своеобразия России. Но таким осознанием не ограничивается содержание их учения. Это осознание они обосновывают некоторой общей *концепцией культуры* и делают из этой концепции конкретные выводы *для истолкования происходящего*. Сначала мы изложим указанную концепцию, затем перейдем к выводам, касающимся современности. И в одной, и в другой области евразийцы чувствуют себя продолжателями идеологического дела названных выше русских мыслителей (славянофилов и примыкающих к ним).

Независимо от воззрений, высказанных в Германии (Шпенглер) (б) и приблизительно одновременно с появлением этих последних, евразийцами был выставлен тезис отрицания «абсолютности» новейшей «европейской» (то есть, по обычной терминологии, западноевропейской) культуры, ее качества быть «завершением» всего доселе протекавшего процесса культурной эволюции мира (до самого последнего времени утверждение именно такой «абсолютности» и такого качества «европейской» культуры крепко держалось, отчасти же держится и сейчас в мозгу «европейцев»; это же утверждение слепо принималось на веру высшими кругами общества «европеизованных» народов, и в частности большинством русской интеллигенции). Этому утверждению евразийцы противопоставили признание *относительности* многих, и в особенности идеологических и нравственных, достижений и установок «европейского» сознания. Евразийцы отметили, что европеец сплошь и рядом называет «диким» и «отсталым» не то, что по каким-либо *объективным* признакам может быть признано стоящим ниже его собственных достижений, но то, что просто не похоже на собственную его, «европейца», манеру видеть и действовать. Если можно объективно показать превосходство новейшей науки и техники, в некоторых ее отраслях, над всеми этого рода достижениями, существовавшими на протяжении обозримой мировой истории, — то в вопросах *идеологии и нравственности* такое доказательство существенно невозможно. В свете внутреннего нравственного чувства и свободы философского убеждения, являющихся, согласно «евразийской» концепции, единственными критериями оценки в области идеологической и нравственной, многое новейшее западноевропейское может показаться и оказывается не только не выше, но наоборот — *нижестоящим* в сравнении с соответствующими достижениями определенных «древних» или «диких» и «отсталых» народов[5]. Евразийская концепция знаменует собою решительный отказ от культурно-исторического «*европоцентризма*»; отказ, проистекающий не из каких-либо эмоциональных переживаний, но из определенных научных и философских предпосылок.. Одна из последних есть отрицание *универсалистского* восприятия культуры, которое господствует в новейших «европейских» понятиях... Именно это универсалистское восприятие побуждает европейцев огульно квалифицировать одни народы как «культурные», а другие как «некультурные»... Следует признать, что в культурной эволюции мира мы встречаемся с «культурными средами», или «культурами», одни из которых достигали большего, другие меньшего. Но точно определить, чего достигла каждая культурная среда, возможно только при помощи *расчлененного по отраслям* рассмотрения культуры. Культурная среда, низко стоящая в одних отраслях культуры, может оказаться, и сплошь и рядом оказывается, высоко стоящей в отраслях других. Нет никакого сомнения, что древние жители острова Пасхи в Великом Океане «отставали» от современных англичан по весьма многим отраслям эмпирического знания и техники; это не помешало им в своей *скульптуре* проявить такую меру оригинальности и творчества, которая недоступна ваянью современной Англии. Московская Русь XVI—XVII вв. «отставала» от Западной Европы во множестве отраслей; это не воспрепятствовало созданию ею «самоначальной» эпохи художественного строительства, выработке своеобразных и примечательных типов «башенных» и «узорчатых» церквей, за-

ставляющих признать, что в отношении художественного строительства Московская Русь того времени стояла «выше» большинства западноевропейских стран. И то же относительно отдельных «эпох» в существовании одной и той же «культурной среды». Московская Русь XVI—XVII веков породила, как сказано, «самоначальную» эпоху храмового строительства; но ее достижения в *иконописи* знаменовали явный упадок по сравнению с новгородскими и суздальскими достижениями XIV—XV веков... Мы приводили примеры из области изобразительного искусства как наиболее наглядные. Но если бы так же в области познания внешней природы мы стали различать отрасли, скажем, «теоретического знания» и «живого видения», то оказалось бы, что «культурная среда» современной Европы, обнаруживая успехи по части «теоретического знания», означает в сравнении с многими другими культурами упадок по части «живого видения»: «дикарь», или темный мужик, тоньше и точнее воспринимает целый ряд явлений природы, чем ученейший современный «естествовед». Примеры можно было бы умножать до бесконечности; скажем более: вся совокупность фактов культуры является одним сплошным примером того, что, только рассматривая культуру *расчленённо по отраслям*, мы можем приблизиться к сколь-либо полному познанию ее эволюции и характера. Такое рассмотрение имеет дело с тремя основными понятиями: «культурной среды», «эпохи» ее существования и «отрасли» культуры. Всякое рассмотрение приурочивается к определенной «культурной среде» и определенной «эпохе». Как мы проводим границы одной и другой, зависит от точки зрения и цели исследования. От них же зависит характер и степень дробности деления «культуры» на «отрасли». Важно подчеркнуть принципиальную необходимость деления, устраняющего *некритическое* рассмотрение культуры, как *недифференцированной* совокупности... Дифференцированное рассмотрение культуры показывает, что нет народов огульно «культурных» и «некультурных». И что разнообразнейшие народы, которых «европейцы» именуют «дикарями», в своих навыках, обычаях и знаниях обладают «культурой», по некоторым отраслям и с некоторых точек зрения стоящей «высоко»...

2

Евразийцы примыкают к тем мыслителям, которые отрицают существование универсального «прогресса». Это определяется, между прочим, вышеизложенной концепцией «культуры». Если линия эволюции разно пролегает в разных отраслях, то не может быть и нет общего восходящего движения, нет постепенного неуклонного общего совершенствования: та или иная культурная среда и ряд их, совершенствуясь в одном и с одной точки зрения, — нередко упадает в другом и с другой точки зрения. Это положение приложимо, в частности, к «европейской» культурной среде: свое научное и техническое «совершенство» она купила, с точки зрения евразийцев, идеологическим и более всего *религиозным* оскудением. Двусторонность ее достижений явственно выражена в ее отношении к *хозяйству*. В течение долгих веков истории Старого света существовало некоторое *единое* соотношение между началом идеологически - нравственно - религиозным с одной стороны и началом экономическим — с другой; точнее: существовало некоторое идеологическое *подчинение* второго начала — первому; именно проникнутость *религиозно-нравственным* моментом всего подхода к экономическим вопросам позволяет некоторым историкам экономических учений (например, старому, середины XIX в., немецко-венгерскому историку Каутцу, работы которого доныне не утратили некоторого значения) объединять в одну группу — в их отношении к экономическим проблемам — столь разные памятники, как некоторые литературные фрагменты Китая, иранское законодательство «Вендидада», Моисеево законодательство, произведения Платона, Ксенофонта, Аристотеля, средневековых западных богословов. Экономическая философия всех этих памятников есть в известном смысле философия «подчиненной экономики»; в них всех подчеркивается, как нечто необходимое и должное, связь удовлетворения наших экономических потребностей с общими началами нравственности и религии. Экономическая философия европейских «новых веков» противоположна этим воззрениям. Не всегда прямыми словами, но чаще основами мировоззрения новая европейская экономическая философия утверждает круг экономических явлений как нечто самодовлеющее и самоценное, заключающее и исчерпывающее в себе цели человеческого существования... Было бы знаком духовной слепоты отрицать огромность тех чисто познавательных достижений, успехов в понимании и видении экономических явлений, которые осуществила и накопила новая политическая экономия. Но, выступая в качестве эмпирической науки и действительно в определенной и большей степени являясь таковой, новая политическая экономия в целом ряде своих положений влияла на умы и эпохи как *метафизика*... Подобно тому, как экономические идеи древних законодателей, философов и богословов связаны с определенными метафизическими представлениями, связаны с ними и экономические идеи новейших экономистов. Но если метафизика первых была философией «подчиненной экономики», метафизика вторых является философией «*воинствующего экономизма*». Этот последний есть в некотором смысле идеологическая цена, которую заплатила новая Европа за количественно огромный экономический подъем, который она пережила в новые века, и в особенности за последнее столетье. Есть нечто поучительное в картине — как на исходе средних и в течение новых веков древняя мудрость нравственного завета, исконная, сдерживавшая себялюбивые инстинкты человека словом увещаний и обличения, философия «подчиненной экономики» рушится под напором новых идей нового времени самонадеянно утверждающей себя теории и практики «воинствующего экономизма»[6].

Исторический материализм есть наиболее законченное и резкое выражение последнего. Отнюдь не случайна наблюдающаяся в эмпирически-идеологической действительности связь философии «подчиненной экономики», с одной стороны, и «воинствующего экономизма» — с другой, с определенным отношением к вопросам религии. Если философия «подчиненной экономии» всегда являлась и является придатком к тому или иному теистическому мировоззрению, то исторический материализм идеологически связан с атеизмом.

Ныне атеистическая сущность, скрывавшаяся в историческом материализме, сбросила с себя, как волк в сказке, прикрывавшую ее до поры до времени, для отвода глаз овечью шкуру эмпирической науки: атеистическое мировоззрение свершает в России свое историческое торжество; государственная власть в руках атеистов и стала орудием атеистической проповеди. Не вдаваясь в рассмотрение вопроса об «исторической ответственности» за происшедшее в России и ни с кого не желая снимать этой ответственности, евразийцы в то же время понимают, что сущность, которая Россией, в силу восприимчивости и возбужденности ее духовного бытия, была воспринята и последовательно проведена в жизнь, в своем истоке, духовном происхождении *не есть сущность русская*. *Коммунистический шабаш наступил в России как завершение более чем двухсотлетнего периода «европеизации»*. Признать, что духовная сущность государственно-господствующего в России коммунизма есть особым образом отраженная идеологическая сущность европейских «новых веков», — это значит сделать констатацию, эмпирически обоснованную в высокой мере (здесь нужно учесть: происхождение российского атеизма от идей европейского «просвещения»; занос социалистических идей в Россию с Запада; связь русской коммунистической «методологии» с идеями французских синдикалистов; значение и «культ» Маркса в коммунистической России). Но, увидев идеологическую сущность европейских «новых веков» в подобном, доведенном до логического завершения виде, русские, не принявшие коммунизма и в то же время не утратившие способности мыслить последовательно, не могут вернуться к основам новейшей «европейской» идеологии.

Из опыта коммунистической революции вытекает для сознания евразийцев некоторая истина, одновременно старая и новая: здоровое социальное общежитие может быть основано только на неразрывной связи человека с Богом, религией; безрелигиозное общежитие, безрелигиозная государственность должны быть отвергнуты; это отвержение ничего не предрешает относительно конкретных конституционно-правовых форм; в качестве такой формы в представлении евразийцев может существовать безвредно в известных условиях, например, и «отделение церкви от государства». Но в существе опять-таки высоко знаменательно, что первое, быть может, в мировой истории правление последовательно-атеистической и превратившей атеизм в официальное исповедание коммунистической власти оказалось «*организованной мукой*», по пророческому слову глубочайшего русского философа второй половины XIX века Леонтьева, системой потрясения и разрушения «общего блага» (во имя которого якобы водворялась коммунистическая власть) и такого надругательства над человеческой личностью, что бледнеют все образы и бессильны все слова — в изображении страшной, небывалой, кощунственно-зверской реальности. И повторяем: то обстоятельство, что владычество первой последовательно-атеистической власти оказалось владычеством звероподобных, — отнюдь не случайно. Исторический материализм и дополняющий его атеизм снимают узду и лишают сдержки первоначально животные (и в том числе первоначально-экономические, сводящиеся к грабительским) человеческие инстинкты. Основной определяющей силой социального бытия в условиях идейного господства материализма и атеизма оказывается ненависть, и приносит плоды, ее достойные: *мучение всем*; а рано или поздно не может не принести и последнего плода — *мученья мучителям*.

Россия осуществила торжество исторического материализма и атеизма; но те закономерности, которые проявились в ходе ее революции, касаются далеко не ее одной. Культ первоначально-экономического интереса и всяческой животной первоначальности обильным всходом пророс в сознании народов так же и вне пределов России; так же и вне пределов ее он не может являться основой длительного и благополучного общежития. Разрушительные силы, накопляющиеся в этих условиях, рано или поздно одолеют и здесь силу социального созидания. Проблему нужно ставить во всей ее глубине и ширине. Напору материалистических и атеистических воззрений нужно противопоставить идейную сущность, преисполненную драгоценного полновесного содержания... Здесь не может быть колебаний. С еще неслыханной прямотой и непреклонной решимостью — на широчайшем фронте и везде — необходимо начать и вести борьбу со всем, что хотя бы в малейшей степени связано с материализмом и атеизмом. Зло нужно прослеживать до корней; нужно в буквальном смысле *искоренять* его. Было бы поверхностной и бессильной попыткой бороться только с наиболее резкими проявлениями исторического материализма и атеизма и с одним коммунизмом. Проблема ставится существеннее и глубже. Нужно объявить войну «*воинствующему экономизму*», в чем бы и где бы он ни проявлялся... Во имя *религиозного* мировоззрения нужно собирать силы; с горячим чувством, ис-

ной мыслью и полнотой понимания бороться против специфического духа новой Европы... Поскольку эта последняя дошла до того исторического и идеологического предела, на котором находится ныне, с большим вероятием можно утверждать, что в какой-то срок будущего произойдет одно из двух: или культурная среда новой Европы погибнет и рассеется как дым в мучительно-трагических потрясениях, или та «критическая», по терминологии сен-симонистов, эпоха, которая началась в Западной Европе с исходом средних веков, должна прийти к концу и смениться эпохой «органической», «эпохой веры». Нельзя сверх известной меры попирать безнаказанно древнюю мудрость, ибо в ней правда; не на основе возведения в высший принцип первоначально себялюбивых человеческих инстинктов, преподанного в философии «воинствующего экономизма», — но на основе просветленного религиозным чувством обуздания и сдерживания этих инстинктов достижима высшая осуществимая на земле мера «общего блага». Общество, которое поддастся исключительной заботе о земных благах, рано или поздно лишится и их, — таков страшный урок, просвечивающий из опыта русской революции...

Евразийцы пытаются до конца и всецело уяснить и осознать этот опыт; вывести из него все уроки, которые из него вытекают; и быть в этом деле бесстрашными, в отличие от тех, кто в смятении и робости отшатнулся от звериного образа коммунизма, но не может отказаться от того, что составляет основу или корень коммунизма; кто, взявшись за плуг, глядит вспять; кто новое вино пытается влить в меха старые; кто, увидев *новую* истину отвратности коммунизма, не в силах отречься от старой мерзости «воинствующего экономизма», в какие бы формы ни облекался последний...

Личной веры недостаточно. Верующая личность должна быть *соборна*.

Евразийцы — православные люди. И Православная Церковь есть тот светильник, который им светит; к Ней, к Ее Дарам и Ее Благодати зовут они своих соотечественников; и не смущает их страшная смута, по наущению атеистов и богоборцев поднявшаяся в недрах Православной Церкви Российской. Верят они, что хватит духовных сил и что борение ведет к просветлению...

Православная Церковь есть осуществление высшей свободы; ее начало — *согласие*; в противоположность началу *власти*, господствующему в отделившейся от Нее Римской Церкви. И кажется евразийцам: в суровых делах мирских не обойтись без суровой власти; но в делах духовно-церковных — только благодатная свобода и согласие суть благие руководители. «Европа» же в некоторых своих частях в делах мирских разрушает действенность власти и в делах церковных вводит тираническую власть...

Церковь Православная долгие века светила только тем народам, которые остались Ей верны; светила истинами своего вероучения и подвигами своих подвижников. Ныне, быть может, наступают иные сроки: современная Церковь Православная, продолжая преемство древней Церкви Восточной, получила от нее, как основное начало своего бытия, полную непредвзятость в подходе к формам экономического быта (столь противоположную приемам Западной Церкви, долгие века боровшейся, например, против взимания заемного процента[7]) и к достижениям человеческой мысли. И потому, быть может, именно Церковь Православная в наибольшей мере призвана, в рамках новой религиозной эпохи, осенить своим покровом достижения новейшей хозяйственной техники и науки, очистив их от идеологических «надстроек» воинствующего экономизма», материализма и атеизма; как в свое время, в эпоху Константина (в), Феодосиев (в), Юстиниана (в), древняя Церковь Восточная умела осенять, в рамках подлинной и вдохновенной «эпохи веры», весьма сложный и развитой экономический быт и значительную свободу богословски-философствующего мышления... В современной хозяйственной технике и эмпирической науке, каково бы ни было их развитие, нет ничего, что исключало бы возможность их существования и процветания в недрах новой «эпохи веры». Сочетание современной техники и науки с идеологией «воинствующего экономизма» и «атеизма» вовсе не обязательно и не неизбежно.

С религиозной точки зрения, хозяйственная техника, каковы бы ни были пределы ее возможностей, есть средство к осуществлению Завета, вложенного Творцом в создание человеческого рода: «И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею...» Эмпирическая же наука, с религиозной точки зрения, есть раскрытие картины Божьего мира, по мере успехов знания все более совершенное и полное и все ясней обнаруживающее Премудрость Творца...

3

Евразийство есть не только система историософских или иных теоретических учений. Оно стремится сочетать мысль с действием и в своем пределе приводить к утверждению наряду с системой теоретических воззрений определенной методологии действия. Основная проблема, которая в этом отношении стоит перед евразийством, есть проблема сочетания религиозного отношения к жизни и миру с величайшей, эмпирически обоснованной *практичностью*. Постановка этой проблемы обоснована всем характером евразийства. Евразийцы суть одновременно: отстаиватели религиозного начала — и последовательные эмпирики. Из фактов рождается их идеология; своей характеристикой российского мира как «евразийского» они как бы прилегают всем телом к каждой пяди родной земли, к каждому отрезку истории этого мира... Но недостаточно понимать факты — ими необходимо управлять в пластическом процессе истории. Поскольку люди, ощущающие мир религиозно, подходят к этой за-

даче, перед ними во всей своей обнаженно-наглядной и в то же время мистически-потрясающей реальности встает *проблема зла*. Евразийцы в предельной степени ощущают реальность зла в мире — в себе, в других, в частной и социальной жизни. Они менее всего утописты. И, в сознании греховной поврежденности и проистекающего отсюда эмпирического несовершенства человеческой природы, они ни в коем случае не согласны строить свои расчеты на посылке «доброты» человеческой природы. И раз это так, задача действия «в миру» встает как задача трагическая — ибо «мир во зле лежит». Трагизм этой задачи неизбывен; и единственно к чему стремятся евразийцы — это в ладе своих мыслей и действий быть на высоте этого трагизма. И твердое философское убеждение, и, мы сказали бы, сама природа русского исторического и национального характера, в котором соучаствуют евразийцы, исключает возможность сентиментального отношения к этой задаче. Сознание греховности мира не только не исключает, но требует *смелости* в эмпирических решениях. Никакая цель не оправдывает средства. И грех всегда остается грехом. Но, действуя «в миру», нельзя его устрашиться. И бывают случаи, когда нужно брать на себя его бремя; ибо бездейственная «святость» была бы еще бо́льшим грехом...

В практической области для евразийцев снята сама проблема «правых» и «левых» политических и социальных решений. Это подразделение неотразимо значимо для тех, кто даже в своих конечных целях держится единственно за ограниченные реальности человеческого существования, кто весь с головой ушел в понятия и факты политического и хозяйственного прикладничества. Кто *так* относится к этим вопросам, для того и нет иных ценностей, кроме конкретных политических и социальных решений, «левых» или «правых» по принадлежности; и за каждое такое решение каждый такой человек должен стоять неуклонно и «с остервенением» — ибо вне таких решений для него нет никаких ценностей и от него самого, как величины духовной, ничего не остается. И если раз принятое политическое и экономическое направление окажется не отвечающим требованиям жизни и непрактичным, то последовательный человек все-таки будет за него держаться, ибо это направление — уже он сам. Не таково отношение к практическим решениям евразийца. Для него существенен религиозный упор, который обретается вне сферы политической и экономической эмпирики. Поскольку решения этой последней сферы допускают религиозную оценку, хорошим может быть в отдельных случаях и «правое» и левое» решение, так же, как и плохим может быть и то и другое... Большое же число прикладнических решений безразлично с точки зрения религиозной. Понимая всю важность политического и хозяйственного прикладничества и в то же время не в нем полагая верховные ценности, евразийцы могут отнестись ко всей религиозно-безразличной сфере прикладничества с непредубежденностью и свободой, недоступною для людей иного мировоззрения. В практических решениях требования жизни — вне всякой предубежденности — являются для евразийца руководящим началом. И потому в одних решениях евразиец может быть радикальнее самых радикальных, будучи в других консервативнее самых консервативных. Евразийцу органически присуще *историческое восприятие*; и неотъемлемой частью его мировоззрения является чувство продолжения исторической традиции. Но это чувство не перерождается в шаблон. Никакой шаблон не связывает евразийца; и одно лишь *существо* дела, при полном понимании исторической природы явлений, просвечивает ему из глубины каждой проблемы...

Нынешняя русская действительность, более чем какая-либо другая, требует такого отношения «по существу». Отношение евразийцев к духовному началу революции выражено в предыдущем. Но в своем материально-эмпирическом облике, в созданном ею соотношении политической силы отдельных групп, в новом имущественном распределении она должна в значительной своей части рассматриваться как неустранимый «геологический» факт. Признать это вынуждает чувство реальности и элементарное государственное чутье. Из всех действенных групп «нереволюционного» духа евразийцы, быть может, дальше всех могут пойти по пути радикального и объемлющего *признания факта*. Факты политического влияния и имущественного распределения, которых в данном случае касается дело, не имеют для евразийцев первостепенного самоначального значения, являясь для них ценностями вторичными. Это облегчает для евразийцев задачу признания факта. Но факт во многих случаях исходит из мерзости и преступления. В этом тяжесть проблемы. Но раз мерзости и преступлению дано было, по воле Божьей, превратиться в объективный исторический факт, — нужно считать, что признание этого факта не противоречит воле Божьей. Какая-то мера прямого *фактопоклонства* лежит в эмпирических необходимостях эпох, которым предстоит найти *выход из революции*. В плане религиозном эту необходимость фактопоклонства можно приравнять искушению, через которое надлежит пройти, не соблазнившись: воздать кесарево кесарю (то есть учесть все эмпирические политико-хозяйственные требования эпохи), не отдав и не повредив Божьего. С точки зрения евразийцев, задача заключается в том, чтобы мерзость и преступление искупить и преобразить созданием новой религиозной эпохи, которая греховное, темное и страшное переплавила бы в источающее свет. А это возможно не в порядке диалектического раскрытия истории, которая механически, «по-марксистски» превращала бы все «злое» в «доброе», а в процессе внутреннего накопления нравственной силы, для которой даже и необходимость фактопоклонства не была бы одолевающим соблазном.

1. Предлежащая статья написана по просьбе иностранных друзей евразийства, для общего ознакомления с последним. Помещением ее в настоящей книжке «Евразийского временника» устанавливается связь этой книжки с предшествовавшими изданиями евразийцев.

2. От имени «Азия» как в русском, так и в некоторых романо-германских языках произведено два прилагательных: «азийский» и «азиатский». Первое, в историческом его значении, относится по преимуществу к той, обнимавшей западную часть нынешней Малой Азии римской провинции, а затем диоцезу*, от которых получил впоследствии свое имя основной материк Старого света. В первоначальном, более узком смысле термины «Асия», «асийский», «асийцы» употреблены, например, в «Деяниях Апостолов» (главы 19 и 20-я). Прилагательное «азиатский» имеет касательство ко всему материку. Корневой основой слов «Евразия», «евразийский», «евразийцы» служит первое, более древнее обозначение; однако не потому, что «азийство» в этом случае возводится исключительно к римским провинции и диоцезу; наоборот, евразийцы обращаются в данном случае к гораздо более широкому историческому и географическому миру. Но слово «азиатский» в силу ряда недоразумений приобрело в устах европейцев огульно-одиозный оттенок. Снять эту свидетельствующую только о невежестве печать одиозности можно путем обращения к более древнему имени, что и осуществлено в обозначении «евразийства». «Азийским» в этом обозначении именуется культурный круг не только Малой, но и «большой» Азии... В частности же, ту культуру, которая обитала в «Асии» времен апостольских и последующих веков (культуру эллинистическую и византийскую), евразийцы оценивают высоко и в некоторых отраслях именно в ней ищут прообразы для современного духовного и культурного творчества. Об этом см. ниже.

3. С точки зрения причастности к основным историософским концепциям, «евразийство», конечно, лежит в общей со славянофилами сфере. Однако проблема взаимоотношения обоих течений не может быть сведена к простому преемству. Перспективы, раскрывающиеся перед евразийством, обусловлены с одной стороны размерами совершившейся катастрофы, а с другой — появлением и проявлением совершенно новых культурно-исторических и социальных факторов, которые естественно не участвовали в построениях славянофильского миросозерцания. Кроме того, многое, что считалось славянофилами основоположным и непререкаемым, за истекшие десятилетия частью изжило себя или же показало свою существенную несостоятельность. Славянофильство в каком-то смысле было течением провинциальным и «домашним». Ныне, в связи с раскрывающимися перед Россией реальными возможностями стать средоточием новой европейско-азиатской (евразийской) культуры, величайшего исторического значения, — замысел и осуществление целостного творчески-охранительного миросозерцания (каковым и считает себя евразийство) должны найти для себя соответственные и небывалые образы и масштабы.

4. Последнее определение может претендовать на значительную историческую точность. Сущность византийской культуры определяется сочетанием многоразличнейших элементов. Токи религиозных, художественных и других импульсов, шедших с Востока, из Палестины, Сирии, Армении, Персии, Малой Азии, а также из некоторых частей Африки, сопрягались здесь с восприятием западной государственной и правовой традиции (бытие и развитие в Византии римского права). Также соприкосновение со степными культурами, столь определительное для образа русской культуры, не прошло в свое время бесследно для Византии. И многое в византийских модах и нравах восходит к заимствованию у степных «варваров», последовательными волнами набегавших на границы империи...

5. Это же положение приложимо к области искусства, в особенности к некоторым отраслям изобразительного искусства (художественное зодчество, ваяние, живопись), где недостаточность новейших «европейских» осуществлений, по сравнению с достигнутым более древними эпохами и другими народами, особенно явственна.

6. «Воинствующий экономизм» как инстинктивно стихийное начало человеческого бытия существовал и существует, конечно, везде и повсюду. Существенно, что в новой Европе этот принцип возведен в идеологическое начало.

7. Церковь Восточная, отклоняя на Никейском соборе 325 года предположение об издании запрета заемного процента, тем самым признала властное вмешательство в экономическую жизнь не приличествующим Церкви. На этом положении Церковь Восточная стояла во все последующие века, стоит и ныне... Практика Западной Церкви была иною. В ней запрет взимания заемного процента держался тысячелетие, и еще, например, Тюрго в XVIII в. был принужден считаться с ним как с живенной реальностью.

(Статья была напечатана в сборнике «Евразийский временник», книга IV, Берлин, 1925).

* Диоцез — с конца 3 в. н. э. административная единица Римской империи (всего — 12), в которую входило несколько (до 16) провинций. — Прим. ред.

П. СУВЧИНСКИЙ

К ПРЕОДОЛЕНИЮ РЕВОЛЮЦИИ

Чем длительней эпоха революции, чем революционный охват шире и глубже — тем ответственней реакция. (Подразумевается в данном случае творческая революция, которая есть в существе путь к новому и которая в случае удачи должна стать в России подлинной революцией — взамен революции ложной.) Катастрофический образ и размеры русской революции, «организованная мýка» большевистского ига прежде всего обращают внимание и усилия к проблеме уяснения причин революции и вызывают непосредственную жажду активного свержения коммунистической власти. Но поскольку действительность указывает на несомненную затяжку большевистского периода революции, есть время, наряду с осмыслением глубин и первопричин русской катастрофы и в непосредственном с ним сопряжении, во всей широте поставить проблему будущей и неизбежной русской реакции.

Эмоционально преодолеть революцию не удалось. Видимо, революционное помрачение и зло бунта будут побеждены в России путем длительного искуса народного сознания и совести. Поэтому реакция будет иметь достаточные сроки, чтобы всесторонне понять опыт русского бедствия и выступить не как слепая стихия мщения, а как зрелое, выработанное в страстях разрухи, творческое осознание будущей духовно-эмпирической России.

Проблема будущей реакции предельно ответственна и глубока, ибо революция опалила и возмутила все стороны и сферы русского бытия. Конечно, было бы жалким притязанием, от кого бы оно ни исходило, издалека пытаться так или иначе направлять процессы русской истории. Реакция, подобно революции, прорвется и определится стихийно и неожиданно. Однако, будучи началом конструктивным, определяясь пафосом борьбы с революционным разорением,— реакция в известной мере есть также и сознательное превозможение темных, хаотических инстинктов революции, итог творческого напряжения совести, мысли и воли. Если революционная тактика может сознательно расчислять и методично устраивать разруху, то неужели попытка установить будущие устои действительного строительства и восстановления разложенного бытия народа и страны может быть сочтена как решительно бесплодное гадание или ненужное подсказывание истории ее путей и обращений?!

Для того чтобы наметить и установить опорные начала будущего, нужно со всей пристальностью вглядеться в революционную действительность России, ибо уже в самом процессе революции намечаются те стороны народной одаренности, то существо русской нации, которые либо своеобразно противятся революционному натиску и воздействию, либо, отдаваясь им, все же органически в конечном итоге несовместимы с коммунизмом. Они-то и должны явиться основой преодоления большевизма и утверждением будущей реакции.

Прежде всего какая-то часть России духовно прозрела.

Это особенно ясно, если сравнивать нынешнюю духовно-идеологическую настроенность России и Запада. Религиозное возбуждение русского сознания — как-никак явление массовое. Между тем такое всеобщее бедствие, как мировая война, до сих пор не вызвало в Европе подлинной религиозной реакции в соответствующих войне размерах. Возросшее в некоторых странах значение католических клерикальных партий можно скорее учитывать как факт реакционно-политический, и, конечно, подлинного возврата к массовому религиозному исповедничеству в нем усмотреть нельзя. Следует признать, что Европа живет памятью христианства, запечатлевшейся в прикладном кодексе гражданской этики и морали.

Утверждения, что Россия в некоторой

СУВЧИНСКИЙ Петр Петрович — видный музыковед, искусствовед и публицист евразийского движения. Родился в 1892 году. Его ранние занятия музыкой тяготели к философскому осмыслению искусства, литературы. Серьезно изучал русскую и мировую историю. До революции был издателем одного из крупнейших музыкальных журналов в Киеве. В первые годы после революции эмигрировал в Софию, где сблизился с П. Н. Савицким, затем Н. С. Трубецким, Г. В. Флоровским и принял участие в первом евразийском сборнике «Исход к Востоку». Позднее переехал в Париж, где женился на дочери выдающегося русского философа Л. П. Карсавина, позднее сблизившегося с евразийством. В 20-е годы выпустил немалое количество ярких статей на историософские и литературно-искусствоведческие темы в «Евразийских временниках» и «Хрониках». Один из редакторов-издателей известного эмигрантского журнала «Вёрсты». Отличался парадоксальностью взглядов и эстетических вкусов, сочетая глубокую религиозность и приверженность к православию с любовью к искусству футуристического толка. С особенной силой концентрировался на теме смысла русской революции.

Параллельно с евразийской деятельностью активно занимался музыковедением, сотрудничал и находился в личных дружеских отношениях с Прокофьевым и Стравинским. После распада евразийского движения в конце 30-х годов, а особенно после второй мировой войны, сосредоточился на музыкально-эстетических проблемах и достиг значительной известности во Франции как музыковед и музыкальный критик. Умер в 1985 году в возрасте 97 лет.

своей части опомнилась и прозрела, не опровергает ни кощунства, ни богохульства, ни святотатства современности. Конечно, в настоящее время народ в массе выходит из религиозного быта, безумно отлучает себя от него, но в то же время яд коммунизма и прикосновение к реальному злу — ответно, в качестве противоядия, подняли страстный порыв *религиозного возбуждения* и наново поставили, пусть перед меньшинством, основные проблемы религии, веры и церкви. В свете религиозных свершений предстают ныне для многих катастрофы и события нашей эпохи. Преуменьшать значение этого также не нужно. Но есть и другое: опыт катастрофической реализации предельного социализма вскрыл и разоблачил первосущность его, которая в тактическом и постепенческом социализме действует скрыто и необличимо. Русская революция показала, что подлинный социализм не только формалистичен, но и онтологичен. Отныне ясно, что свое упорство и пафос социализм черпает не в прикладном осуществлении своих ирреальных идеалов общественного бытия и равенства, а в самой глубине подлинного богоборчества и христоборчества [1].

Опыт зла, который выпал на долю России и который является ее privillegium odiosum, в существе своем, конечно, есть опыт религиозного порядка.

Можно сказать, что «угашение духа», на котором строился весь замысел коммунистического овладения Россией, не удался. Погибая, Россия ожила в духе. Тут нельзя мерить в количествах и массах. Конечно, в большинстве русский народ захвачен жаждой материальных благ и страстностью своего буржуазного будущего. Но поскольку для народного вдохновения и для духовной экспансии нет законов, вспыхнувшее религиозное сознание меньшинства может найти себе отзыв в помраченной религиозной стихии всей русской страны, ибо явное попирание *богозаконности* мира у какого-то предела необходимо должно привести к реальному узрению границ божеского и человеческого, к религиозному вйдению первичной грани, пролегающей между сферой мировой богозаконности и пределами творческих возможностей человека.

Насколько первый этап революции разыгрывался главным образом в плане социально-политическом, настолько в дальнейшем революционный процесс сосредоточился в области духовно-религиозной. В этом легко удостовериться хотя бы по очередному вниманию, которое большевики уделяют противорелигиозной пропаганде. Самый факт революционизирования церкви, свидетельствующий о величайшем помрачении народного сознания и совести, есть прямое посягательство на самые священные достояния народа, и, может быть, предельное кощунство лучше всего покажет России, куда завела ее революция и от чего заставляет отступаться...

Но великие соблазны стоят и перед теми, кто уже прозрел и пытается опереться на устои духа, веры и церкви. Нужно не во зло использовать это обращение и суметь устоять на творческой и верной свободе духовной деятельности. Иначе доверие к вере сменится у маловерных новым обличительством и сомнением. А кто дерзнет назвать себя не маловерным!..

Если революции не удалось убить исключительное одарение боговозбужденности русской стихии и ее религиозную память, то не погасила она и реальное ощущение *эмпирического образа* России. Во всех бедствиях и унижениях революции Россия как в собственных глазах, так и в глазах всего мира неизменно предстает как непреодолимый, не поддающийся общеевропейской нейтрализации и унификации самобытно-державный, культурно-политический мир, преодолевающий какую-то судьбу. Будучи на апогее социалистической европеизации, Россия все-таки оказалась *противопоставленной* Европе. Даже обратно: революция обострила сознание русской культурно-политической особенности, привела к тому, что Россия наново почувствовала всю силу вытеснения и самодовления своего эмпирического массива. Ощущение суверенности культурной сопрягается в данном случае с ощущением и чаяньем суверенности государственно-политической.

В десятилетиях, предшествовавших революции, потеря духовно-культурного лика России сказывалась в массах как помрачение державного самосознания всего народа. Чувствовалась всеобщая усталость от державности и ощущалась *бесцельность* великодержавного бытия России, которое перестало действовать как органический стимул единства и мощи. Прорвавшаяся революция открылась небывалым политическим фактом добровольного санкционирования распада и разложения всей державно-государственной формы Российской империи. Это было явным признаком падения всех сил, сопрягающих воедино разнородные данности великого государства. Можно, конечно, отнести самопредательство России 1917—1918 года на счет воли и инициативы революционных элементов, но было бы правильнее видеть в этом факте обнаружение глубокого всенародного процесса обнищания державного самосознания, корни которого протягиваются в исторические судьбы России XVIII и XIX веков.

К началу мировой войны державно-исторического *задания* и самопонимания Россия не имела. Они были утрачены еще раньше. Эта утрата и беспомощность русского правительства и русского «охранения» в деле прямого внушения народу его исторического достоинства и задания сыграли, между прочим, роковую роль в длительной борьбе власти с революцией. Русская революция не была неожиданной катастрофой: одна часть общества издавна ставила ее себе как открытую цель, русский творческий гений пророчески предсказывал ее, правительство и русский консерватизм сознавали ее неминуемость и боролись с ней. Установка сознания революционной интеллигенции была точной, и ее тактика была последовательной: на русскую веру, культуру и быт было положено клеймо дикарства, варварства и

обскурантизма. Выставлялась единая цель — европейская просвещенность и всеуравнивающий прогресс.

Что же касается идеологии правительственно-охранительной, то она, создавая в качестве защиты декларации о самобытности русского народа и его призваниях (начиная от Магницкого, Уварова и кончая Катковым и Победоносцевым) (г), в то же время не давала никакого конкретно-самостоятельного, историко-активного задания Русскому государству. Наоборот, уступая общему ходу событий, Россия все сложнее втягивалась в общеевропейские политические сплетения, и тем самым правительство на деле опровергало свои идеологические предпосылки о создании самостоятельной судьбы для русской государственности.

Можно без труда проследить, как часто Россия выступала в международной жизни Европы и сопрягалась с ее судьбами без всякой существенной и органической для себя надобности. Имея несколько раз возможность нейтрально утвердить себя как великое, самодовлеющее целое, русская государственность фатально низводила свое значение до степени частного политического фактора, вынужденно слагающего общеевропейское сложное равновесие. В этом отношении политическая история России, «обоснование» и «оправдание» ее войн (в том числе и последней мировой войны) требуют к себе, особенно в настоящее время, обостренного внимания...

Революция, изолировав большевистский континент и выведя Россию из всех международных отношений, как-то приближает, помимо воли ее руководителей, русскую государственность (пока что скрытую под маской коммунистической власти), к отысканию своего самостоятельного историко-эмпирического задания и заставляет вдохновиться им. Одним из признаков, свидетельствующих о накоплении государственного самосознания в нынешней России, иногда считают национал-большевистскую доктрину. Но поскольку это течение стабилизирует в государственную систему революционно-преходящий порядок и, закрывая глаза на все мерзости революции и не ставя себе никаких духовных заданий возрождения, строит свою идеологию на революционных парадоксах (то есть посредством интернационала надеется создать национальное строительство России), оно не чем иным, как уродливым порождением революции, названо быть не может. Однако нужно признать, что какая-то трагически-роковая и, конечно, временная и частичная подмена в русском народном сознании действительно пока что наличествует: слепая «защита революции» является для некоторых, доныне затемненных русских людей, в сущности, бессознательной защитой национально-государственного суверенитета России.

Но рано или поздно русское самосознание должно будет до конца уяснить себе истинный духовно-эмпирический образ России; это по-новому осветит также и проблемы международно-политического самоутверждения; уже и сейчас имеются симптомы, что в национальном сознании произошла также и *верная* реакция на национальное самопредательство 1917—1918 гг.: что вопросы подлинного национального бытия и достоинства уже и сейчас ощущаются временами резко и обостренно в кругах, где доселе вовсе не думали об этих вопросах.

Если симптомы этого уяснения уже наличествуют в русском сознании, тем неотложней следует их развить в широкую и цельную идеологию, могущую вызвать к себе ту *народную страсть*, которую революционеры сумели внушить некоторым элементам русского народа к идее интернационала. Здесь должны сопрячься в некоторое единство элементы религиозного возбуждения и любовного видения земного образа России. Конечно, сближение сферы религиозной со сферой эмпирической таит в себе много опасностей и соблазнов. История знает множество примеров употребления во зло этого союза. Но кто верит в творческую наделенность России — должен на этот риск идти. Может быть, это сочетание, как часто бывало, принесет и России шаблонную реакцию, а может быть, искус и опыт ее революции направят русское будущее «к *небывалому*». Во всяком случае, сопряжение в единую идеологию и целепоставление проблемы русского духовного возрождения и исповедничества с проблемой эмпирической плоти и исторического образа России имеют в настоящее время больше шансов оказать помощь в деле преодоления русского развала и намечания путей строительства, нежели все промежуточные, безосновные идеологии и схемы формальной политики. Вообще все попытки врачевания России путем навязывания ей готовых политических формул и режимов до сих пор оказывались слепой, невыносимой схоластикой, жалкими психологизмами навсегда утерявших чутье России людей.

Но главное, призрачно горяча воображение *ближайшими* заданиями и активно-политическими планами, которым не суждено осуществиться, большинство эмиграции тем самым теряет понимание перспективы реальной, но более отдаленной; и, не видя осуществления своих лихорадочных и растерянных расчетов, эмиграция сама опустошает веру в свои силы, порождает болезненное нетерпение и приводит к соблазну малодушного соглашательства. *Эмоциональная контрреволюция* до сих пор не может стать *сознательно-волевой реакцией*, то есть не может обрести новую установку сознания и новое духовно-психологическое содержание.

Надрывно обличать революцию бесполезно. Сознавая все грехи и зло ее насилия, тем не менее необходимо воодушевиться творческим, конструктивным оптимизмом. Иначе расквитаться с происшедшим невозможно. Ибо чем дольше люди психически будут пребывать в атмосфере революционного зла, тем живучей будут революционные яды...

Эмиграция, лихорадочно и беспорядочно занятая обличением революции, мало задумывается над проблемой действительно творческой реакции.

Нужно понять, что современный большевизм перестал быть явлением исключительно социальным и политическим; он пророс неисчислимыми корнями и в настоящее время пронизывает и оплетает всю почву и подпочву русского бытия. Если не все признали коммунизм, если есть отрасли и явления русской жизни, которые ему противятся и будут противиться, то вся и всё в России так или иначе им деформированы, отравлены или искажены.

Дело в том, что наряду с державной усталостью и утратой чувства самопонимания была у России к концу XIX в. и в начале XX в. какая-то всеобщая *жажда самопроявления*, смутное сознание, что «история призывает Россию к ее очереди», которых не поняли и не сумели во благо использовать «реакция» и правительство. Не получив должного выхода, народное напряжение слепо и злосчастно отдалось тому волевому и императивному началу, которое сумело еще больше возбудить и сопрячь воедино все стороны и уровни, спутать все наклонности, дурные и хорошие, русского бытия, с тем, чтобы в порыве ослепленного бунта захватить Россию, заставить ее отречься от самой себя и отдаться чуждому и враждебному. Идти против большевизма с одной лишь политикой или моральным обличительством, вообще с каким-нибудь обособленным лозунгом борьбы бесполезно. Нужно выставить против большевистского фронта *соравный по охвату и широте*, подобный же ему фронт, который бы, развернувшись, повел бы наступление цепью — вернее, начал бы отбивать Россию одновременно и сопряженно по всем сторонам, направлениям и глубинам, захваченным революцией. Нужно глубоко перепахать российскую равнину, чтобы порвать всю подземную сеть разросшихся тонких корней большевистских плевел. И кроме того, только четкое и *всестороннее* представление будущего сможет заставить одуматься, убедить и притянет к себе изверившуюся и потерявшую себя Россию.

Между тем политическое доктринёрство некоторой части интеллигенции все еще продолжает свое вредоносное дело. С другой стороны, делаются попытки идеализировать дореволюционное прошлое, которое в сравнении со всем пережитым естественно встает в памяти как неоцененное совершенство. В обоих случаях продолжает сказываться действие двух основных и между собой сопряженных факторов дореволюционной России, которые ближайшим образом и привели к катастрофе. Оставляя в стороне общеевропейский кризис и глубинные причины революции, не следует (как это теперь иногда принято) односторонне судить только интеллигенцию, хотя она действительно предательски отступила от понимания и почитания державного бытия России и тем самым подточила его былые устои. Нужно решительно признать, что и дореволюционная власть в последние десятилетия явно утеряла непосредственно-живую связь с народом, культурой и современностью и за это она ответственна. Главное зло было не в недостатках строя, а в том, что, начиная с верхов власти, обнищало духовно, выродилось и потеряло свой смысл, императивность и даже стиль русское великодержавие.

Ведь в нынешней катастрофе нет ничего неожиданного; сбылось все писаное и предреченное (взять хотя бы страстные и упорные предостережения-пророчества К. Леонтьева). И если «русский консерватизм» и «русское охранение», сознавая ясно все грядущее, не смогли, однако, предупредить гибель «самобытной России», то значит, у них не было какой-то органической опоры, убеждающей воли и уверенности в себе, для того чтобы передать стране и народу, через головы «разночинцев, либералов и интеллигентов», «подрывавших основы», свое религиозно-государственное задание и, вопреки всему, защитить его правоту и осуществить в действительности. Ведь власть была еще сильной и автократной! Это нужно признать для того, чтобы сверх меры не идеализировать теперь русского консерватизма. Выступая в разные десятилетия второй половины XIX в. во всевозможных аспектах, русское «консервативное охранение», говоря обобщающе, не сумело возбудить к себе длительного и устойчивого доверия России как к началу и движению национально-культурному, ставящему себе целью самобытное *развитие* русского религиозно-культурного и государственно-общественного организма. Оно не оправдало своих идеалистических лозунгов и вызвало подозрение в смысле эгоистического соблюдения сословных и имущественных интересов. Что же касается именно верхов русской общественности, то они и не могли стать оплотом культурного «охранения», так как сами неудержимо стремились по пути денационализации и европеизации (неизбежно связанных с уклоном и либерализму). В результате действительный консерватизм оказался только политическим, а не национально-культурным, и стал решительно неубедительным для всей нации.

Если разразившаяся катастрофа русской революции имеет глубокие и далекие причины в историческом прошлом России, то конец XIX века был для этой катастрофы решающим сроком. Именно тогда настолько помрачились русские государственные и общественные горизонты, что для самых разнородных чутких людей 80—90-х годов стало ясно, что «ближайшее будущее готовит такие испытания, каких не знала история», что через какие-нибудь полвека, не более, русский народ из народа «богоносца» станет мало-помалу, и сам того не замечая, «народом богоборцем». Эта эпоха была для России трагической уже потому, что в это время внешний рост и державная политика России не имели никакого идеологического, национально-духовного выражения и возглавления[2]. Славянофильство к этому времени было почти изжито, и от него оставался лишь тяжелый псевдорусский стиль, который особенно в царствование Александра III наложил свою печать на все стороны «казенного» быта России (национально-славянофильское возбуждение, связанное с турецкой кампанией, оказалось фатально нежизнеспособным. Причины этого составляют одну из глубочайших проблем русской государственности и культуры). Сами «охранители», в сущности, становились западниками, отстаивая тем не менее реакцию, но уже узкополитическую. А так как «западничество» всегда отождествлялось с либерализмом, то естественно, что «западническая» реакция была неубедительной и вносила в сознание русского общества только путаницу понятий и сугубое раздражение. И, по существу, в каком-то смысле русское общество имело право быть недовольным: если реакция и правительство не сумели создать для пореформенной России самобытную эпоху всеобщего расцвета и сами стали на путь «европеизации», то не идти по этому пути дальше, к конституции и гражданской свободе, означало «действительно дышать исключительно азотом полного застоя». И жизнь в самом деле стала идти мимо государственности, перестала заряжать своей энергией общенародный аккумулятор русской державности, а наоборот, начала питать течения и настроения, которые рвали в сторону или же «подрывали основы». Это создавало ту гнетущую атмосферу безвыходности и озлобления, скуки и страха, в которой сложились самые мрачные и оправдавшиеся пророчества о русском будущем; в этой же атмосфере зародились Чехов, Андреев и Блок, «Конь бледный» Ропшина и «Петербург» Белого. А между тем были люди, которые твердили, «что Европа уже преходит образ мира сего» и что спасение Россия может обрести на самобытных государственных и общественно-экономических путях. Но этому лозунгу реакция не вняла. Конечно, можно было бороться с модой европейской либеральной общественности, но в таком случае *дòлжно* было в национальных масштабах создавать *свои* перспективы развития, прежде всего выделив целый ряд жизненно необходимых реформ, и в том числе реформу земельного устройства крестьян, психологически удовлетворительное и хозяйственно целесообразное разрешение векового «спора о земле», из однозной сферы политического либерализма, для того чтобы на этих реформах именно и строить независимое и *творческое* охранение религиозно-государственного существа России, чтобы сберечь ее внутреннюю структуру и исторический лик. Но всего этого не случилось...

Не место политическим счетам, пристрастным обвинениям и уличениям после роковой гибели религиозного и государственно-бытового уклада всей России. Многие факты революции, конечно, еще найдут себе форму искупления в религиозной совести будущих поколений. Но все-таки слепую реакцию 80—90-х годов и тупик 1917 года, тогдашние судороги, метафизическую пустоту, муки безвыходности и опустошенности нужно помнить не меньше, чем ужасы революционной поры.

Поздний исторический срок русской революции, происшедшей, когда гуманистический и социалистический идеализм обличен и начинает отчасти терять свою соблазнительность[3], а также фактическая необходимость всесторонней реконструкции России налагают на последующую за революцией эпоху сугубую ответственность. И если русская реакция не выявит обновленный религиозно-культурный и державный лик России, то можно сказать, что все страсти и жертвы революции окажутся неискупленными. Возврат к ощущению и пониманию образа и судьбы своей родины — воскресит и любовь к ней, которая должна быть осознана как категория религиозная. Насколько помрачено было русское предреволюционное патриотическое сознание, можно судить не только по злобствованию и предательству открытых врагов России; вырождение подлинного чувства родины сказалось и в русском творчестве (ярче всего у Блока и Белого), как будто исполненном любви и страсти к России, но в котором надвигающаяся катастрофа, проводимые бедствия и ужасы становились имманентными исключительно личной судьбе каждого автора и вызывали к себе с их стороны мучительную «радость страдания», почти садистические рефлексии, эгоистическую жажду гибели и распада, а не волевое противление грядущему бедствию.

В этом сказалось все бессилие людей эпохи русского духовно-общественного декаданса понять родину лично и идеально одновременно, то есть религиозно; понять, что дòлжно каждому сливать свою судьбу с судьбой родины, но в то же время нельзя уравноценивать личную биографию с бытием своей страны и своего народа, в какой бы мере личная жизнь в известные эпохи ни определялась этим бытием. Отношение к родине должно иметь аспект несоизмеримости со всеми внутриобщественными отношениями; потеря этой установки ведет к гибели патриотической гордости и к утверждению беспомощно-индивидуальной гордыни и исключает возможность патриотического *служения*. А служить — это значит, поняв судьбу своей родины, волею творить ее...

Бывают эпохи, когда историческое задание меркнет в самом сознании народа. Несмотря на все разложение России, народная память о себе и основные черты русской национальной одаренности пока еще живы. Их дóлжно прояснить и укрепить. Для этого следует попытаться создать на *неотменимых* устоях органического, православно-русского миросозерцания систему сопряженного наблюдения всех ныне развивающихся процессов и событий России. Лишь в зорком наблюдении и сопоставлении фактов можно обрести верное, непредвзятое суждение о русском настоящем и будущем. Однако нельзя оценивать происходящее, не имея твердых основ будущей реакции, которые бы концентрировали, оформляли и сводили воедино все данные опыта и наблюдений. Но, выбирая эти основы, нужно со всей ответственностью устанавливать *действительные начала* русского религиозно-эмпирического самоутверждения, без коих *действительно* немыслимо

строительство духа и государства будущей России. Выяснение **неотъемлемых догматов** русского бытия должно идти рядом **с творческим опытом** современной реальности. Одно без другого немыслимо, так как в противном случае грозит опасность либо нежизненного доктринёрства, либо безпринципного оппортунизма.

Идеология должна стать и методологией.

Возвращаться ревнивой памятью, помыслами и желаниями **к недавнему** прошлому бесполезно и даже вредно. Эта память для всех мучительна: чувство позднего раскаяния, роковой смысл всего происшедшего и понимание общей вины смешиваются с острым сознанием, что **можно** было избежать катастрофы, и с жаждой обличения того «поколения отцов», которое, разделившись на две стана, с одной стороны, открыто, злой волей наступало на Россию и наконец овладело ею, и с другой, по малосилию, не сумело заступиться за нее. Тяжела память о последнем полустолетии и в народе. Конечно, не потому, что режим был насильническим, как это принято по шаблону определять, а потому, что всеобщее духовно-моральное и государственно-сословное разложение проникало до самых глубин народных и создавало хворую, возбуждающую атмосферу, постоянно раздражало нервы и страсти народа, который хорошо понимал, что является объектом чужого спора.

Помнить и сознавать недавнее прошлое как страшный опыт необходимо, но не это прошлое нужно ставить в основу идеологического и эмпирического возрождения России. Необходимо во всей остроте и глубине пробудить **историческую память** России (конечно, не только эстетически и без искусственной архаизации), которая за последние века стала мельчать, потеряла способность синтетически охватывать всю прошлую судьбу своей веры, культуры и государственности, перестала прошлое воскрешать в настоящем.

В какой-то роковой срок бытия России произошел разрыв преемственной цепи народно-исторической памяти, и русское органическое прошлое для последующих поколений отсеклось и умерло. «Верхи русской культуры» уродливо приросли своими оскудевшими идеалами к XVIII и XIX вв., а народ перевел все свое историческое воспоминание в быт, и ныне, выходя из этого быта, вместе с тем выходит и из сознания своей истории. Но **религиозно-историческая память должна ныне сочетаться с современным видением**, для того чтобы прояснить и наново утвердить, что̀ в судьбе России является непреложным изначальным преданием и что̀ открывается ныне как творческое задание для будущих поколений. Далеко назад и далеко вперед, но ни в каком случае не к близкому прошлому,— вот куда должна звать будущая русская «реакция»!..

Потрясение революции сообщило России величайший разгон, зарядило ее стремительной и тяжелой инерцией, одновременно злой и положительной. Реакция должна это движение подхватить и динамически утвердить себя, заменив исступленный фанатизм интернационала страстью и творческим, самоначальным идеалом русской веры, культуры и державности.

Реакция должна сосредоточить, выразить и использовать весь многосторонний опыт революции; должна поставить перед Россией **максимальные** по ответственности проблемы религиозно-государственного и культурно-державного самоопределения и творчества. Когда же, как не после страшной своей революции, в состоянии Россия творчески напрячь все свои национальные силы и всенародным порывом установить действительно обновленные формы своего внутреннего бытия! Не может быть, чтобы огонь революции не закалил в России «пружины смелые гражданственности новой». Но чтобы быть удаче — реакция политическая должна стать актом всенародного, религиозно-культурного самовосстановления. В противном случае вместо реакции самоначально-творческой Россия, сорвав свой пыл в свержении коммунизма, очень быстро может встать на путь готовых европейских политических схем и режимов и тем уготовить себе реакцию еще менее национальную, чем большевистский интернационал.

Конечно, проще (и это безусловно будет для многих целью) как можно скорей ввести в привычные русла то национальное возбуждение, которое, нужно предвидеть, разольется широчайшей волной вслед за крушением коммунизма. Но не этого обрезывания крыльев национальному порыву должны желеть все те, кто стремится опыт революции использовать глубоко и существенно. Революция явила в своих катастрофах в собранном и обостренном виде весь исторический образ и все исторические грехи России, перебрала все тоны духовно-психического строя русского народа, которые уже давно перестали отчетливо сознаваться интеллигенцией из-за двух крайностей — отчасти из-за неподлинной идеализации народа, отчасти из слепого презрения к нему. В этой страшной сводке нужно разобраться: она свидетельствует не об одной бунтарской и богоборческой стихии народа; в ней нужно усмотреть еще и ожесточенный порыв (бессознательный, может быть) скинуть с себя чужие и чуждые формы и привилегии не своей культуры, а также и религиозное стремление найти **свою** правду общественно-государственного бытия. Однако социализм настолько использовал в своих интересах эту русскую настроенность, что придал конкретным проявлениям ее лживые и уродливые формы. Но в сокрытых пока еще глубинах русская революция, конечно, таит какое-то зерно национального гения, которое только в будущем, и при счастливых обстоятельствах, сможет дать свои плоды, которые, может быть, окупят все зло насилия и мерзости революции.

Как-никак, революция породила несомненных **героев** зла и разрушения.

Для того чтобы и реакция была **героической**, конечно, в обратном смысле, нужно прежде всего ее таковой захотеть, нужно конкретно понять всю ответственность, значение и смысл той эпохи, которая наступит после большевистского свержения. Все те, кто не загипнотизирован мертвыми политическими доктринами и прописями, все, кто хочет для России великого и творческого будущего, должны теперь же во всей широте поставить перед собой твердое и волевое задание, ибо если трагичен был колоссальный размах революционного разрушения, то еще более трагичной может оказаться реакция, лишенная великого масштаба и не приводящая к великим целям всенародного покаяния, самопознания и раскрытия.

Русская интеллигенция пережила страшный кризис своих идеалов и верований. И до сих пор еще, пораженная неудачей своего прошлого, она не может прийти в себя и наново организовать свою веру, мысли и чувства в стройное и твердое целепоставление. Порою кажется, что «организованная му́ка» большевизма, которая должна была особенно тесно объединить именно интеллигенцию, все-таки недостаточно сжала ее в своих тисках, и рассыпавшийся верхний культурный слой России до сих пор не сцементировался в единый крепкий общественный пласт. Не говоря о политиканствующей части эмиграции, для которой все просто и ясно, ибо ее планы дальше восстановления монархии или водворения демократического строя не простираются, нужно признать, что в широких кругах весь опыт последних лет до сих пор еще не осознан и не оформлен. Предстоящие цели религиозного строительства, государственного восстановления, вообще все конкретное будущее России — все это для большинства перспективы весьма туманные. Между тем в смутных идеалах и неопределенных мечтах легче всего разочароваться. И рано или поздно все те, кто ныне не пытается опыт прошлого и пережитого поставить в основу **реального задания** будущего, неминуемо окажутся перед лицом какой бы то ни было действительности (которая никогда не сможет удовлетворить их неопределенные чаяния и планы), как и раньше, до революции, на стороне принципиальной оппозиции и тем самым лишат будущее русское восстановление необходимого единодушия. Большевики удивительно сумели придать жизненность своей мертвой доктрине, поставить ее под знаки извращенного религиозного фанатизма и героического лже-идеализма. Страшно подумать, что подлинное национальное вдохновение, которое рано или поздно пробудит всю Россию, может быть сведено к общим политическим шаблонам и к реакционному формализму...

Обычно много говорят о различных исторических ошибках, но, кроме ошибок, существуют еще и **исторические грехи**; и не понять после стольких бедствий и несчастий истинного образа России, ее существа и исторического задания и тем самым не искупить грехов прошлого как раз и значит совершить новый величайший исторический грех, расплата за который в будущем неминуема. На протяжении последних веков европейской истории Россия не раз оказывалась противопоставленной Западу. Если современные русские поколения не придут в себя и не учтут нынешнего изолированного положения России, когда сама судьба в **последний, может быть, раз** открывает возможность для русского народа найти свои самоначальные и самостоятельные пути и возможности, чтобы побороть в лице революции злосчастное свое «западничество» и начать созидать по-новому, хотя и в каком-то соответствии с самым старым, свою духовно-эмпирическую судьбу, если и небывалый опыт революции не приведет к уразумению всей лживости основ современного «передового» строя жизни,— тогда нужно будет признать, что все страстные мечты и пророчества русских прозорливцев о назначении России были видением всего лишь великой исторической **возможности**, которую сама же Россия сознательно отвергла, предпочтя отдать себя общей судьбе европейской цивилизации.

Великие потрясения в каком-то отношении сами устанавливают взаимную оценку событий и **строят** коллективную волю, но, кроме того, нужна сознательная **восприимчивость** к необходимостям времени, **готовность** к общему действию; до сих пор их-то и нет среди деятелей и массы, ставящих себе целью преодоление революции. А без этого невозможно в кругу различных противоречивых интересов и частных суждений обрести единство в совести, вдохновении и воле — непременное условие нахождения общего выхода из революционной катастрофы; невозможно обрести силы, чтобы поднять из тьмы и гибели и наново воздвигнуть дух и плоть России.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Социализм противоположен христианству и борствует с ним прежде всего в своем сознательном смешении, в установлении лже-синтеза начал духа и плоти. Христианство как религия богочеловеческая категорически эти начала разделяет и устанавливает непреложную законность в отношениях между ними. Социализм же, с одной стороны отрицая творческий примат, автономию и онтологию духа, как бы материализует его, и с другой — сублимируя бытие материальное и провозглашая его предельной и достаточной целью человеческой жизни, этим самым сообщает материи и плоти некое подобие духовного качества, то есть как бы пневматизирует их. В силу этого устанавливается тот опорочивающий осмоз (одностороннее проникновение. — **Ред.**) между духом и плотью, который в глубинном существе противен откровению и учению христианства.

2. Славянофильская идея в формах, близких к ее первоосновам, никем уже не представлялась и не развивалась (И. С. Аксаков сконч. в 1886 г.); позднее и своеобразное славянофильство К. Леонтьева воспринималось в широких кругах как анахронизм и мракобесие; Катков был одиозен как официозный выразитель правительственной реакции. Влияние Страхова оставалось ограниченным. Теократический утопизм Вл. Соловьева того времени хотя и коренился в

учении Киреевского и Хомякова, но существенно видоизменял основные элементы старого славянофильства и сообщал им иной идеологический и эмоциональный смысл. В соблазнительной концепции русского «национального самоотречения», пресуществленного Рима и всемирной теократии Соловьева (которая условно повлияла и на Достоевского) исчезала вовсе острая славянофильская критика «раздвоения и рассудочности» Европы. К началу 80-х годов относится и разрыв Соловьева с И. С. Аксаковым, причем ближайшим поводом расхождения были католические соблазны Соловьева и его проповедь о центральном авторитете римского престола. Несколько позже Соловьев отрицательно-критически высказался и о «ползучей» теории культурных типов Данилевского. Иную формулировку получило и миросозерцание Достоевского: считавший ранее, что мир должен быть спасен «одной только русской мыслью, русским Богом и Христом», в 1880 г. он в своей Пушкинской речи заявил, что «все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение...». Но важнее всего отметить, что самые широкие круги русского общества и даже в передовой интеллигенции в чисто обывательском и прикладническом смысле стали в эти годы слепо и нерассудительно «западопоклонничать», причем понимание перспектив русского будущего оказывалось в этих пассивных общественных кругах столь же затемненным, сколь притупленной была их историческая память к прошлому...

3. Это не значит, что в ближайшем будущем социализму не суждены еще крупные победы, ибо пока что он нерасторжимо связан с индустриальной цивилизацией; в возможности разрастания последней безграничны, так как современность научилась искусственно создавать тысячи лишних потребностей для того, чтобы их немедленно обслуживать и удовлетворять.

(Статья была напечатана в сборнике «Евразийский временник», книга III. Берлин, 1923).

Кн. Н. С. ТРУБЕЦКОЙ

МЫ И ДРУГИЕ

1

Евразийство как идейное движение впервые явственно заявило о своем существовании и стало кристаллизоваться в условиях и в среде русской эмиграции. Русская эмиграция есть явление политическое, непосредственное следствие политических событий. Как бы ни старались русские эмигранты уйти от политики, они не в состоянии сделать это, не перестав быть эмигрантами. Сущность беженства определяется наступившей вследствие известных политических событий паникой: как только причины, вызвавшие панику, перестанут существовать, беженец — поскольку он только беженец — может вернуться на родину. Сущность эмиграции определяется обострившимся до крайних пределов непримиримым разногласием между убеждениями одной части общества и убеждениями правящих кругов: пока это разногласие в убеждениях не кончится, эмигрант не может вернуться на родину, хотя бы там по части причин, вызывающих панику (террор, голод и пр.), все стало благополучно. А так как вернуться на родину составляет заветную мечту каждого, то беженцы всегда испытующе расспрашивают друг друга, не прошло ли то, что нагнало на них панику, и когда считать, что больше уже не страшно; а эмигранты испытывают друг друга вопросами о том, при каком характере правительства их принципиальные разногласия можно начать считать несущественными. Потому-то политические вопросы не сходят с уст, не выходят из голов русских эмигрантов. Потому-то эмигранты при всем желании вполне от политики отмахнуться не могут. И потому-то, в частности, к каждому идейному направлению в эмиграции подходят с точки зрения его политического содержания. — С той же точки зрения подходят, разумеется, и к евразийству.

Евразийцам предъявляют вопросы: кто вы — правые, левые или средние? монархисты или республиканцы? демократы или аристократы? конституционалисты или абсолютисты? социалисты или сторонники буржуазного строя? А когда на эти вопросы прямых ответов не получают, то либо заподозривают какие-то глубоко скрытые тайные козни, либо с пренебрежением пожимают плечами, объявляя все это «движение» чисто литературным направлением и простым оригинальничаньем.

2

Причина всего этого недоразумения, всего этого ненахождения общего языка заключается в том, что в евразийстве проблема взаимоотношений между политикой и культурой поставлена совершенно иначе, чем к тому привыкла русская интеллигенция.

Со времен Петра Великого в сознании всякого русского интеллигента (в самом широком смысле слова, понимая под интеллигентом всякого «образованного») живут, между прочим, две идеи, или, точнее, два комплекса идей: «Россия как великая европейская держава» и «европейская цивилизация». «Направление» человека в значительной мере определялось отношением его к этим двум идеям. Было два резко противоположных типа. Для одних дороже всего была Россия как великая европейская держава; они говорили: какой бы то ни было ценой, хотя бы ценой полного порабощения народа и общества, полного отказа от просветительных и гуманистических традиций европейской цивилизаци, подавайте нам Россию как могущественную великую европейскую державу. Это были представители правительственной реакции. Для других дороже всего были «прогрессивные» идеи европейской цивилизации; они говорили: какой угодно ценой, хотя бы ценой отказа от государственной мощи, от русской великодержавности, подайте нам осуществление у нас в России идеалов европейской цивилизации (то есть, по мнению одних, — демократии, по мнению других, — социализма и т. д.) и сделайте Россию прогрессивным европейским государством. Это были представители радикально-прогрессивного общества.

Трагедия заключалась в том, что ни то, ни другое направление по условиям русской жизни не могло быть проведено до конца. Каждая сторона замечала внутреннюю противоречивость и несостоятельность другой, но не видела, что сама заражена теми же недостатками. Реакционеры прекрасно понимали, что, выпустив на волю русскую демократию, то есть полудикую (с европейской точки зрения) мужицкую стихию, прогрессисты тем самым нанесут непоправимый удар самому существованию в России европейской цивилизации. Прогрессисты, со своей стороны, правильно указывали на то, что для сохранения за Россией ее места в «концерте великих европейских держав» ей необходимо и во внутренней политике подтянуться к уровню остальных европейских государств. Но своей собственной утопичности и внутренней несостоятельности, разумеется, ни реакционеры, ни радикалы-прогрессисты не понимали. Были, конечно, и представители «золотой середины», «разумного консерватизма», «умеренного либерализма», сочетавшие великодержавный патриотизм с требованием либеральной внутренней политики. Но в конце концов и эта часть русского образованного общества жила утопией. Обе основные идеи, которые в разных комбинациях друг с другом создавали все разновидности русских политических направлений, — идея русской великодержавности и идея осуществления на русской почве идеалов европейской цивилизации, — были в самом своем корне искусственны. Обе они явились порождением реформ Петра Великого. Петр вводил свои реформы насильственно, не спрашивая, желает ли их русский народ; и потому обе идеи, порожденные его реформами, остались органически чуждыми русскому народу. Ни Россия, как великая европейская держава, ни идеалы европейского прогресса русскому народу ничего не говорили. Европейская великодержавность России, с одной стороны, и европейское просвещение верхов русской нации, с другой, могли продержаться довольно долгое время над русской почвой при условии искусственной бессловесности и пассивности народных масс. Но и то и другое неминуемо должно было дать трещину и начать разваливаться, как только зашевелилась сама народная масса, составляющая природный фундамент всего здания России. Споры между русскими «направленьями», являвшимися, по существу, разными комбинациями идеи европейской великодержавности России и идеалов европейского прогресса, именно поэтому были бесплодны и праздны. На подмостках, не ими выстроенных, инженеры вывели стены здания и заспорили о том, какую лучше сделать крышу, совершенно забыв исследовать, как и для чего были сооружены сами подмостки, на которых велся весь спор; подмостки оказались живыми, зашевелились, стены здания треснули, повалились, похоронив под собой часть инженеров, и спор о крыше потерял всякий смысл.

Совершенно естественно, что как только вся эта картина открывается сознанию, так оказывается необходимым совершенно переменить весь подход к тем политическим вопросам, которые до сих пор волновали русское общество. Ведь эти

ТРУБЕЦКОЙ Николай Сергеевич — один из наиболее универсальных мыслителей русского зарубежья, крупнейший лингвист, филолог, историк, философ, политолог. Родился в 1890 году в семье известного профессора философии С. Н. Трубецкого. Рано проявил интерес к этнографии, фольклористике, языкознанию и философии. Окончил историко-филологический факультет Московского университета по отделению сравнительного языкознания. Был оставлен на кафедре Московского университета, где он публиковал статьи по северокавказской фольклористике, проблемам финно-угорских языков и славяноведению. Был активным учеником Московского лингвистического кружка, где наряду с вопросами языкознания серьезно изучал и разрабатывал мифологию, народоведение, этнографию, историю культуры, близко подходя к будущей евразийской теме. После событий 1917 года успешная университетская работа Трубецкого прервалась, и он, покинув Москву, был доцентом Ростовского университета. В 1920 году выехал в Болгарию, где стал профессором филологии в Софийском университете. В эмиграции Трубецкой расширяет сферу своей деятельности, особо сосредоточиваясь на проблемах философии истории. Свои раздумья он обобщил в книге «Европа и человечество» (1920), вызвавшей множество откликов в зарубежье и, по существу, положившей начало евразийству. С мыслителем сближаются П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский, Г. В. Флоровский. Все последующие годы, вплоть до самой смерти, Трубецкой постоянно участвовал в деятельности движения, публикуясь в «Евразийских временниках» и «Хрониках» и периодически выступая с докладами в различных городах Европы. Не оставлял он и лингвистику, где на некоторое время центром его научных интересов стала фонология. Пражский лингвистический кружок благодаря стараниям Трубецкого сделался центром мировой фонологии.

В дальнейшем Трубецкой переезжает в Вену, где он работал профессором славистики в Венском университете. После аншлюса Австрии гестапо уничтожило значительную часть его архива. В 1938 году Трубецкой в возрасте 48 лет скончался от астмы.

вопросы обсуждались при предпосылке известных культурно-исторических понятий, вошедших в умы образованного русского общества в послепетровскую эпоху, но оставшихся органически чуждыми русскому народу. Сознавая это и не веруя в универсальность и безотносительную ценность европейской культуры и не признавая общеобязательности «законов мирового прогресса», — надо прежде всего искать для политических вопросов новой культурно-исторической базы. На этом-то и основаны все недоразумения, возникающие у представителей старых русских «направлений» при встрече с евразийством. Евразийство отвергает не то или иное политическое убеждение старых направленцев, а тот культурно-исторический контекст, с которым это убеждение сопряжено в сознании старых направленцев. Правые, левые и умеренные, консерваторы, революционеры и либералы — все вращаются исключительно в сфере представлений о послепетровской России и о европейской культуре. Когда они говорят о той или иной форме правления, они мыслят эту форму правления именно в контексте европейской культуры или европеизированной послепетровской России; изменения и реформы, которые они считают необходимым ввести в политический строй или политические идеи, касаются только этого строя и этих идей, но не самого культурного контекста. Между тем для евразийства самым важным являются именно изменения культуры, изменения же политического строя или политических идей без изменения культуры евразийством отметаются как несущественное и нецелесообразное.

3

Культура всякого народа, живущего государственным бытом, непременно должна заключать в себе как один из своих элементов и политические идеи или учения. Поэтому призыв к созданию новой культуры заключает в себе, между прочим, также и призыв к выработке новых политических идеологий. Таким образом, упреки в том, будто бы евразийство проповедует политический индеферентизм, равнодушие к политическим вопросам, основаны на недоразумении. Но не меньшую ошибку представляет собой и встречающееся часто отождествление евразийства с каким-либо старым идейно-политическим направлением.

Евразийство отвергает безапелляционный авторитет европейской культуры. А так как с понятием европейской культуры принято связывать «прогрессивность», то многим кажется, что евразийство есть течение реакционное. Евразийство выставляет требование национальной культуры и определенно заявляет, что русская национальная культура немыслима без православия. Это опять-таки по привычной ассоциации у многих вызывает воспоминание о пресловутой формуле «самодержавие, православие и народность» и еще сильнее укрепляет убеждение, будто евразийство есть новая форма старой идеологии русских реакционеров. Этой иллюзии поддаются не только левые, но и очень многие правые, которые спешат объявить евразийство «своим». Это глубокое недоразумение. В устах русских правых формула «самодержавие, православие и народность» приобрела совершенно определенное значение. Строго говоря, вся эта формула свободно могла быть заменена одним только словом «самодержавие». Еще граф Уваров определял «народность», как соединение самодержавия с православием. Что же касается до «православия», то под этим термином представители правительственной реакции разумели (а бессознательно разумеют и теперь) синодально-обер-прокурорское православие. Весь «русский дух» русских реакционеров не идет дальше фальшивого поддельно-народного фразерства, высочайше утвержденного «дю-рюсс» петушками», дурного русского лубка XIX века, из-под которого так и сквозит мундир прусского образца и плац-парадная муштровка; все их «православие» не идет дальше торжественного архиерейского молебна в табельный день с провозглашением многолетия высочайшим особам. И православие, и народность для них не более как эффектный и ставший традиционным аксессуар самодержавия[1]. И только самодержавие является ценностью безотносительной. Подыскивая идеал в русском прошлом, эти реакционеры находят его в царствовании Александра III или Николая I. Все это, разумеется, не только не имеет ничего общего с евразийством, но прямо противоположно этому последнему. Провозглашая своим лозунгом национальную русскую культуру, евразийство идейно отталкивается от всего послепетровского, санкт-петербургского, императорско-обер-прокурорского периода русской истории. Не императорское самодержавие этого периода, а то глубокое всенародное православно-религиозное чувство, которое силою своего горения переплавило татарское иго во власть православного русского царя и превратило улус Батыя в православное Московское государство, является в глазах евразийцев главной ценностью русской истории. Евразийство смотрит на императорское самодержавие как на вырождение допетровской (дело идет, конечно, об этом самодержавии как духовной сущности, а не внешнеполитических его достижениях, которые в некоторых отраслях были громадны) подлинно-национальной монархии: оторвавшись от того «бытового исповедничества», которое в древней Руси было идейной опорой царской власти и в то же время находило в лице царя самого горячего своего ревнителя, императорское самодержавие естественно и неизбежно должно было опереться на рабство и милитаризм. Евразийство не может мириться с превращением православия в простой аксессуар самодержавия и с обращением «народности» в казенную декламацию. Оно требует подлинного православия, оправославления быта, подлинной, национальной культуры на основе «бытового исповедничества» и признает «своей» (своим идеалом) только такую монархию, которая бы явилась органическим следствием национальной культуры.

4

Недвусмысленно проявляемое евразийством отрицательное отношение к императорской России и подчеркивание ценности подлинно народной самобытности может породить и другое недоразумение, именно — отождествление евразийства с революционным народничеством. Однако от этого народничества евразийство резко отличается. Как бы то ни было, русское революционное народничество всегда являлось и является разновидностью социализма. Социализм же есть порождение романо-германской культуры, духовно совершенно чуждое евразийству. Если в умеренных течениях народничества элемент социализма выступает в ослабленном виде, то в принципе дело от этого не меняется. Отношение народников к так называемой «русской самобытности» в корне отлично от отношения евразийства к той же самобытности. Из народного быта, из народных чаяний и идеологий народничество искусственно отобрало только некоторые элементы: общинное хозяйство, сельские сходы, «артельное начало», идею о том, что «земля — Божья», рационалистическое сектантство, затаенную ненависть к «барам», разбойничьи песни и т. д. — все эти элементы быта, миросозерцания и умонастроения вырывались из их исторического контекста, идеализировались и объявлялись единственно существенными и подлинно народными, а все прочее отметалось. Отбор производился, конечно, по признаку пригодности к социализму. Все, что в быте и мировоззрении народа было, с этой точки зрения, непригодно, относилось на долю «отсталости» и «темноты народных масс», объявлялось подлежащим преодолению через школу и пропаганду. Школа и пропаганда должны были также привить народу те черты, которых ему «недостает», но которые присущи «демократии передовых стран Запада». Будущая Россия мыслилась народниками как образцовая демократическая республика с парламентаризмом, с небывало широким, распространяющимся чуть ли не на подростков обоего пола пропорциональным избирательным правом, с отделением Церкви от государства, с полной секуляризацией не только государственной, но и семейной жизни и т. д. и т. д. В этом идеале, целиком заимствованном у романо-германских идеологов, роль русской самобытности сводится только к тому, что земля мыслится распределенной на правах трудового пользования, причем даже это распределение, проводимое в государственном масштабе, лишь отдаленно напоминает русский сельский «мир». Таким образом, самобытность для народников играет роль лишь трамплина для прыжка в объятия нивелирующей европеизации. «Хождение в народ» в конце концов является лишь особой тактикой, особым приемом для достижения европеизации и водворения в России известных идеалов романо-германской цивилизации. Парадоксальное и внутренне противоречивое сочетание внешнего самобытничания с определенно западническим внутренним содержанием всегда и было ахиллесовой пятой русского революционного народничества.

Именно благодаря своей социалистической и западнической сущности революционное народничество совершенно неприемлемо для евразийства. Евразийство подходит к национальной русской культуре без желания заменить ее какими-либо романо-германскими формами жизни (уже осуществленными в Европе или только предносящимися воображению европейских публицистов), а наоборот, с желанием освободить ее от романо-германского влияния и вывести ее на путь подлинно самостоятельного национального развития. Разумеется, и евразийство не принимает без разбора всего, что есть или было в русском народе самобытного, и тоже производит выбор между ценным и вредным или безразличным. Но при этом выборе евразийство руководствуется не тем, пригодно ли данное явление русской культуры или народного быта к осуществлению того или иного заимствованного у европейцев идеала (социализма, демократической республики и тому подобное), а исключительно внутренней ценностью данного явления в общей связи русской национальной культуры. С этой точки зрения, приходится делать различие между явлениями случайными, преходящими, и явлениями глубинными, с непреходящим значением; далее — между явлениями творческими, созидательными и явлениями разрушительными. Так, общинное хозяйство, на котором особенно настаивают народники, есть преходящая, исторически возникшая и в процессе истории обреченная на исчезновение форма хозяйства: разрушение общины и переход к индивидуальной земельной собственности есть исторически неизбежное явление, которое нельзя задержать никакими искусственными мероприятиями. А поскольку общинное землевладение тормозит развитие производительности крестьянского хозяйства, его следует признать даже явлением культурно-вредным, разрушительным, и процессу его замены другими формами хозяйства следует помогать. Евразийство, проповедуя русскую самобытность, как раз общинное хозяйство не включает в число существенных признаков этой самобытности. Наблюдая народное мировоззрение и его проявления в народном творчестве, народники обходили молчанием или относили на долю «темноты» народную покорность воле Божией, идеализацию царской власти, духовные стихи, набожность, обрядовое исповедничество, между тем как именно все эти черты, сообщающие народному фундаменту устойчивость, с точки зрения национальной культуры, как раз наиболее ценны. Наоборот, все проявления бунтарства — как в умонастроении, так и в народном творчестве, ненависть народа к «барам», песни и предания, идеализирующие разбойников, сказ-

ки и насмешками над «попами» особенно ценились народниками, хотя ясно, что эти чисто отрицательные, антикультурные и антисоциальные проявления не заключают в себе никаких культурно-творческих потенций. Мало того, и в этих отрицательных элементах народной психологии народники умели ценить только самую их отрицательную сторону: ненависть к «барам» ценилась постольку, поскольку она была «социальной», между тем как именно в этой своей форме она, разрушая национальное единство, безусловно вредна, а положительной она может быть до известной степени только поскольку «барин» рассматривается как человек иной, ненациональной культуры.

Но основательнее всего расходится евразийство с народничеством в отношении к религии. Народники, как социалисты, являются в большинстве своем атеистами или в крайнем случае отвлеченными деистами. Из религиозной жизни народа они умели «понимать» и ценить только рационалистическое сектантство. Евразийство стоит на почве Православия, исповедуя его как единственную подлинную форму христианства, и признает, что именно в качестве единственной истинной веры Православие и могло сыграть в русской истории роль творческого стимула. Стоя на почве Православия, нельзя не видеть, что протестантство и рационалистическое сектантство являются чувствами и упадочными формами религии. Существование и некоторый успех в народе штундизма, баптизма и других рационалистических сект есть прискорбное последствие двух веков европеизации, во время которой верх и низы нации были отделены друг от друга пропастью. Интеллигенция и полуинтеллигенция, закрывая глаза на духовные богатства Православия, смотрела на него как на мужицкую веру и заражалась упадочными формами западного христианства, а правительство, заморозив и оказёнив русскую церковь и лишив ее всякой инициативы и свободы действия, не принимало никаких мер ни для поднятия уровня духовенства, ни к распространению подлинно православного просвещения. Если народ в эти тяжелые века русской истории часто уходил от Церкви, не находя в ней того подлинно православного духа, которого он бессознательно жаждал, и поддавался соблазнам дешевого рационализма, проникавшего к нему через сбитую с пути истинного интеллигенцию и полуинтеллигенцию, — то в этом печальном явлении можно видеть только симптом болезни. Правительство, боровшееся с этим симптомом (и притом полицейскими мерами), было, разумеется, не право, ибо лечить надо было саму болезнь. Но народники, которые в этих симптомах усматривали нечто здоровое, были еще более не правы. Ни с какой точки зрения рационалистическое сектантство нельзя считать явлением положительным: с точки зрения религиозной, это есть дегенерация, с точки зрения культурно-национальной, это есть микроб, разлагающий национальное единство и тормозящее дружную работу всей нации на ниве духовной культуры.

Для христианина Христианство не есть элемент какой-нибудь определенной национальной культуры, но есть фермент, могущий войти в разные культуры и стимулировать их развитие в определенном направлении, не упраздняя их самобытности и своеобразия. Вынуть из русского национального сознания Христианство или заменить в нем подлинное Христианство (Православие) упадочно-рационалистической подделкой — значит обесплодить русскую культуру и направить ее по пути разложения. Потому-то расхождение евразийства с народничеством как раз в религиозном вопросе исключает возможность какого бы то ни было сближения обоих направлений.

Следует подчеркнуть, что сущность расхождения лежит именно в области религиозной и в вытекающей отсюда положительной или отрицательной оценке тех элементов народной психики, на которых имеет быть построена национальная культура. Расхождение политическое менее существенно. Революционное народничество настаивает на своем республиканстве. Если представить себе такую православную русскую республику, в которой каждый избираемый на срок президент («посадник») смотрел бы на себя как на ответственного представителя народа перед Богом и как на защитника Православия, и если бы выборы президента и депутатов в этой республике не ставились в зависимость от игры на народных страстях и ненавистях, — то евразийство ничего не имело бы против такой республики и, во всяком случае, предпочло бы ее «европейски-просвещенной» монархии, насаждающей сверху европеизацию и держащей в кабале Церковь. Но независимо от вопроса о том, возможна ли вообще такая республика, можно усомниться в том, чтобы она удовлетворила революционное народничество.

5

Наконец, следует осветить еще один вопрос — вопрос о взаимоотношении между евразийством и большевизмом. Любители якобы «метких» словечек иногда пытаются охарактеризовать евразийство как «православный большевизм» или «плод незаконной связи славянофильства и большевизма». Хотя для всякого должна быть ясна парадоксальность этих contradictio in adjecto («православный большевизм» есть «белая чернота»), тем не менее вопрос о пунктах соприкосновения и расхождения между евразийством и большевизмом заслуживает более внимательного рассмотрения.

Евразийство сходится с большевизмом в отвержении не только тех или иных политических форм, но всей той культуры, которая существовала в России непосредственно до революции и продолжает существовать в странах романо-германского запада, и в требовании коренной перестройки всей этой культуры. Евразийство сходится с большевизмом и в призыве к освобождению народов Азии и Африки, порабощенных колониальными державами.

Но все это сходство только внешнее, формальное. Внутренние движущие моти-

вы большевизма и евразийства диаметрально противоположны. Ту культуру, которая подлежит отмене, большевики именуют «буржуазной», а евразийцы — «романо-германской»; и ту культуру, которая должна встать на ее место, большевики мыслят как «пролетарскую», а евразийцы — как «национальную» (в отношении России — евразийскую). Большевики исходят из марксистского представления о том, что культура создается определенным классом, евразийцы же рассматривают культуру как плод деятельности определенных этнических единиц, нации или группы наций. Поэтому для евразийцев понятия «буржуазной» и «пролетарской» культуры, в том смысле, как их употребляют большевики, являются совершенно мнимыми. Во всякой социально дифференцированной нации культура верхов несколько отличается от культуры низов. В нормальном, здоровом национальном организме различие это сводится к различию с т е п е н е й одной и той же культуры. Если при этом верхи называть «буржуазией», а низы — «пролетариатом», то замена буржуазной культуры пролетарской сведется к снижению уровня культуры, к упрощению, одичанию, которое вряд ли можно выставлять как идеал. В нациях нездоровых, зараженных недугом европеизации, культура верхов отличается от культуры низов не столько количественно (степенями), сколько качественно: то есть низы продолжают жить обломками культуры, некогда служившей нижней степенью, фундаментом туземной национальной культуры, а верхи живут верхними степенями другой, иноземной, романо-германской культуры; в промежуток между низами и верхами помещается слой людей без всякой культуры, отставших от низов и не приставших к верхам, именно в силу качественной разнородности обеих культур, сопряженных в данной нации. Вот применительно к таким нациям (к числу которых принадлежала и послепетровская дореволюционная Россия) можно говорить о желательности замены культуры верхов культурой низов, — но и то лишь метафорически. На деле при этом должен мыслиться не переход верхов к культуре низов, неизбежно элементарной, а к созданию верхами новой культуры с таким расчетом, чтобы между ней и культурой низов различие было не качественное, а в степенях. Только при этом условии упразднится бескультурность средних слоев нации, и национальный организм станет культурно-цельным, здоровым и способным к дальнейшему развитию в целом как в своих верхах, так и в низах. Это именно то, что проповедует евразийство. Но ясно, что при этом речь идет об изменении не классовой, а этнической природы культуры.

Находясь всецело во власти марксистских схем и подходя к проблеме культуры исключительно с точки зрения этих схем, большевики, естественно, оказываются совершенно неспособными выполнить то, что они затеяли, то есть создать на месте старой культуры какую-то новую. Их «пролетарская культура» выражается либо в одичании, либо в какой-то пародии на старую, якобы буржуазную культуру. И в том и в другом случае дело сводится к простому разрушению без всякого созидания. Новой культуры никак не получается — и это есть лучшее доказательство ложности самих теоретических предпосылок большевизма и невыполнимости самого задания «пролетаризации культуры». Понятие «пролетарской культуры» неизбежно бессодержательно, ибо самое понятие пролетариата, как чисто экономическое, лишено всяких других признаков конкретной культуры, кроме признаков экономических. Совершенно иначе обстоит дело с понятием национальной культуры, ибо всякая нация, являясь фактической или потенциальной носительницей и создательницей определенной, конкретной культуры, заключает в самом своем понятии конкретные признаки элементов и направлений культурного строительства. Поэтому новая культура может быть создана только как культура особой нации, до сих пор не имевшей самостоятельной культуры или находившейся под подавляющим влиянием иностранной культуры. И противопоставиться может эта новая культура только культуре иной нации или иных наций.

Из всего этого вытекает, что если общими задачами большевизма и евразийства является отвержение старой и создание новой культуры, то большевизм может выполнить только первую из этих двух задач, а второй выполнить не может. Но выполнение одной задачи разрушения без одновременного созидания, разумеется, не может привести к благим результатам. Прежде всего разрушитель, имеющий неясное или превратное представление о том, что на месте разрушенного должно быть воздвигнуто, непременно разрушит или постарается разрушить то, что надлежало бы сохранить. А кроме того, когда темп разрушения значительно быстрее созидания или когда за разрушением никакого подлинного созидания не следует, нация оказывается на долгое время в состоянии бескультурности, которое не может не отражаться на ней губительно. Таким образом, даже несмотря на то, что разрушительная работа большевиков часто направлена именно на те стороны привитой к России европейской культуры, которые и евразийцы считают подлежащими искоренению, евразийство все же не может приветствовать этой разрушительной работы. Что же касается большевицких попыток творчества, то эти попытки вызывают в евразийстве самое отрицательное отношение, так как они либо проникнуты марксистским утопизмом, либо направлены к пересадке на русскую почву еще новых элементов романо-германской цивилизации, притом большею частью элементов, наименее для евразийства приемлемых и носящих явные признаки вырождения и упадка романо-германской цивилизации[2].

Из всего только что сказанного явствует, что и в вопросах об отношениях России к народам не романо-германского мира сходство между большевизмом и евразийством является только внешним. Евразийство призывает все народы мира

освободиться от влияния романо-германской культуры и вновь вступить на путь выработки своих национальных культур. При этом евразийство признает, что влияние романо-германской культуры особенно усиливается благодаря экономическому господству так называемых «цивилизованных» над «колониальными» народами и потому призывает к борьбе за освобождение и от этого экономического господства. Но эта экономическая эмансипация не представляется евразийству как самоцель, а лишь одно из непременных условий освобождения от романо-германской культуры, освобождения, которое немыслимо без одновременного укрепления основ национальной культуры и дальнейшего самостоятельного развития этой последней. Большевики во всех этих вопросах преследуют прямо противоположные цели. Они только играют на националистических настроениях и самолюбиях азиатских народов и рассматривают эти чувства лишь как средство для поднятия в Азии социальной революции, которая должна не столько упразднить экономическое засилие «цивилизованных» держав, сколько способствовать водворению коммунистического строя с той особой, «пролетарской» культурой, которая, по существу, антинациональна и построена на самых отрицательных элементах той же европейской цивилизации, доведенных до карикатурной крайности. Под личиной поощрения азиатского национализма в большевизме скрыто то же нивелирующее, «цивилизаторское» культуртрегерство, и притом в гораздо более радикальной форме, чем у романо-германских колониальных империалистов. Не к созиданию подлинно национальных культур, преемственно связанных с историческим прошлым, а к национальному обезличению и разрушению всяких национальных основ хотят большевики привести все народы Азии и Россию.

Резюмируя, можно сказать, что большевизм есть движение разрушительное, а евразийство — созидательное. Оба движения полярно противоположны, и никакое сотрудничество между ними немыслимо. Эта противоположность между большевизмом и евразийством не случайна, а коренится в глубинной сущности обоих движений. Большевизм — движение богоборческое, евразийство — движение религиозное, богоутверждающее. Есть глубокая внутренняя связь между воинствующим отрицанием Творца и неспособностью к подлинному, положительному творчеству, между кощунственным отвержением Божественного Логоса и рационалистическим утопизмом, противоречащим естественной природе жизни. Но природа не допускает чистого разрушения. Она властно требует творчества, все, не способное к положительному творчеству, рано или поздно обречено на гибель. Большевизму, как всякому порождению духа отрицания, присуща **ловкость** в разрушении, но не дана **мудрость** в творчестве. А потому он должен погибнуть и смениться силой противоположной, богоутверждающей и созидательной. Будет ли этой силой евразийство,— покажет будущее. Но, во всяком случае ни реставрационная идеология, подменивающая творчество починкой и восстановлением разрушенного в его старом виде, ни народничество, столь же слепое, как и большевизм, к Богом установленным положительным задачам культурного строительства и столь же зараженное упадочными идеологиями вырождающейся европейской цивилизации, — признаками подлинного положительного творчества не обладают.

Положительное значение большевизма, может быть, в том, что, сняв маску и показав всем сатану в его неприкрытом виде, он многих через уверенность в реальность сатаны привел к вере в Бога. Но, помимо этого, большевизм своим бессмысленным (вследствие неспособности к творчеству) ковырянием жизни глубоко перепахал русскую целину, вывернул на поверхность пласты, лежавшие внизу, а вниз — пласты, прежде лежавшие на поверхности. И, быть может, когда для созидания новой национальной культуры понадобятся новые люди, такие люди найдутся именно в тех слоях, которые большевизм случайно поднял на поверхность русской жизни. Во всяком случае, степень пригодности к делу созидания национальной культуры и связь с положительными духовными основами, заложенными в русском прошлом, послужат естественным признаком отбора новых людей. Те созданные большевизмом новые люди, которые этим признаком не обладают, окажутся нежизнеспособными и естественно погибнут вместе с породившим их большевизмом, погибнут не от какой-нибудь интервенции, а от того, что природа не терпит не только пустоты, но и чистого разрушения и отрицания и требует созидания, творчества, а истинное, положительное творчество возможно только при утверждении начала национального и при ощущении религиозной связи человека и нации с Творцом вселенной.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Что это действительно так, видно хотя бы из того, что сейчас как раз в правых кругах чаще всего сокрушаются о современном положении русской церкви, что как раз в этих кругах участились случаи перехода в католичество и раздаются голоса о необходимости ценой разных уступок приобрести союзника для монархии в лице католичества.

2. Единственная область творчества, которая для большевиков, как партии, является действительно жизненно необходимой, есть область управления. Так как вызванный предвзятыми утопическими теориями неудачный шаг в этой области мог бы повлечь за собой падение их власти, большевики как раз в области управления менее всего руководствуются своими теориями и стараются быть только практиками. Кое-какие изобретения их в этой области несомненно удачны и имеют виды на будущее.

(Статья была напечатана в сборнике «Евразийский временник», книга IV, Берлин, 1925)

ПРИМЕЧАНИЯ СОСТАВИТЕЛЯ

а **В. И. ЛАМАНСКИЙ** (1833—1914) — выдающийся славист-историк и географ, в своих исследованиях доказывавший крупнейшую роль славянства в мировой истории.

б **ШПЕНГЛЕР** Освальд (1880—1936) — знаменитый западный философ, историк и культуролог, близкий к течению «философии жизни». В своем двухтомном произведении «Закат Европы» развивал представление о культуре как множестве замкнутых организмов, которые выражают коллективную народную душу и проходят определенный цикл жизни. На смену прошедшим восьми циклам, по мнению Шпенглера, грядет девятый, названный им русско-сибирским.

в **КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ** (274—337) — знаменитый византийский император, при котором Византия приняла христианство.

в **ФЕОДОСИЙ** (I и II) — византийские императоры, при которых христианство упрочило свое положение в империи.

в **ЮСТИНИАН I** (527—565) — крупнейший византийский император, покровитель церкви.

г **УВАРОВ** Сергей Семенович (1786—1855) — граф, видный государственный деятель России первой половины XIX века, министр народного просвещения (1833—1849) и президент Академии наук; автор формулы «православие, самодержавие, народность» как основного принципа политики и просвещения. По взглядам яркий представитель консервативно-охранительного патриотического направления.

г **МАГНИЦКИЙ** Михаил Леонтьевич (1778—1855) — крупный государственный деятель в царствование Александра I, сподвижник Сперанского.

г **КАТКОВ** Михаил Никифорович (1818—1887) — известный журналист и публицист 60—80-х годов, издатель «Русского вестника», по взглядам — ярко выраженный представитель консервативно-монархического направления.

г **ПОБЕДОНОСЦЕВ** Константин Петрович (1827—1907) — крупный государственный деятель России, обер-прокурор Синода, представитель консервативно-монархического направления.

Публикация и примечания составителя
С. КЛЮЧНИКОВА.

(Окончание следует)



Журналы русского зарубежья

Когда-то в далеком 1972 году в лондонской «Таймс» писали: «Небо над Россией становится все темнее, но когда-нибудь неизбежно придет рассвет. Когда настанет этот день, Валентин Пруссаков будет почитаться как один из его предвестников».

Не знаю, стал ли ближе этот рассвет над Россией сегодня, но по-прежнему предвестником его остается Валентин Пруссаков — писатель, публицист, издатель журнала «Светъ».

Подобно своим друзьям Эдуарду Лимонову, Евгению Вертлибу, Саше Соколову, бунтовавшим в шестидесятые годы против тоталитарных порядков здесь, в России, эмигрировавшим на Запад и столкнувшимся с американским тоталитаризмом, Валентин Пруссаков не пожелал молчать и в США. Они — из породы неугождающих. В опубликованном письме автору после выхода одной из книг Валентина Пруссакова Эдуард Лимонов признается: «С полуулыбкой и с грустным пониманием Вы пишете о вещах очень нерадостных, скорее трагических... В наше время, когда русского писателя весь мир представляет прежде всего в роли поденного разоблачителя преступлений социализма, очень трудно плыть против течения. А Вы с Вашей книгой оказались среди горстки русских писателей, плывущих против течения».

Да, во всех своих книгах, начиная с сатиры «Прощай, Ахиней!» и заканчивая «Оккультным рейхом», ныне выходящем в «Московском вестнике», Валентин Пруссаков плывет против течения. Он — за сильную, независимую Россию — и потому против ее разрушителей, против ее клеветников.

Родился Валентин Пруссаков в 1942 году в Москве. Журналист. Работал в издательстве «Наука». С 1973 года в эмиграции. Жил в Германии, Италии, США. Когда понял, что эмигрантские печатные органы «Новое русское слово», «Русская мысль», «Континент» и «Грани» столь же несвободны, как и советские, когда прошла цензурирование на радио «Свобода», не побоялся выступить открыто в англоязычной и американской печати со статьями на эту тему. Был изгнан отовсюду с работы, получив на себе свободу творчества. Его книги единодушно заклеймила «передовая эмигрантская общественность». Поневоле Валентин Пруссаков сближается с патриотическими кругами второй эмиграции, печатается в «Русской жизни», «Русском голосе», «Свободном слове Руси» — патриотических эмигрантских изданиях, знакомится с Виктором Муравиным, Григорием Климовым, Михаилом Туряницей, Владимиром Ниловым — ведущими публицистами русской Америки.

Возникает замысел создать свой журнал «Светъ», представляющий все патриотические направления русских американцев. Уже вышло десять номеров, с материалами которых знакомится сейчас читатель «Нашего современника».

Валентин Пруссаков — автор книг «Прощай, Ахиней!» (1982), «Ни СССР, ни США» (1983), «Постороннее» (1984), «Адольф Гитлер» (1989), «Оккультный рейх» (1991), «Форд и Гитлер» (1991). Живет в Нью-Йорке, печатается в газетах «Политика», «День» и других органах отечественной патриотической печати.

Владимир БОНДАРЕНКО.

ВАЛЕНТИН ПРУССАКОВ

РОССИЯ МОЖЕТ СВЕТИТЬ СОБСТВЕННЫМ СВЕТОМ

Журнал «Светъ» появился на свет Божий в Нью-Йорке в январе 1991 года. Естественен вопрос: зачем понадобилось еще одно эмигрантское издание? Разве их и без того не более чем достаточно? К тому же в самой России теперь порой печатают такое, что пару лет назад могло лишь померещиться в самом фантастическом сне. Постараюсь все же объяснить, почему у автора этих строк, проживающего в чудо-юде городе Нью-Йорке, возникла странная мысль о создании нового русского журнала, хотя и с «ъ», но вряд ли доходного и уж точно не похожего на бойкий московский «Коммерсантъ», которому, к слову сказать, «ъ» совсем не к лицу.

Давно замечено, что мы все живем в мире кривых зеркал. «Что есть истина?» На этот вечный вопрос трудно ответить любому человеку, но, пожалуй, особенно — русскому. За истекающее столетие темные силы (иногда справедливо называемые «темными», «сатанинскими», «бесовскими».— *В. П.*) наломали немало дров во всем мире, но больше всего они порезвились на российских просторах. Результаты их усердных усилий воистину грандиозны: мы отреклись от своей Традиции и Истории, попытались превратиться в каких-то общечеловеков и предали самих себя. К счастью, в последнее время появляются и симптомы выздоровления, пусть слабые и даже робкие, но они все же есть: возвращается историческая память и возникает понимание того, что мы сбились с курса, позволили обмануть себя и увести с естественного пути, уготованного нам Провидением. Однако и сегодня нет оснований для чрезмерного оптимизма. Культурная перестройка, например, первым делом заприметила (такое уж у нее зрение!) откровенно масонские «звезды»: Н. Рериха, Н. Бердяева, М. Алданова и других им подобных. Разрекламировали безмерно и всех подряд «войновичей» из «третьей волны». Но многие крупнейшие имена, относящиеся к национально-патриотическому крылу русской культуры, остаются по-прежнему в забвении. Так, практически совершенно забыты талантливейшие писатели Иван Наживин и Иван Родионов. Труды крупнейшего исследователя масонства Василия Иванова известны лишь считанным единицам. Упорно не видят «прорабы перестройки» и Бориса Башилова из «второй волны», автора ряда интересных, глубокопатриотических книг и 8-томной «Истории русского масонства». Странная слепота!

Приветствуя перемены в нашей стране, хотелось бы пожелать перестройке научиться видеть не только одним глазом. Способствовать ей в этом и пытается в меру своих сил и возможностей наш «Светъ», намеревающийся знакомить читателей с творчеством тех, кто «плыл против течения» и оказался «не ко двору» не только на родине, но и на якобы свободном и демократическом Западе.

Мы собираемся также публиковать и книги, широко известные во всем мире, но тщательно скрываемые могущественными наднациональными силами от «русских варваров». В их числе: «Майн кампф» Гитлера, «Сталин против Троцкого» Курцио Малапарте и «Кремлевский волк» Стюарта Кагана — первая биография Лазаря Кагановича, написанная его племянником и вышедшая в Нью-Йорке несколько лет назад.

И еще, может быть, самое главное: «Светъ» будет публиковать правду о Западе — ту правду, которую, увы, перестали замечать большинство советских журналистов и писателей, размышляющих все больше категориями желудка и потерявших зрение от неоновых огней западной рекламы.

В эти дни — всяческих нехваток и дефицитов — многие в России готовы «задрав штаны» бежать за мелкотравчатым счастьем, называемым иногда «американской мечтой». В связи с этим невольно думается: неужели же, перефразировав К. Леонтьева, вся наша славная и гордая история может завершиться жалким американским «пшиком»?.. Хочется верить, что Бог милостив и этому не бывать.

Наш журнал создан в основном для русских людей «в рассеянии сущих». «Русский тот, кто любит Россию»,— говорит Илья Глазунов. Соглашаясь с ним, считаем, что необходимо добавить: и русскую Традицию. Ее забвение, отказ от нее ради бредней чужеземных демагогов — страшное преступление, за которое мы все расплачиваемся в той или иной степени. И будем платить еще больше, если не остановимся и не зададимся вопросом: куда же идет (катится!) наша страна? Неужели кому-то не ясно, что Запад никогда не хотел и не хочет свободной, сильной и независимой России? Не понимать этого, на мой взгляд, могут лишь жалкие недоумки, клюнувшие на дешевку идеологического «Макдональдса».

Россия может и должна светить своим собственным светом. После всего происшедшего с нами в XX веке пора наконец понять и принять эту простейшую истину.

Нью-Йорк.

НОВЫЕ НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ, или НАШИ «МЕКСИКАНЦЫ»

Всего лишь несколько лет назад советские граждане, решившие «избрать свободу» и остаться на Западе, не испытывали никаких затруднений: нужно было только обратиться к властям с соответствующим заявлением. Все происходило буквально так, как в американском комедийном фильме «Москва на Гудзоне». В нынешние же гласно-перестроечные времена положение круто изменилось: для получения статуса политического беженца стало необходимым доказывать, что тебя преследовали или же что ты опасаешься вернуться на родину из-за боязни ареста. Однако в наши дни беглецам от перестройки, или, точнее, от пустых прилавков, весьма затруднительно доказать желаемое, ибо в своем большинстве они — люди совершенно аполитичные и, приехав, например, в Америку как бы в гости, ошалев от витрин местных магазинов, намереваются остаться здесь насовсем. В гостях же они чаще всего у дальних родственников или у приятелей, а порой у них в Штатах вообще никого нет. Законных оснований поселиться в стране тоже нет. И тем не менее они остаются...

Стоит заметить, что в основном это люди с высшим образованием, из обеспеченных семей. Нищета на родине им не угрожает. Жаловаться на антисемитизм им тоже не приходится: как правило, это этнические русские. Что же вынуждает их уезжать из своей страны, становиться нелегалами, уподобляться тысячам мексиканцев и другим гражданам южноамериканских стран? Опросив некоторое число невозвращенцев нового типа, я услышал примерно следующее: «Там тупик, безнадега. Никто ни во что не верит. Даже имея кучу денег, с ними нечего делать. Поэтому люди и покупают липовые визы в Америку, едут неизвестно к кому, только бы выбраться оттуда».

Мои собеседники говорили, что события в СССР их не интересуют. Они не читают газет. В перестройку не верят. Но что они делают, чем занимаются в Америке? Один из тех, с кем я встречался,— инженер московского НИИ,— моет посуду в ресторане, принадлежащем грузинскому еврею. По его словам, очень доволен. Получает же 3 доллара 25 центов в час, что больше чем на доллар ниже минимальной зарплаты в штате Нью-Йорк. Хозяину, понятно, очень выгодно. «А чему же вы радуетесь?» — спросил я инженера-посудомойку. «Я кушаю бесплатно, когда захочу и сколько захочу»,— гордо ответил он. «Кушает» — и счастлив. Поистине «каждому свое», как справедливо гласила надпись при входе в одно не очень веселое заведение.

Другой, седовласый невозвращенец из числа наших «мексиканцев», за такие же деньги, но уже без всякого угощения работает мальчиком на побегушках. Третий с утра до вечера циклюет полы... Всех их будут и дальше нещадно эксплуатировать за гроши, пока они не добьются законного статуса. А каковы их шансы на обретение такового? Некоторые из них уже побывали у адвокатов. Адвокаты (из русскоязычной публики) советуют всем своим клиентам одно и то же: объявить себя гонимыми по политическим или религиозным мотивам. Ну, раз адвокат сказал, значит, так оно и есть. Молодые и не слишком молодые люди толпами устремились в помещение Архиерейского синода Русской православной зарубежной церкви на 93-й улице в Нью-Йорке. Добрые церковные люди, руководствуясь христианскими побуждениями, стараются помочь «страждущим». Находят жилье, работу, иногда объявляют себя спонсорами. Говорят, что местная православная община неожиданно заметно увеличилась, а в русские монастыри в довольно ощутимом количестве стали пребывать новоиспеченные послушники и послушницы, плохо разбирающиеся в том, как надлежит вести себя в храме. Кое-кто правильно сообразил, что в Америке лучше податься в иудаизм, и, как болтают злые языки, в синагогах уже ведется запись самых настоящих гоев, желающих пополнить число обрезанных.. Не могут ли удовлетворить всех желающих? Ведь русское «нашествие» усиливается с каждым днем.

Надо сказать, что американские наблюдатели посматривают на это явление не без удивления. Русские люди никогда не были склонны покидать родину, а покинув ее, переживали тяжелее других. В начале XX века подсчитали, что за треть века из Российской империи выехало четыре миллиона подданных царя (в основном евреи, поляки и литовцы). В числе этих миллионов русские составляли менее 80 тысяч. Очевидно, что и теперешних, новых русских невозвращенцев, совсем немного по сравнению, скажем, с еврейскими мигрантами. В то же время нельзя не заметить, что это совершенно необычное и непривычное явление для русской жизни, в котором видится невооруженным глазом безграничный цинизм и поражающее отсутствие даже намека на патриотизм. Люди из первой и второй волн эмиграции, хотя и помогают «новым русским», не находят с ними общего языка. Несмотря на свою этническую русскость, наши «мексиканцы» по психологическому складу явно ближе представителям кочевых национальностей. При одном лишь слове «родина» на их лицах моментально появляется гнусная ухмылка. Как же их понять и принять тем, кто хоть и прожил почти всю жизнь на чужбине, но для кого Россия — «вечный ангел наш хранитель»? Глядя на «новоприезжих», старые эмигранты говорят, что русские люди в СССР перестали быть русскими..

«Мексиканская» тенденция, наметившаяся у определенного числа россиян, конечно, имеет прямое отношение к теперешнему экономическому кризису в СССР. Но она еще свидетельствует и о другом — о коррозии душевного склада русского человека. Тем, кто озабочен судьбами нашей страны, стоило бы поразмыслить над этим. Вместо пустых разглагольствований об «общечеловеческой цивилизации» им бы следовало лучше подумать о том, как возродить российский патриотизм, восстановить русского человека. Как справедливо писал еще Иван Аксаков: «...все эти притязания, вся эта драпировка плащом цивилизации — есть чистейшая нелепость, громкая фраза, прикрывающая лицемерие или совершеннейшую пустоту души и мысли, или сумбур умственный и нравственный, с которым, конечно, можно иной раз очень благополучно просуществовать, но на котором нельзя ничего созидать или основывать. Мы не думаем, чтоб было особенно выгодно для общества размножение такого рода амфибий, умственных и нравственных,— особенно же если эти амфибии получают в обществе положение довольно значительное...»

Русские люди-амфибии, включая и наших «мексиканцев»,— жуткая аномалия, еще один симптом общего неблагополучия. Не мешало бы обратить на него внимание, пока болезнь не зашла слишком далеко.

Нью-Йорк

В. ПЕТРОВ

ПРАВДА ОБ АМЕРИКЕ

(О ЧЕМ НЕ ПИШУТ СОВЕТСКИЕ ГАЗЕТЫ)

В Советском Союзе весьма обильно пишут о Соединенных Штатах. Причем перестроечная печать, как правило, пишет об Америке с неподдельным восторгом и представляет ее образцом для подражания. Однако на некоторые аспекты американской действительности гласность явно не распространяется, и советская пресса старательно их замалчивает. Постараемся же слегка восполнить этот пробел и сказать хотя бы несколько слов о том, без чего нельзя понять США и без чего любое знание об этой стране будет неполным.

Америка в полном и неотъемлемом смысле является масонским государством. История возникновения этого государства, пути его развития, все внешние события в политической, общественной и культурной жизни Америки связаны с развитием масонства в этой стране.

Из масонов состоял весь командный состав армии, принимавшей участие в восстании против Англии, называемом теперь Американской революцией. Все «отцы-основатели» Соединенных Штатов были масонами: Вашингтон, Лафайет, Гамильтон, Франклин, Джефферсон... «Декларация прав человека», выработанная в 1776 году, также масонское детище — она создана Джефферсоном и Франклином. Почти все президенты США были масонами, в том числе и нынешний президент страны Джордж Буш.

Масоны составляют подавляющее большинство в сенате и конгрессе. Масонами же захвачены все правительственные и общественные учреждения страны.

Словом, масонство не только влияет на государственную и общественную жизнь американцев, но оно управляет страной и является решающим фактором экономической и духовной жизни народа. (Между прочим, масонским братом является и теперешний католический архиепископ Нью-Йорка, кардинал О'Коннор.)

Второй решающий фактор государственной и общественной жизни Америки — еврейство. Оно пустило здесь глубокие корни, и это влияние, по мере увеличения еврейского народонаселения и еврейских капиталов, с каждым годом стремительно возрастает.

История евреев в Америке начинается с Христофора Колумба. 2 августа 1492 года более 300 000 евреев были изгнаны из Испании, и с этого момента господствующее положение Испании начало падать. На следующий день Колумб вышел в открытое море; его сопровождало значительное число евреев.

Открытие богатой страны приковало внимание всего мирового еврейства, которое в погоне за наживой устремилось в новую обетованную страну со всех частей света.

Во времена первого президента Джорджа Вашингтона в стране было всего 1000 евреев, но потом их число стало стремительно увеличиваться.

Национальная сплоченность евреев, их трудолюбие, энергия, настойчивость создают их финансовое и экономическое могущество.

В наши дни почти вся оптовая торговля, тресты, банки и природные богатства находятся под господствующим влиянием еврейских финансистов и их агентов.

Во всех сферах, имеющих международное значение, царят американские евреи.

В их руках вся «масс медиа», кино и искусство. Нью-Йорк — центральный пункт еврейства, его коммерческий рай. Этот город, как писал еще Генри Форд, «является местом, где весь американский ввоз и вывоз облагается пошлиной, местом, где продуктивная работа всей Америки платит дань хозяевам денег».

Руководящая роль в политике, государственных и общественных делах принадлежит евреям.

В этом отношении еврейству оказывает громадную услугу американское масонство, которое, как указывалось выше, во всей стране имеет широкое распространение.

Евреи принимают участие не только в американских ложах, но они имеют и свои, чисто еврейские ложи.

Достойно внимания, что в то время как в любой масонской ложе еврей может быть ее полноправным членом, ни один нееврей не может и помыслить быть членом независимого ордена Бнай-Брит. Число членов этой всемирной организации, большая часть которых принадлежит в то же время и к обычным ложам, достигло почти миллиона человек, и в лице этого союза иудеи управляют всемирным масонством.

В Бнай-Брите происходит выработка директив по обработке в самом широком смысле неевреев. Проведение же этих директив в жизнь является задачей всемирного масонства.

Масонский орден Бнай-Брит является скрытым центром управления всего мира. (Следует отметить, что в перестроечное время открылось отделение этой организации и в Москве.)

Влияние всемогущей плутократии на внутреннюю и внешнюю политику США, принимая во внимание вышесказанное, не подлежит сомнению.

У кормила государственной власти США стоит не демократия, а какая-либо партия, республиканская или демократическая, руководимая политическими дельцами в интересах банкиров и миллиардеров, которые, в свою очередь, подчинены и действуют в связи с указаниями скрытого центра, через денежную олигархию, прессу, масонские ложи и политические партии.

Скрытый центр владеет всем народом. Он организует выборы, избирает президента и создает нужное для себя правительство.

Выборы представителей «народа» — циничный обман и растление общественных нравов. Борьба партий — наглое издевательство над подлинной демократией; в ход пускаются все средства — шантаж, подкуп, обман и насилие.

Кандидаты раздают обещания направо и налево, сулят самые благодетельные реформы, своим сторонникам обещают деньги, теплые места и всякие блага.

В средствах и приемах обработки так называемого общественного мнения не стесняются: шантажируют, сбивают с толку агитацией ошалелых избирателей, завлекают с искусством заядлых шулеров в темную политическую гнусность и грязь; на каждом шагу развращение общественных нравов, принижение человеческой совести — вот фон предвыборной кампании в США.

Выборы главы правительства производятся в том же духе. При этих выборах главную роль играют деньги. Судьба выборов президента зависит от суммы затраченного на это дело капитала. Банкиры и денежная плутократия для проведения нужного кандидата затрачивают колоссальные средства.

Само собой разумеется, капитал даром не растрачивается — вложенные в это предприятие средства стараются вернуть с лихвой. От всей этой операции выигрывают только те, кто действительно руководит всей политикой, на долю же демократии перепадают гроши в виде денежной подачки.

Подкупы и продажная власть не дают здорового государственного порядка. Борьба партий за власть, постоянное колебание то в ту, то в другую сторону вынуждают стоящих у власти уходить со своих постов, а победители, зная, что через год или два их постигнет та же участь, стараются извлечь из своего положения возможно большие для себя выгоды.

Девиз «Ловите шанс» — руководящее правило американских чиновников. Взяточничество, продажность и личные своекорыстные влияния господствуют во всей американской системе.

Во главе партий стоят отъявленные мошенники, акулы житейского моря, принцип жизни которых — урвать как можно больше.

Общественная польза и благо народа — нарядные декорации, за которыми скрывается зло, обман и обирательство народа.

Духом продажности и подкупа проникнуты все учреждения.

Независимый суд не существует. За деньги можно откупиться от всего и избежать справедливого возмездия.

В общественной жизни наблюдается то же самое.

Интересы широких народных масс находятся в подобном пренебрежении. Разговоры о благосостоянии населения — пустая трепотня, предназначенная для дурачков в СССР и некоторых других странах.

Ни в одной стране мира нет такого разительного несоответствия между колоссальными богатствами и безумной роскошью, с одной стороны, и неприкрытой бедностью и крайними лишениями — с другой. Наряду с излишествами и пресыщением существует и крайняя нужда, особенно поражающая туристов из Западной Европы.

Обманываемый народ не только терпит невзгоды, но вместе с газетами хвалит тот строй, который ничего не дает ему, кроме обмана и насилия.

Ядом, одурманивающим народ, является пресса. Газеты в распоряжении тех, кто создает политическую погоду и дает направления внутренней и внешней политике государства, то есть заправил масонства. Зависимые от подачек с масонского стола, газеты или молчат, или кричат о том, что приказано, но они никогда не говорят правды. Народ не знает и не догадывается о том, что его одурачивают ловкие проходимцы и поворачивают общественное мнение по своему усмотрению. Народ подчиняется внушению, начинает верить в свободу печати, силу и справедливость общественного мнения, в истину и полезность народовластия. Газеты и продажные партийные лидеры заставляют народ слепо и без рассуждений верить в то, что все делается во имя «свободы», «права» и «равенства», «прогресса» и «демократии».

Положение не меняется от того, какая из двух партий у власти — республиканская или демократическая. Меняются только люди, система остается старая. Республиканцы и демократы работают на одну мельницу — масонов, служат масонству, а не народу, защищают интересы Всемирного масонского ордена, а не интересы американского народа.

Правление республиканцев и демократов служит лишь небольшой части населения, народ же, то есть примерно 90 процентов населения, оставлен на произвол судьбы, он только средство для незначительных групп капиталистов, объект эксплуатации, навоз, на котором пышным цветом возрастает царство самодовольной и пошлой плутократии, которая действует под псевдонимом демократии.

Американизм — воистину мировая угроза.

Американизм — это движение нивелирующей пошлости, которая захлестывает весь мир.

Ни мысли, ни творчества, ни вдохновения — ничего не дает миру эта страна. Киноразврат, рок-музыка, позаимствованная у африканских дикарей, однообразие и ужасающая духовная пустота.

Американизм — это разложение, смерть духа, героизма, красоты, опошление всех великих достижений человечества, это мировое хамство, которое является погребальным венком над жизнью всего человечества.

Русские люди не должны забывать, что Америка является резиденцией мирового тайного правительства и что большевистский переворот 1917 года производился на деньги Якова Шиффа, разумеется, не без ведома американского правительства.

Троцкий и другие коммунисты, связанные неразрывными узами с плутократией, были посланы из Америки с целью захвата власти и подчинения СССР интересам американского правительства. (Красная пятиконечная звезда, возвышающаяся до сих пор над Кремлем, — «подарок» американских масонов.)

Интересна маленькая деталь. Троцкий на пути в Россию был задержан английской полицией на пароходе как немецкий шпион. Его арест не был продолжителен. Милюков, министр иностранных дел правительства масона кн. Львова, предупрежденный по телеграфу Шиффом, потребовал от английского посланника Бьюкенена, чтобы он освободил «брата» Троцкого. Троцкий был освобожден и мог продолжать свою работу.

Революцию в России приветствовали не только известные круги Америки, но и сам президент США Вильсон, обратившийся с дружеским приветом к Советам. А в 1990 году, через 73 года после большевистского переворота, когда наша страна почти лежит в руинах, американский президент «брат» Буш шлет поздравления советскому правительству по поводу «радостного и знаменательного события»! Впрочем, удивляться не нужно: октябрь 1917 года, повергнувший в прах великую Россию, и в самом деле грандиозное торжество для масонской нечисти...

Американцы должны сбросить с себя масонскую удавку, и не только во имя собственных интересов, но и интересов всего человечества в целом. «Нельзя не выразить пожеланий, чтобы этот народ достиг той степени благосостояния, к которой он способен. Народ этот — надежда для всего рода человеческого. Он должен на деле показать, что люди могут быть свободны и спокойны без тех цепей, которые готовы накладывать на народ всевозможные тираны и шарлатаны» (Циммерман, «США в истории человечества»).

К сожалению, та свобода, о которой мечтали масоны, стала средством порабощения американского народа властью плутократии.

Народ американский, вместо того, чтобы стать «надеждой для всего человечества», превратился в орудие закабаления и порабощения других народов.

Мы не должны увлекаться несбыточными мечтами относительно «американской демократии» и должны понять, что учиться у нее нечему.

Америка не может вести справедливой политики относительно России, ибо американский народ не свободен, он находится в кабале наднациональных сил, которым принадлежит безраздельная власть над свободой и достоянием американского народа.

«В Америке, — отмечал Генри Форд, — существует «сверхкапитализм», обязанный своим бытием ложной мечте, что в золоте счастье. Этот «сверхкапитализм» есть то сверхправительство, которое не находится в связи ни с одним из существующих правительств и от всех них независимо, но чья рука тяготеет над всеми».

Золото владеет миром, и те, кто владеет им, — действительные повелители мира.

Подлинное сближение и культурное сотрудничество народов Америки и России наступит тогда, когда американский народ сбросит со своих плеч ярмо наднационального скрытого правительства и обретет не лживую бездушную свободу, а настоящую духовную свободу.

Для Америки, как и для всего человечества, наступит заря освобождения только после победы светлых сил добра над темными силами зла.

Золотой кумир достиг апогея своего могущества, но он не знает предела своим желаниям, он не утолил своей жажды тянуть соки из всего живого и живущего, — и в этом его слабое место.

Все, что основано на лжи и эгоизме, обречено на гибель. На этом гнилом фундаменте нельзя построить ничего разумного и прочного.

Созданное при помощи ухищрений, обманов и преступлений, капище маммоны рухнет и обратится в прах и небытие.

Восторжествуют вечные основы жизни: вера, любовь, справедливость и милосердие.

Русские националисты желают счастья американскому народу и успеха в борьбе с тиранией сверхправительства за освобождение и возрождение.

Нью-Йорк.



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

Россия: уроки сопротивления

Статья II

А ЗА НАМИ ИДУТ МАРОДЕРЫ...

ЖУРНАЛ «НАШ СОВРЕМЕННИК» И БОРЬБА ЗА РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В 70—80-е ГОДЫ

«Главный противник сейчас — русский национализм. Диссидентами мы займемся потом: их мы выловим за одну ночь»,— заявил Федорчук, возглавив в начале восьмидесятых КГБ. Политика его учреждения и всего партийно-государственного аппарата подтверждает — это установка не на день и не на год. «Русский национализм» всегда был для них врагом.

Всего один пример из области, где карающая рука власти действовала особенно наглядно и грубо. Уголовное дело Владимира Осипова, издателя патриотического журнала «Вече». 30 апреля 1974 года тогдашний шеф госбезопасности Ю. Андропов распорядился о проведении расследования «по факту издания антисоветского журнала «Вече». В колоссальном штате ведомства страха сам его главный надсмотрщик поспешил разгромить издание, печатавшееся в нескольких экземплярах на разбитой «Эрике». Не доверил ни одному из десятков тысяч своих клерков дело чрезвычайной государственной важности. Сам, не дожидаясь начала следствия, сформулировал обвинение. И сам проследил, чтобы наказание было максимально жестоким. Настолько пугал Андропова этот тонкий — но живой, с народной почвой связанный — росток русского самосознания.

Была создана огромная следственная группа. Комитетчики из Москвы, Ленинграда, Владимира почти год — с ноября 1974 по сентябрь 1975 — вели допросы и обыски, переворачивали вверх дном квартиры людей, хоть как-то связанных с «Вече». Исписали втрое пять томов — целая энциклопедия выстроилась на полках! Результат: восемь лет строгого режима.

Беспрецедентно жестокий приговор не был услышан на Западе. Он потонул в шумных восторгах по поводу подписания заключительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству, в котором 34 страны Европы и Америки торжественно клялись соблюдать права человека. Его заглушил гул оваций, покрывших сообщение о присуждении Нобелевской премии мира академику А. Сахарову.

Владимир Осипов стал первым политзаключенным, осужденным после Хельсинки. Нелепо думать, будто в КГБ и ЦК на самом высоком уровне не просчитали ситуацию. Они хотели испытать Запад — насколько серьезно относится он к соглашению и к нарушениям его. Гебисты, видимо, полагали, что приговор *русскому националисту* не вызовет той острой реакции, какую можно было бы ожидать в случае осуждения диссидентов с их западнической ориентацией. Расчет оказался точным. «Права человека» изначально не распространялись на «коренное население» России. Ни западные политики, ни коммунистические властители не хотели этого.

Потом, разумеется, репрессии настигли и диссидентов. За что они во многом должны благодарить смолчавший в деле Осипова Запад. Наивно полагать, что маховик террора, раскрутившись, станет с хирургической точностью вырезать одних, не затрагивая других.

И все же — в соответствии с установкой Федорчука (и тех, кто управлял до и после него) — по-разному преследовались враги номер один и менее опасные противники. За два года до процесса над редактором «Вече» состоялся суд над известными диссидентами П. Якиром и В. Красиным, издававшими «Хронику текущих событий». Казалось бы, карателям еще не связывал руки Хельсинкский акт. Тем не менее приговор был не в пример мягче, чем в случае с Осиповым: кратковременная ссылка в Рязань и Тверь — крупные культурные центры, расположенные к тому же неподалеку от столицы. Правда, и вели себя издатели «Хроники» далеко не так стойко, как «русский националист». Они заложили всех, кого знали, чьи фамилии могли припомнить. Но и впоследствии, когда «Хроника» была возобновлена Т. Великановой и Т. Ходорович, новых редакторов ждало тоже «гуманное» по советским меркам наказание.

Двойные мерки определяли отношение власти и к легально выходившим изданиям. Здесь не давали срока, борьба носила иной характер. Но она шла и была, пожалуй, столь же жестокой. Если Андропов опасался появления машинописного патриотического журнала, можно представить, как страшила его деятельность такого органа, как «Наш современник», выходившего в восьмидесятые годы трехсоттысячным тиражом.

Обращение к истории нашего журнала — не дань местному патриотизму. Хотя я сегодня один из самых «старых» сотрудников, и борьба, о которой собираюсь говорить, проходила (за исключением начального периода) на моих глазах и при моем участии. И все же отнюдь не сладкие воспоминания побуждают ворошить успевшие пожелтеть страницы газет. Тем более что «сладкого» в прошлом журнала немного. Вернуться к пройденному пути, спустя годы заново осмыслить его необходимо, чтобы лучше разобраться в сегодняшней ситуации.

Задача укрупняется тем, что «Наш современник», по свидетельству беспристрастного американского исследователя Д. Данлопа, был в восьмидесятые годы главным выразителем, «основным рупором» всего патриотического движения. «Русской партии», как в доступных для западного читателя терминах характеризует это движение Данлоп. В его книге «Новый русский национализм», изданной в Нью-Йорке в 1985 году, есть специальная глава: «Дело «Нашего современника», 1981—1982». Следует лишь уточнить — «дело» журнала возникло задолго до этого времени и не закончено до сих пор.

Сокрушительный удар был нанесен уже в период становления. 1972 год. Еще памятен разгром «Молодой гвардии», учиненный при участии самого Л. Брежнева. «Наш современник» принимает эстафету репрессированного издания патриотов. Новый главный редактор С. Викулов начинает собирательскую деятельность, объединившую вокруг «Современника» лучших русских прозаиков: В. Астафьева, В. Белова, Ю. Бондарева, К. Воробьева, Ю. Казакова, Ю. Нагибина, Е. Носова, В. Распутина, Г. Троепольского, В. Шукшина. В этот момент не какой-нибудь дежурный обозреватель — могущественный партийный идеолог, фактический руководитель агитпропа ЦК КПСС А. Яковлев обрушился на журнал и его авторов с критикой столь резкой, что она заставляла вспомнить худшие кампании сталинских времен.

Название статьи подошло бы скорее для постановления ЦК — «Против антиисторизма» («ЛГ», 1972, № 46). Видимо, выступление и призвано было подготовить партийный документ. «Новые богоносцы», «юродствования по поводу «мужицких истоков», — так говорилось о писателях «деревенской» школы и критиках М. Лобанове, В. Кожинове, А. Ланщикове, О. Михайлове. Кстати, приемственность «Нашего современника» по отношению к «Молодой гвардии» своеобразно закреплена в этой многословной инвективе. Разносу подверглись последняя статья М. Лобанова в «Молодой гвардии» и работа О. Михайлова «...» в «Нашем современнике». Уже сам по себе выбор адресатов критики, обрекавший новый журнал на длительное соседство ничего хорошего ему не предвещая. Тем более что идеолог ЦК обвинял авторов ни много ни мало как в покушении на учение вождя. «С кем же в таком случае борются наши ревнители патриархальной деревни и куда они зовут?» — вопрошает он с негодованием водрузившей ...ным прокурорам полдень ... И наконец за... ... идеологический капкан. «Полемика идет не только с Чернышевским, но и с Лениным».

Яковлев безжалостно гвоздит «ревнителей» тяжеловесным молотом привычной партийной риторики. «Тоскливые всхлипы выражают интерес к крестьянству, но не сегодняшнему социалистическому, а вчерашнему... Ревнители патриархальщины, восторгаясь созданным ими же иллюзорным миром, защищают то прошлое в жизни крестьянства, с которым без сожаления расстается современный колхозник. Если говорить точнее, то здесь речь идет даже не о старой деревне, а о том самом «справном мужике», у которого... богатый киот был ухоженным, а «книжек «школы богомерзкой» не водилось...»

Яковлев беспощаден, как пролетарская история: «Справного мужика» надо было порушить. Такая уж она неумолимая сила, революция, — рушит все, что восстает против человечности и свободы».

Читателям наших дней, знакомых с другими высказываниями А. Яковлева, с иным стилем и даже иным его обликом, думаю, полезно познакомиться с той давней статьей. Конечно, он бы не повторил сегодня свой гимн «неумолимой силе», да и вопрос о взаимоотношениях колхозника и «справного мужика» Яковлев-либерал решает иначе, чем аппаратчик Яковлев. В его новых высказываниях не выпячивается ненависть к православному «киоту». А вот слова о «человечности и свободе» звучат вполне современно, что заставляет задуматься о любопытных метаморфозах, происходящих с простыми понятиями, как только они попадают в руки партийных идеологов.

Как ни странно, именно чрезвычайная резкость тона яковлевской статьи спасла журнал от мгновенной расправы. Брежневское Политбюро все более превращалось в подобие императорского двора — со своим этикетом, сложными церемониями, тщательно культивируемой атмосферой бесстрастной благопристойности. Идеологические обвинения в стиле тридцатых годов на этом фоне выглядели неприличными. Результат оказался плачевным не для журнала (он был еще слишком молод, чтобы его заметил Л. Брежнев), а для самого А. Яковлева. Зам. зав. агитпропом послали в Канаду — учиться манерам и дипломатичности.

Однако уже в конце семидесятых престарелый генсек вынужден был обратить внимание на «Наш современник». И то, что он тем прочитал (то, что ему подчеркнули), наверняка не доставило удовольствия Брежневу. В историческом романе В. Пикуля «У последней черты» (№№4-7, 1979) слишком бросались в глаза карикатурные аналогии с днем нынешним, с новым кремлевским двором. Вряд ли писательская трактовка предреволюционных событий может быть признана строго научной или по-человечески справедливой, но генерального в данном случае интересовала отнюдь не историческая достоверность.

Последний номер с романом еще шел к провинциальным подписчикам, а в Москве с невиданной быстротой уже собралось правление Союза писателей. От отдела культуры ЦК присутствовали К. Долгов и С. Потемкин — куратор журнала, призванный бдительно следить за каждой публикацией. В результате родился первый из череды документов, официально заклеймивших лицо журнала: «...Постановили: 1. Согласиться с критикой романа В. Пикуля «У последней черты», высказанной на страницах газет «Правда», «Литературная Россия» и «Литературная газета». 2. Указать редколлегии журнала «Наш современник» и его главному редактору С. Викулову на ошибочность публикации романа В. Пикуля «У последней черты», страдающего существенными идейно-художественными изъянами и недостатками. 3. Обязать редколлегии и главных редакторов литературных журналов... повысить требовательность к идейно-художественным достоинствам публикуемых произведений, неуклонно руководствоваться при этом постановлением Центрального Комитета КПСС по идеологическим вопросам» (из протокола № 22 от 8.10.1979).

Читатели успели уже отвыкнуть от убийственно казенного стиля таких постановлений. Но мы не имеем права отворачиваться от пыльных страниц. Эти казенные строки порою и впрямь убивали. Было текущие тяжеловесные периоды, словно каток, прокатывались по человеческой жизни. И человек исчезал.

После того заседания литературных генералов коллектив журнала обновился на две трети. Были уволены оба заместителя главного редактора, ответственный секретарь, трое из четырех заведующих отделами. Кому-то из них удалось устроиться на новую работу, многие так и не смогли этого сделать. А на смену им шли новые люди, обреченные на поношения в прессе, на неусыпный цензурный контроль. И тем не менее нацеленные на борьбу.

В начале 1981 года заместителем главного редактора стал Юрий Селезнев. Человек удивительный. Замечательно красивый духовно и внешне. Бывают такие лица — мужество и благородство озаряют их изнутри. Он походил на воина Древней Руси. Высокий, подтянутый, со слегка откинутой назад головой, обрамленной густой кудрявой волной волос и аккуратной острой бородкой. И глаза — ясные, чуть прикрытые (как от степного солнца — он был родом с Кубани), устремленные вдаль. Настоящий витязь в дозоре, озирающий рубежи родной земли.

Он и был витязем, русским защитником, заступником. Он убеждал: третья мировая война началась в «невидимой области духа». И жертвой ее избрана беззащитная, не ведающая об опасности Россия.

Селезнев спешил собрать вокруг журнала лучших мыслителей, публицистов, критиков патриотической ориентации. Тогда приглашения сотрудничать с «Современником» были посланы В. Кожинову, М. Лобанову, П. Палиевскому, А. Ланщикову. И разумеется, Селезнев стремился превратить коллектив редакции в дружину единомышленников.

Тогда же, в начале 1981 года, Юрий Иванович предложил мне работу в отделе критики. До этого я издавал самиздатский журнал свободной поэзии «Московское время» и поначалу сомневался: приживусь ли в легальной прессе? До сих пор помню впечатление от первой редколлегии, где выступали главный редактор С. Викулов, Ю. Селезнев и другие сотрудники редакции. То, как они говорили о положении в стране, как оценивали публикации «Правды» и других партийных органов, по существу, не отличалось от привычных для меня разговоров авторов самиздата. С той разницей, что мы вели их на кухнях (правда, в присутствии почти открыто действовавших стукачей), а здесь каждое слово имело большую аудиторию и огромный резонанс.

Я заметил, что выступавшие (за исключением, пожалуй, одного Селезнева) даже не отдавали себе отчета в том, насколько опасны и вызывающи, с казенной точки зрения, их высказывания. Они говорили то, что казалось им само собой разумеющимся. И это производило куда большее впечатление, чем намеренное фрондерство. Их оппозиционность режиму была неосознанной — врожденной, органичной, по-крестьянски основательной.

Сразу же подчеркну: я не хочу представить моих коллег борцами с коммунизмом. Таких борцов было немного. И сидели они не в редакциях, а в лагерях. Смысл нашей борьбы был иной — мы боролись за возрождение России. Но, как выяснилось, причем очень скоро и при обстоятельствах драматических, движение к этой высокой цели неминуемо сталкивало нас с устоями официальной идеологии.

Новый состав редакции и новые публикации еще меньше, чем прежние, удовлетворяли ЦК. В 1981 году журнал напечатал ряд «необычно смелых», по словам Д. Данлопа, материалов — искалеченный цензурой роман М. Алексеева «Драчуны», где впервые в советской литературе рассказано о страшном итоге коллективизации — голоде начала тридцатых годов; рассказы В. Солоухина; статьи В. Шубкина и С. Семанова. А в конце года Ю. Селезнев, оставшийся за главного редактора, выпустил одиннадцатый номер, которому выпала особая судьба. В связи с ним принимались постановления Союза писателей и ЦК КПСС. Его поносила газета «Правда». На несколько лет (до официально введенной гласности) он стал символом борьбы за свободное слово, высшим ее достижением.

Спешно собранные для проработки литературные функционеры всплескивали руками: «от ума ли» объединение под одной обложкой нескольких «взрывоопасных» материалов? Действительно, долгие годы разумной тактикой легальной печати считалось рассредоточение правдивых публикаций. Специально высчитывали: один номер, второй, третий — теперь снова можно сказать правду. Селезнев презрел эту унизительную тактику. В одиннадцатом номере он опубликовал целое созвездие ярких и честных произведений: повесть В. Крупина «Сороковой день», статью В. Кожинова «И назовет меня всяк сущий в ней язык...», посвященную 160-летнему юбилею Ф. М. Достоевского, работы А. Ланщикова и С. Семанова. Строго говоря, в них не было никакого «криминала» (да и вообще журнал никогда не стремился к остроте ради остроты). Но и оглядки на идеологические рамки, в которые поставлена печать, в них тоже не было.

И тогда в отделе культуры ЦК родилась акция, призванная дать жестокий урок «русским националистам». Вслед за беззубым постановлением писательского союза по одиннадцатому номеру появилось постановление ЦК КПСС «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства». Его изложение опубликовано в «Правде» (30.07.1982).

«Художественное слово... всегда было острейшим оружием в борьбе за торжество марксизма-ленинизма, в идеологическом противоборстве двух мировых систем», — напоминали писателям. И переходили в бешеную атаку: «Нельзя мириться с тем, что в некоторых журналах опубликованы произведения, в которых события отечественной истории, социалистической революции (вспомнили Пикуля) (здесь и далее примечания мои.— А. К.), коллективизации («пристегнули» к нему Алексеева) изображены с серьезными отступлениями от жизненной правды. Отдельные публикации содержат предвзятые, поверхностные суждения о современности (карающая стрела в адрес Крупина)... Руководители журналов не всегда проявляют должную требовательность в работе с авторами».

Не забыты извечные «смутьяны» из числа критиков — В. Кожинов и А. Ланщиков: «...Появляются историко-литературные и литературно-критические работы, авторы которых явно не справляются со сложным материалом, обнаруживают мировоззренческую путаницу, неумение рассматривать общественные явления... с четких классовых позиций» (еще один взбунтовавшийся против классовых догм критик — М. Лобанов спустя год удостоился «персонального» постановления. Его статья «Освобождение», опубликованная в журнале «Волга», также была непосредственно связана с нашими публикациями: материалом размышлений о судьбе советской литературы и коллективизации стал роман М. Алексеева «Драчуны»).

Напомнив обо всех прегрешениях журнала, ЦК объявлял о жестких санкциях — «повышать роль первичных партийных организаций... в работе редакционных коллективов. Они должны активно влиять на тематическое планирование, на содержание публикуемых материалов, участвовать в подборе и воспитании кадров работников редакции, поддерживать атмосферу высокой ответственности за порученное дело, содействовать развитию в коллективах редакций критики и самокритики». Иначе говоря, ЦК вводил при главных редакторах литературных комиссаров, обязанных воспитывать их в коммунистическом духе, а при случае «стучать» на них (развитие критики и самокритики).

Да простят нас сотрудники других журналов — непокорность «националистов» обрекла их на необходимость терпеть комиссаров и в своих редакциях. Впрочем, основная тяжесть удара пришлась именно на «Наш современник». Постановление ЦК, свидетельствует Данлоп, «было со всей очевидностью направлено против «деревенщиков». «Совершенно очевиден неосталинский характер этого постановления, как и гонений на «деревенщиков» и русскую партию», — добавляет американский исследователь.

В книге Данлопа не уточняется, кто стоял за постановлениями 1979 и 1982 годов. Их вдохновителем был теперешний главный редактор либеральной «Культуры» (недавно стыдливо отказавшейся от определения «Советская») Альберт Беляев. В 70—80-е годы он занимал ключевую должность заместителя заведующего отделом культуры ЦК КПСС.

«...Русская партия подвергалась нескончаемым ударам», — отмечено в книге «Новый русский национализм». Данлоп рассматривает выступления «Нашего современника», вызвавшие, по его мнению, особую ярость коммунистических властей. «Едва прикрытое осуждение интервенции в Афганистан», — характеризует исследователь статью С. Семанова в седьмом номере за 1981 год. «Стрелы Кожинова были нацелены не в татаро-монголов, а в андроповцев, которые начали серьезно претендовать на власть» (эта тема выделена в многоплановой статье В. Кожинова). Американский советолог перечисляет и другие запретные темы, затронутые авторами журнала: сохранение окружающей среды и русских исторических памятников; спасение этнических русских от алкоголизма и

от развала семьи; необходимость восстановления животворных нравов и обычаев крестьянской России. Особо отмечены публикации, подчеркивающие «традиционные исторические связи России с православным христианством».

Два взгляда на журнал — идеологов ЦК и независимого ученого. Ознакомившись с ними, нельзя не признать, что журнал играл исключительную роль в общественной борьбе первой половины восьмидесятых годов.

Книга Данлопа вышла на заре перестройки, и в ней содержатся благоприятные для «русских националистов» прогнозы. Однако советская действительность способна преподнести сюрпризы даже заокеанским специалистам.

В середине 1985 года обновленная редакция теоретического органа партии журнала «Коммунист» опубликовала статью, которая была воспринята как выражение нового курса издания (а во многом и курса ЦК). Она написана в непривычной для идеологов аппарата раскованной манере, пересыпана ссылками на труды западных историков. Тем отчетливее выделяются на этом фоне ссылки иного рода. Автор напоминает о постановлении ЦК 1982 года, о статье «Против антиисторизма» и грозно отмечает: «Отход от исторической правды, вплоть до проявлений вопиющего антиисторизма, увы, не редкость. В печати уже критиковались работы, в которых содержались неточные, ошибочные суждения о характере русского самодержавия... Бывают случаи, когда не просто некритически воспринимаются, но и более того, превозносятся консервативные традиции в развитии русской общественной мысли, а революционно-демократическая традиция объявляется западнической» («Коммунист», 1985, № 14).

Спасительным ориентиром объявлен «принцип партийности, предполагающий четкость социально-классовых критериев в отношении к прошлому».

Не спешите, позевывая, перелистнуть страницу. Понимаю — нет мочи глотать прокисшее идеологическое пойло. Но не помешает знать имя автора. Юрий Афанасьев. Работающий ныне штатным обличителем коммунистической доктрины.

Впрочем, кого сегодня удивишь подобными разоблачениями. Я читал текст приветственной телеграммы Б. Ельцина по случаю 75-летия Л. Брежнева. Перед его словесной вязью меркнут славословия Коротича в тот же адрес! Но я не собираюсь публиковать «компромат». Неинтересно.

А вот явление, открывающееся при изучении истории «Нашего современника», его травли партийной элитой, действительно заслуживает внимания. Дело не в самом по себе (как бы это помягче сказать?) плавающем менталитете: вчера убежденный ленинец, сегодня — «Ленина из мавзолея», завтра скажет то, чего потребует конъюнктура. Хотя такое поведение выразительно характеризует человека. Важнее то, что, как бы ни меняли позицию эти люди каким бы господам ни служили, объект ненависти, по сути, неизменен. Патриотизм. Русский патриотизм.

Психология таких людей — явление интереснейшее, столь же уникальное, как их групповая спайка, сохраняющая ряды неизменными, несмотря ни на какие катаклизмы. Заметьте, далеко не все партийные сановники сумели втиснуться в заветный круг. Большинство оказалось отторгнуто во «тьму внешнюю», где сегодня «стон и скрежет зубов». Зато оставленные в «стае» пользуются еще большими привилегиями, чем прежде. Неизменчивая благосклонность генерального, а власть колоссальных сумм подкрепляет, делает незыблемым их положение.

А. Салуцкий в блестящей работе «Кочующая номенклатура» («Наш современник», 1991, № 8,) очертил контуры этого явления. Он выделил одну из доминант, которая как магнит собирает участников номенклатурной «стаи». Жажда власти и привилегий. Обратим внимание на другую эмоциональную доминанту — ненависть к народу, за счет которого приобретаются власть, привилегии, а теперь и деньги. К народу и его голосу, к совести его — лучшим и честнейшим писателям России.

Против кого заострена статья Ю. Афанасьева в «Коммунисте»? — Против патриотов. Первое же обвинение — в адрес В. Белова: «Антиисторизм... начинается уже с самого названия, — пишет он о «Ладе», опубликованном в «Нашем современнике». — Когда и где существовал такой лад?» И дальше — прописи из школы политграмоты о борьбе в деревне, о необходимости классового подхода.

Ныне борцы с «антиисторизмом» атакуют писателя с иных позиций: не порвал с компартией. Но обвиняют его же! Любопытно и то, что опорные понятия остались те же, несмотря на «смену вех». Главное оружие в руках Ю. Афанасьева — сотрудника «Коммуниста» — обвинение в «консерватизме». И вновь им пользуется Ю. Афанасьев-антикоммунист. А. Яковлев уже четверть века оперирует словами «человечность и свобода». В 72-м году они отождествлялись с революционным насилием: «справного мужика» — порушить. Сегодня свобода по А. Яковлеву — в отказе от революционных теорий. Совершенно очевидно, что коренной смысл высоких понятий цинично выхолащивается. Остается привлекательная оболочка, словесный штамп, пропагандистский стереотип. Слова, исполненные смысла и благородства, используются не для того, чтобы пробудить человеческую мысль, — чтобы оболванить. Замечу: опыт агитпропа и «Коммуниста» здесь весьма кстати.

Врагам «Нашего современника» все равно, с каких позиций сокрушать его — с классовых или с общечеловеческих. Еще совсем недавно либеральная газета, возглавляемая ныне уже знакомым зам. завом, не упускала случая обвинить журнал и его автора В. Солоухина в клевете на Ленина. Эти обвинения, как и статья Ю. Афанасьева, как будто не вписывались в атмосферу перестройки, но всё отходит на второй план, когда появляется возможность натравить на патриотов партийный аппарат. Теперь же вчерашние идеологи ЦК обвиняют «Наш современник» в прокоммунистической ориентации.

Отвечать на подобные декларации нелепо. Но полезно глубже разобраться в уже отчасти названных причинах стойкой, изворотливой ненависти. Это прояснит смысл и пафос нашей борьбы.

...За что? Такой вопрос я задавал десять лет назад, когда на моих глазах снимали Ю. Селезнева. Не просто снимали — обрекали на гибель. Прирожденный боец оставался без войска, повисал в пустоте. Он приходил в редакции — и в коридорах закрывались двери. Его статьи месяцами лежали в столах: не возвращали и не печатали. Через два года Селезнева не стало. Инфаркт разорвал это гордое сердце.

За что? — думаю я, вновь перечитывая протокол № 30 и стенограмму заседания правления Союза писателей РСФСР от 7 декабря 1981 года. От отдела культуры ЦК присутствовали сам А. Беляев и неизменный С. Потемкин. Они молчали. Все, что требовалось, было сказано до заседания. Литературному начальству и тем немногим строптивцам, что могли внести смуту в хорошо продуманный сценарий судилища. Как рассказывал Селезнев, писательница А. Коптяева пришла на заседание, заранее объявив, что она защитит журнал. Беляев попросил ее выйти в другую комнату. Вернувшись, писательница предпочла не открывать рта.

Говорили другие — кому было назначено. О стиле можно судить по заявлению одного очень «независимого» поэта: «Актерствуют ребята! Самопупством занимаются. Свое некое раздражение публикуют при помощи некоторой безответственной части журнала». Другой поэт советовал Б. Крупину учиться показывать правду жизни у бескомпромиссного секретаря ЦК Г. Алиева. Маститый литературный функционер патетически восклицал: «Убей меня бог, но я никак не могу понять, как можно было подписать этот номер к печати, — не могу! Для этого нужно быть или колоссальным глупцом, или сумасшедшим... И если уж ее печатать (повесть Крупина. — А. К.), так сделать хотя бы макияж».

Не называю имен. Говорившие были марионетками в руках тех, кто молчал. Респектабельными, порою красноречивыми, хотя чаще, как видим, косноязычными марионетками.

Но чем пышнее распускались цветы красноречия, тем явственнее становилось чувство какой-то неловкости. Обличали, высмеивали под одобрительными взглядами «товарищей из ЦК». Однако за что поносили, похоже, и сами не очень понимали.

Да, в журнале «не умели» «наводить макияж» на произведения, где сказалась горькая правда жизни. Но ведь не 37-й, не 47-й год стоял на дворе, — и 1981-му коммунистическое общество научилось безболезненно воспринимать небольшие порции художественной и публицистической правды. «Никто же не думал, что эта вещь вызовет такую реакцию», — бесхитростно высказался в «Сорзковом дне» П. Проскурин. Единственный, кто осмелился тогда открыто защитить Селезнева. Не думали, а — вызвала. И теперь попросту не знали, что думать. Предписано было критиковать рецензию С. Семанова (на предписание или, говоря на жаргоне номенклатуры, на «мнение» ЦК выступавшие ссылались не раз). Но повода, формальной зацепки отыскать не могли (на самом деле власти включили С. Семанова в проскрипционный список, чтобы отомстить за другую рецензию, опубликованную в июльском номере, ту самую, где было «едва прикрытое осуждение интервенции в Афганистан»). И вот кое-кто из выступавших, раскритиковав, как и полагалось, повесть Крупина и статью Кожинова, решался, хотя бы по поводу семановской рецензии, высказать робкое недоумение: «У меня не вызвало мысли (как обходятся с русским языком литературные генералы! — А. К.), что он пытается обелить или высветлить те имена, которые давно «почиют на свалках истории».

Развернувшаяся газетная кампания против журнала тоже не прояснила вопроса — за что его прорабатывают. В «Правде» появилась статья профессора В. Кулешова, с казенной назидательностью озаглавленная «Точность критериев» (1.02.1982). Мишенью избрана работа В. Кожинова «И назовет меня всяк сущий в ней язык...». «Главные положения он берет у Достоевского, — в стиле классического доноса сообщает Кулешов, — «русская душа», «гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вмещать в себя идею всечеловеческого единения». Как будто здесь, в этих «главных положениях», трудно найти «криминал». Однако профессор спешил уличить Достоевского в неверной методологической базе (еще бы — марксистом не был!), в том, что он будто бы усматривал в «смирении» основную предпосылку осуществления всечеловеческой миссии русского народа.

Обвинения откровенно нелепые. Всем известно, что фраза из пушкинской речи Достоевского: «Смирись, гордый человек» — на нее упирала «Правда» — обращена вовсе не к народу, а к байроническому герою, дворянину-интеллигенту. Главное же — в статье Кожинова ни о каком смирении речи не шло! Столь же нелепы противоречащие друг другу обвинения в русском мессионизме и недооценке героических страниц русской истории. Конечно, возразить «Правде» в те годы было невозможно, но выходила какая-то форменная ерунда!

И немудрено: говорили об одном, подразумевали другое. Вяло обличали Достоевского, толковали о «гордом человеке», а в умах стучало совсем иное: Польша! Кризис в Польше! И вовсе не «гордый человек» из пушкинских «Цыган» рисовался в растревоженном воображении аппаратчиков — куда более реальный и близкий, с обвисшими усами и прямым независимым взглядом. Механик из Гданьска, уже успевший стать лидером «Солидарности» и основным конкурентом коммунистических властителей ПНР.

Лех Валенса (тогда еще не увязший в

коварных политических играх) стремительно поднимался на волне религиозных и национальных чувств поляков. Впереди маячил и вовсе ужасный призрак — крах партийной диктатуры.

Официальная Москва извлекла уроки из польского кризиса. ЦК КПСС судорожно стремился предотвратить подобное развитие событий в СССР. Поэтому всякое проявление национального чувства рассматривалось как посягательство на основы основ, на монополию партии.

«Наш современник» оказался подозреваемым номер один. Он честно говорил об истории Отечества, о сохранении среды обитания, о здоровье нации, о сохранении ее самобытной культуры. Понятия «русская судьба», «душа народа» обретали в его публикациях глубокий, волнующий смысл.

Журнал буквально раскрывал людям глаза, показывая им вместо куцего отрезка в семь десятилетий тысячелетний путь, пройденный их предками. Он переворачивал душу, обращая ее к свету, озарявшему святыни отечественной культуры. Он помогал человеку понять себя, почувствовать себя не Иваном, не помнящим родства, — сыном великого народа. Увидеть в тех, кто живет рядом, не просто соседей и современников — соотечественников, родных по духу людей.

Я говорю это не потому, что давно сотрудничаю в журнале. Я сотрудничаю в нем потому, что однажды услышал этот волнующий зов родного характера, русской судьбы. Это случилось в начале семидесятых, когда я увидел фильм «Калина красная» (киноповесть В. Шукшина, как и почти все его лучшие работы, впервые опубликована в «Нашем современнике»).

Признаюсь, на фильм меня затащили почти силком. Как и многие молодые филологи моего поколения, я не знал современного русского искусства. Зачитывался Сартром, Камю, Ионеско, Джойсом, Кафкой — всем джентльменским набором советской интеллигенции. Впрочем, не только ими — русской классикой. Но с брезгливостью отодвигал книги современных писателей. Я судил о них по выступлениям литературных функционеров, бесстыдно прислуживавших коммунистическим властям. По хвалебным рецензиям, печатавшимся в «Литгазете». По статьям, где «ангажированность» провозглашалась высшей добродетелью и приравнивалась к таланту. Знал — такие авторы творчески бесплодны. Я и не подозревал, что на страницы печати порою удается пробиться совсем другой литературе, подлинно художественной и национальной.

Едва увидев на экране лицо Шукшина, исполнявшего роль Егора Прокудина, я испытал колоссальное потрясение. Я увидел русского человека. Не того плакатного героя, которого мне пытались всучить в качестве идеала. Человека, которого я прежде встречал только на страницах классики — у Пушкина, Толстого, Достоевского. Лицо, опечаленное и облагороженное думой, страстным стремлением «переменить судьбу» (тут сразу приходило на ум выражение Достоевского). И я ощутил, как в моей душе поднимается горячая волна сочувствия к этому живому человеку.

Я смотрел, как он двигается по экрану, как гладит березки, как бьется в рыданиях на забытой могиле, как улыбается Любе Байкаловой, и ощущал подлинность каждого жеста, каждого движения мускулов на этом удивительном лице. И тут же спрашивал себя: откуда это ощущение подлинности, эта твердая уверенность в том, что все должно быть так, как получалось у человека на экране, а не иначе. Гениальная игра? Безусловно. Но было еще что-то, лежащее в основе актерской (и режиссерской, и писательской) гениальности. Национальное чувство.

Я понял это тогда же, в темном переполненном зале кинотеатра на Арбатской. Я почувствовал всем существом — передо мною соотечественник, мой брат. И я потому ощущаю подлинность каждого его жеста и фразы, что это мой жест и мое слово.

Потом я узнал, что схожее чувство испытали миллионы людей во всех уголках Союза. Колхозники, моряки, ученые, монтеры, посмотрев «Калину красную», открывали для себя русскую душу. Они обретали брата и, найдя его, обнаруживали в себе те же родовые черты. Быть может, миллионы людей, посмотрев фильм Шукшина, впервые задумались, что они русские. Не все потом потянулись к шукшинской прозе (хотя томики «Бесед при ясной луне» я видел у колхозников, не имевших никаких других книг). И, конечно, далеко не каждый обращался к журналу, опубликовавшему киноповесть. Но для меня лицо Шукшина на долгие годы стало лицом «Нашего современника».

Василий Шукшин пришел в журнал в начале семидесятых, после разгрома «Нового мира». О драматических перипетиях травли и отставки Твардовского написано немало. Часть авторов (И. Виноградов и особенно А. Буртин, не игравший, кстати, сколько-нибудь заметной роли при Твардовском) пытались обвинить в происшедшем патриотические силы. В ходе полемики В. Кожинов, называя конкретные публикации и рассматривая соотношение сил в партийном аппарате, убедительно показал — Твардовский стал жертвой чиновников высшего ранга. Что же касается отношений «Нового мира» с патриотической прессой, В. Кожинов первым обратил внимание на парадоксальный, казалось бы, факт — основные новомировские авторы после отставки Твардовского перешли не куда-нибудь, а в журнал «Наш современник». Критик рассматривает список имен, приводимый в воспоминаниях И. Виноградова, и отмечает: из 22 писателей 11 — «то есть ровно половина, в семидесятых годах стали (как это ни противоречит сегодняшним крикливым «разоблачениям»!) ведущими авторами «Нашего современника».

Добавлю — неверно полагать, что журнал просто перенял у «Нового мира» роль органа духовной оппозиции. В уже цитировавшейся статье Кожинов выявил противоречивость курса журнала Твардовского, где наряду с Солженицыным, Шукшиным, Беловым печатался, к примеру, дежурный литературный проработчик Дымшиц. Если вдуматься, позиция «Нового мира» и не могла быть однородной. Во второй половине шестидесятых в него устремились «дети XX партсъезда». «Усыновленные» системой при Хрущеве, после его смещения они были отторгнуты ею. В журнале смешалось три потока — приверженцы системы, разочаровавшиеся в ней (из них в семидесятые формировалось советское диссидентство), литературные чиновники, готовые цинично прислуживать любой власти, и писатели «деревенской» школы (к ним, по его собственному признанию, наиболее близок А. Солженицын).

Приход группы «деревенщиков» в «Наш современник» не был вынужденным или эксцентричным шагом. То был результат сознательного и, как показали последующие годы, плодотворного выбора. Патриотическое движение, не без труда пробивавшееся в разнородном по составу журнале Твардовского, в «Нашем современнике» обретало собственное русло. Точнее, возвращалось в основное русло русского духовного сопротивления тоталитаризму.

С момента зарождения русское сопротивление было глубоко национальным. Противоборство с коммунизмом велось во имя возрождения России. Не буду здесь говорить о противоборстве вооруженном, о Белой армии, сражавшейся под девизом «единой и неделимой России». Разговор о борьбе в сфере духа. Уже в 1917 году ее цель сформулировал выдающийся мыслитель отец Павел Флоренский: «...После краха всей этой мерзости сердца и умы не по-прежнему с оглядкой, а наголодавшись, обратятся к русской идее, к идее России, к Святой Руси...» Повторяю из статьи в статью эту формулу, ибо в ней наиболее афористично выражена суть русского нравственного сопротивления.

У каждого отечественного мыслителя, писателя, художника, не смирившегося с утратой свободы, с потерей России, можно найти подобные высказывания. Процитирую слова отца Сергия Булгакова: «Россия греховная, обезбоженная, растленная найдет в себе силы для вопля благоразумного разбойника в последний час истории, ибо она все-таки остается страной святых чудес. Здесь сверкнет белый луч Мирового Преображения».

Этой надеждой жило несколько поколений русских людей. Все духовное развитие устремлялось к этой цели — начиная со сборника «Из глубины» 1918 года (откуда взяты слова С. Булгакова) до сборника «Из-под глыб» (1974), последней вершины русского самиздата.

В семидесятые годы идея национального возрождения прорывается на страницы легальной прессы. Журналу «Наш современник» выпала честь стать основным ее выразителем. Кстати, не случайно, как только легально выходящие издания получили возможность публиковать «запрещенных» до этого авторов, в «Нашем современнике» появились ключевые работы ведущих авторов «Из-под глыб» А. Солженицына и И. Шафаревича и статьи участников «Вече» В. Осипова и М. Антонова. Произошло знаменательное воссоединение двух насильственно разорванных потоков патриотической мысли.

Теперь мы можем на новом уровне осмыслить противостояние партийного аппарата и движения русского национального возрождения. Здесь проявилась не только стойкость подвижников, с одной стороны, и злая воля людей, рвущихся к привилегиям за счет народа, с другой. Столкнулись две изначально взаимоисключающие жизненные установки.

Когда Федорчук провозглашал русский национализм «главным противником» коммунистической власти, он констатировал реалии, существовавшие все семь десятилетий. Одержав победу в гражданской войне, большевики немедленно объявили русский народ «бывшей великодержавной нацией» и потребовали — цитирую выступление Н. Бухарина на XII съезде РКП(б) в 1923 году — поставить его в «неравное положение... более низкое по сравнению с другими». И ни разу за все последующие годы (кроме краткого критического периода в ходе Великой Отечественной войны) они даже не пытались сделать вид, что идут на примирение, на компромисс, на признание прав самого многочисленного народа из тех, которыми управляли. Само название, данное ими стране — Советская Россия, было образовано по тому же принципу, что и названия колоний: Бельгийское Конго, Британская Гвиана, Голландская Вест-Индия (заметьте — из всех республик СССР только Россия удостоилась такой «чести»).

Пытаясь найти объяснение этому явлению, можно сослаться на то, что заряд русофобии заложен в марксистскую доктрину ее основоположниками. Еще в 1848 году Маркс и Энгельс провозгласили: «... Ненависть к русским (не к России, что еще можно было бы как-то понять, истолковать в плане политического единоборства держав, — а именно к русским, нации! — А. К.) была и продолжает быть у немцев их первой революционной страстью». Тогда же они выдвинули тезис о том, что существуют не только «реакционные классы», но и «реакционные нации» (любопытно, что недавно за него ухватилась Н. Андреева, тут же объявленная журналистами «русской националисткой»; невежество обоюдное — несомненно, «основоположники» считали именно русских «реакционной нацией», подлежащей уничтожению).

Отношение коммунистов к России можно попытаться осмыслить и в контексте той борьбы, которую определенные политические и национальные группы на протяжении XX века ведут против всех крупных наций.

Не оспаривая этих теорий, добавил бы к ним и свою. Я исхожу из особенностей русского духа, позволивших П. Чаадаеву предрекать нашему народу роль «совестного суда» Европы и всего мира (кстати, эти и созвучные им слова Белинского и Достоевского цитировал В. Кожинов в статье «И назовет меня всяк сущий в ней язык»).

Подобное представление может показаться проявлением национального самомнения. Но вот исторические факты. Россия как полноправная держава выходит на мировую арену со второй половины XVIII века (до этого она преимущественно защищала свои рубежи). И сразу же выступает в роли гаранта прав слабых государств и народов. Такую позицию заняла Россия в ходе войны Англии против восставших североамериканских колоний (США своим возникновением во многом обязаны доктрине «вооруженного нейтралитета», провозглашенной Екатериной II). На Балканах Россия не раз спасала христианские народы Османской империи от полного уничтожения. И внесла решающий вклад в обретение независимости Греции, Болгарии, Румынии, Черногории, Сербии. Да и в крупнейших европейских войнах России нечего было делить ни с Наполеоном, ни с кайзером Вильгельмом. Ничего, кроме правды. И — немыслимое дело в мировой политике — она вступала в смертельную схватку, руководствуясь не корыстью, но чувством справедливости.

Другой ряд фактов — политические теории, утверждающие господство одной части общества за счет подавления другой,— неизменно заострены против России. Высказывания «классиков марксизма» я цитировал. Поразительно, но автор прямо противоположной теории, призывавший к верховодству элитарного слоя над «массами», испанский философ Ортега-и-Гассет видел в самом существовании России препятствие для воплощения своих воззрений в жизнь!

Россия, как и предсказывал Чаадаев, не раз играла роль европейского «совестного суда». Была хранительницей некоего нравственного абсолюта. Деятельной и бескорыстной.

На мой взгляд, можно говорить о нравственной несовместимости России, русского духа и коммунизма. Сразу же возразят: а как объяснить существование «первого в мире социалистического государства»? Семь с половиной десятилетий «советской» власти? Насаждение коммунизма в Восточной Европе и по всему свету? Отвечу: для того, чтобы подавить реакцию отторжения, карательный аппарат, созданный новой властью в первые же дни ее существования, уничтожил десятки миллионов людей. Лучшую, наиболее деятельную часть нации. Ту, что хранила нравственные устои народа — крестьянство и интеллигенцию. (Другое дело, что поначалу народ принял коммунизм за нечто иное, знакомое по традиции деревенской общины, родное, прямо противоположное по своему нравственному содержанию реальному коммунизму.)

И все-таки русская идея возродилась. И тут же была воспринята как угроза коммунистической идеологии. Вот чем объясняется нескончаемые преследования «русской партии». Гонения на журнал «Наш современник». Устранение Ю. Селезнева. Травля В. Шукшина.

Как бы ни были тяжелы удары, наносимые партаппаратом, независимые исследователи, следившие за этой схваткой, предрекали победу не всевластным партийным структурам — национальным силам. С каждым годом становилось все более очевидным: искалеченный, но не убитый народный организм перемалывает казавшиеся несокрушимыми устои чуждой идеологии. И придет день, когда они осядут в прах. Восторжествует русский национализм. В этом сходились почти все советологи — одни считая такое развитие благоприятным (тот же Данлоп), другие — страшась и ненавидя (А. Янов).

Почему же многочисленные прогнозы опытных исследователей оказались ошибочными? Что произошло в середине восьмидесятых? Поделюсь своими соображениями.

Увидев, что победа ускользает, партийная элита попыталась в последний раз перехватить инициативу. Это можно было сделать лишь за счет отказа от наиболее окостенелых идеологических догм, от самых заметных и потому особенно ненавидимых населением привилегий. От старых установок и старых сотрудников, намозоливших всем глаза и к тому же не способных понять необходимость радикальных перемен. ЦК решился сам отдать часть своей пошатнувшейся власти. Жертва фигуры с выигрышем инициативы — так называется этот ход. М. Горбачев со всех трибун декларировал идеи «перестройки» и «гласности».

Но «перестройка» на шаг опережала «гласность». И за время, необходимое, чтобы сделать этот шаг, аппарат перегруппировывал силы, прежде всего в органах пропаганды. Контроль над ключевыми средствами массовой информации распределялся стремительно возвышенным А. Яковлевым.

Одновременно вели работу с оппозицией. Поддерживали, выдвигали на первый план группы, казавшиеся менее опасными. Конечно, эта закулисная деятельность немного бы дала, если бы не своевременное подключение пропагандистской машины. К 1987 году все было готово для начала широкомасштабной пропагандистской кампании. Вся мощь информационного оружия (крупные ежедневные газеты, телевидение, радио) сосредоточилась в нужных руках. И тогда этот колоссальный механизм был приведен в действие. Отныне «гласность» наращивали бешеными темпами, а «перестройку» начали притормаживать.

В мгновение ока диссиденты, которых еще Федорчук не считал серьезными противниками, были представлены как ведущая сила оппозиции. Им предоставляли трибуну на телевидении и в прессе. Их славословили в бесчисленных публикациях. Самого знаменитого из них, академика Сахарова, провозгласили совестью нации (усердные газетчики никак не могли отойти от въевшегося в мозги «ум, честь, совесть эпохи»).

Рассчитывая заполучить союзника идеологического, власти активно наводили мосты и в другой сфере. Поспешно легализовывали теневую экономику. Собирали в кулак свои еще не утратившие дееспособность структуры, моральный авторитет диссидентов, власть прессы и безграничные возможности вышедших из подполья финансовых воротил. Концентрация мощи призвана была исключить возможность ответных акций.

И вся эта команда собиралась против «русской партии»? Не только. Против не связанных с нею прочными организационными узами, зато внушительных по численности тылов. Данлоп накануне перестройки подсчитал: 14,7 миллиона человек объединяет Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, 37 миллионов — Всероссийское общество охраны природы. Такими мощными резервами не располагала в 1985 году ни одна другая политическая сила!

Беда в том, что и «русская партия» тоже, в сущности, ими не располагала. Сама лишенная жестких структур, личной дружбой и единомыслием объединившая писателей, ученых-экологов, историков, журналистов-патриотов, она не в состоянии была координировать собственные акции, а тем более действия многомиллионных организаций.

Не допустить объединения в несокрушимый монолит, истончить и разорвать существующие связи, исключить возможность возникновения новых, разделить и распылить стихийно складывавшееся народное единство — вот какая задача стояла перед силами антинациональной «коалиции». И, конечно, лишить народ центров, вокруг которых можно объединиться.

Удар нанесли всеми средствами. Пользуясь административной властью, отобрали наиболее популярные издания, передав своим людям (история с журналом «Огонек»), редакторов других запугали. Одновременно за счет создания прессы большого бизнеса обеспечили подавляющее превосходство над патриотами в важнейшей сфере пропаганды.

Те, кого ни снять, ни запугать не удавалось, подвергались яростной травле. Чем нелепее обвинения, тем вернее они шли в ход: бороться с нелепой ложью труднее, чем с обыкновенной. Газеты на полном серьезе обвиняли В. Распутина в попытках организовать «русский Сумгаит».

Других патриотических лидеров стремились нейтрализовать, задвинув в тень. Об Игоре Шафаревиче, чье имя вместе с именем Андрея Сахарова было символом интеллектуального сопротивления тоталитаризму, до публикации «Русофобии» в «Нашем современнике» (№№ 6 и 11, 1989) не писали ни слова. Александра Солженицына напечатали позже всех, кто жил в эмиграции. В перестроечной прессе раздавались призывы не открывать ему дорогу в Россию, ибо его патриотизм схож с патриотизмом «Памяти».

Ну и, конечно, грандиозная операция с самой «Памятью» — наверное, самая масштабная со времен операции «Трест». В печати стало общим местом утверждение, что эта организация пользуется поддержкой КГБ. Журналисты забывали сказать, зачем — если их версия верна — она понадобилась этому ведомству.

А ведь газетчики, очень похоже, сами активно участвовали в игре. Родившаяся на волне патриотического подъема, «Память» объединила честных, простых, не искушенных в аппаратных каверзах людей. В середине восьмидесятых организацию возглавили новые лидеры, и внезапно — безвестная до тех пор — она оказалась в центре внимания прессы.

Была подготовлена своеобразная презентация: партийный вождь Москвы Борис Ельцин встретился с представителями «Памяти». На следующий день о ней узнали не только во всех уголках Союза, но и в Америке, и в Европе. Ее сделали символом русского национального движения. Организаторы кампании добились того, что не Солженицын и не Распутин, а лидеры «Памяти» получили возможность на свой лад формулировать идеи русского возрождения.

И тут началось самое печальное. В 1989 году из Баку пришли леденящие кровь известия о русских погромах. Спустя несколько месяцев началось избиение русских жителей Душанбе. «Память» молчала. В 1989 году журнал «Октябрь» опубликовал повесть В. Гроссмана, где втаптывалась в грязь национальная честь России. Ни одного пикета «Памяти» у редакции журнала, бросившего вызов народу. В 1990 году силы молдавского МВД ворвались в город Дубоссары, с преимущественно «русскоязычным» населением, и устроили кровавую бойню. Тогда же в центре молдавской столицы был убит русский юноша только за то, что говорил на родном языке. Ни митинга, ни пикетов «Памяти» у представительства Молдовы в Москве.

Зато всякий раз, перед тем как органы пропаганды начинали новый виток травли патриотических сил, члены «Памяти» появлялись перед заранее приготовленными телекамерами в черных рубахах и с крикливыми лозунгами. Европа содрогалась от демонстрации «русского фашизма и антисемитизма». В Москве и Ленинграде доверчивые обыватели месяцами тряслись от страха, ожидая погромов.

Операция «Память» — вершина информационного иллюзионизма. Это сокрушительнее вина, страшнее наркотиков. Массовый гипноз, осуществленный средствами информации. Ничего подобного не было со времен Геббельса и сталинских кампаний по разоблачению «врагов народа».

В результате массированного промывания мозгов основной соперник партаппарата накануне своего неизбежного, казалось, торжества был повержен. Вымазан в грязи. Сделан смешным и отвратительным. Отныне всякое слово о России и ее нуждах, о боли ее сыновей в Прибалтике, Молдове, Закавказье, Средней Азии встречало одну реакцию: «Вы что же, из «Памяти»?» Теперь достаточно было написать на предвыборном плакате: «Кандидат «Памяти», — и знаменитый художник Илья Глазунов, чьи выставки собирали миллионы почитателей, проигрывал никому не известному кандидату.

Одновременно переписывалась история недавней общественной борьбы. Привычное дело в стране, где прошлое — заложник очередного властителя. Протоколы допросов «русских националистов», постановления ЦК, ломавшие судьбы писате-

лей-патриотов, — все эти впитавшие человеческую боль и кровь страницы были объявлены чистым листом, на котором бесстыдные журналистские перья выводили новые письмена, с выгодой для хозяев перекраивая былое.

Борцы с системой нарекались ее друзьями, «враг номер один» представлялся союзником аппарата. Фактов не было — изворотливости сколько угодно. Бессильные записать нас по ведомству коммунистов, наши противники воскресили забытое словосочетание «национал-большевизм». Сделали термином, символом, жупелом.

И вот расползается по редакциям: «национал-большевизм, национал-большевизм...» И люди глотают наживку, потрясают кулаками. А задумывался ли кто-нибудь, что это такое? Как, где, когда произошло противоестественное совокупление?

В попытке придать термину научную солидность израильский публицист М. Агурский исследовал историю его возникновения. Исписал 300 страниц и издал книжку «Идеология национал-большевизма» (Париж, 1980). Что же выяснилось? Национал-большевизм возник в 1918 году в Германии и на краткое время определил политическую линию одной гамбургской коммунистической организации. И все — ушел в песок, ибо всякое сочетание интернациональной идеологии с национальной мыслью вынужденно, противоестественно и недолговечно.

Но Агурскому (и не ему одному!) очень хочется обнаружить явление в Советской России. А как это сделать, если ни в РКП(б), ни в КПСС никогда не существовало фракций, ставивших на первое место национальные идеалы (они были в республиканских филиалах КПСС, но это не годилось для обвинения русских в национал-большевизме). Не найти ни одного партийного документа, имевшего национальный характер. И даже одного-единственного аппаратчика-русака, убежденного националиста, назвать невозможно (всякие отсылки к Суслову и Полянскому, основаны на предположениях, не подкреплены фактами).

Агурскому приходится пробовать на роль «национал-большевиков» не только Сталина (его часто изображают в этой роли), но и Троцкого, и Радека. Эффект можно было бы назвать комическим, если бы в этих упражнениях не проступал элемент кощунства. Не проступала бы кровь казачества, поголовно вырезавшегося по приказу Троцкого, кровь крестьян, затопившая раскулаченные подворья на юге и спецпоселения на севере России.

Скажут: раскулачивали всех. Но если в этом массовом геноциде не удается обнаружить особой, направленной на одну какую-то нацию ненависти, как находят в нем особую любовь к русским, русский «национал-большевизм»? Ах, просто берут несколько фраз из парадных речей. Тогда почему бы не взять слова о советском гуманизме, о счастье народов под водительством партии? Где причина верить одним декларациям и не верить другим?

Затруднившись сформировать «славную когорту» внутри партии, Агурский прибегает к другому приему: обнаруживает массу беспартийных «национал-большевиков». Критерий прост — верность России, несмотря на господство в ней коммунистов. «Волошин готов был разделить с Россией судьбу, какой бы она ни была» (многозначительно выделено автором. — А. К.). Если же кто-то недвусмысленно отмежевывался от большевиков, но все-таки сохранял верность России, его тоже причисляли к «когорте» — «вопреки ему», но в соответствии с некой двигавшей им логикой. О Блоке говорится: «Ясно, что, приняв точку зрения Блока в принципе, легко было считать, вопреки ему, что революция была все же успешной, а тем самым сугубо национальной».

Такая терминологическая эквилибристика позволила бы при желании записать в «национал-большевики» императора-мученика. Ясно, что беспристрастный научный поиск отодвигается здесь на задний план, уступая место полемике с «русским национализмом». При этом Агурский не договаривает то, что прямо высказывают критики национализма немецкого. А именно — всякий, кто решился разделить судьбу Родины, «какой бы она ни была», кто не эмигрировал и не ушел в подполье, должен быть объявлен соучастником тоталитарной власти. Если высказать этот упрек вслух, все встает на свои места, и эквилибристика становится ненужной. Каждый из 150 миллионов русских обвиняется в «национал-большевизме».

Не буду спорить с такой концепцией коллективной вины, так как мне пришлось бы рассматривать не текст книги Агурского, а подтекст. Что же касается собственно текста, он научно некорректен.

Куда оправданнее было бы говорить о том, что патриотическая печать предоставляет свои страницы коммунистам. Но как раз этого никто из наших критиков говорить не хочет. Еще бы, «демократическая» пресса даст здесь сотни очков форы «националистам». У них каждую неделю то Горбачев, то кто-нибудь из Яковлевых, то, на худой конец, один из Медведевых, а у нашего журнала за последние шесть лет — Б. Гидаспов и А. Сергеев. Других мы не звали, и они сами не шли. Не удивительно, если вспомнить постановления ЦК и выступления «Коммуниста» и «Правды» по поводу нашего журнала. Опубликоваться у нас означало автоматически попасть под подозрение у партийных функционеров.

А Гидаспова и Сергеева мы пригласили потому, что считали необходимым дать слово партийной оппозиции, во многом выражавшей мнение низового звена КПСС. Мы выбрали Сергеева за то именно, за что на последнем съезде его не хотел выбирать Горбачев в ЦК. Дважды, ставя список кандидатов в ЦК на голосование, генсек пропускал его фамилию, внесенную по настоянию ленинградских рабочих. И только язвительные выкрики с мест, занятых ленинградской делегацией, заставили Горбачева произнести фамилию А. Сергеева.

Б. Гидаспов выступил в журнале после памятного митинга на Дворцовой площади, выразившего недовольство рабочих низов, начавших тогда еще смутно понимать, что верхи их обманывают. Да, потом партийный босс Ленинграда предал тех, кто вышел на площадь. Но в начале 1990-го был шанс на зарождение нового движения за права народа, за социальную справедливость. И мы хотели, мы должны были помочь этой зарождавшейся инициативе.

Вот и все. Больше никаких партийцев на наших страницах. Да и нас не приглашали в партийную прессу. Даже «Московские новости» изредка давали слово, но только не цековская «Правда».

Никакого сотрудничества с партаппаратом не было. Что не означает, что у нас не было ошибок. Но я не отнесу к ним нашу сдержанность в общей кампании нападок на партию в тот момент, когда она была повержена своими недавними союзниками. Мы видели новые препятствия на пути, открывавшемся перед страной. Новую пропасть, может быть, страшнее, чем коммунистическое семидесятилетие, оставшееся за спиной.

Об одном я жалею и упрекаю себя в том, что мы не мобилизовали всех сил на преодоление новой опасности. Говорили намеками, а следовало кричать в полный голос. О предательстве верхов государства, о власти мафии, о господстве тех, кому не дорога наша земля и чужд ее народ.

К несчастью, мы зачастую не соответствовали масштабу задачи. Это был поединок Света и Тьмы, а мы увязали в полемике журналов, в битве цитат. Мы с большим опозданием — только с приходом в журнал С. Куняева — мобилизовали духовные резервы нации — мыслителей и писателей прошлого. А до этого битву за сердца и умы читателей у нас выигрывали, публикуя русских авторов — Платонова, Розанова, С. Булгакова.

Журнал недостаточно последовательно отстаивал русский путь — третий путь, о котором теперь прекрасно написал Ю. Бородай («Наш современник», 1991, № 9). Не было сказано с исчерпывающей ясностью (а только она необходима!) — мы против капитализации не потому, что выступаем за социализм, а потому, что боремся за выживание России. Мы против директивного роспуска колхозов не потому, что забыли величественную поэму, посвященную свободному крестьянству — «Лад» В. Белова, опубликованную у нас в журнале, а потому, что сегодня, оставшись без колхозов, страна умрет с голода. Мы не поддерживаем немедленную приватизацию не потому, что не желаем появления новых Рябушинских и Морозовых, а потому, что видим: заводы, магазины, жилье в нынешних условиях попадут не к сметливому русскому предпринимателю, а к мафиози из цитрусовых республик.

И последнее. Мы не осмыслили толком собственное (коллектива журнала) противоборство с системой. Только теперь я пытаюсь сделать это. Не говорю уж об осмыслении семидесятилетнего противоборства «русского национализма» и коммунистической доктрины.

...У нас украли победу. Победу в противостоянии, стоившем народу по крайней мере 60 миллионов жизней. Последний маневр партаппарата удался, хотя система не смогла воспользоваться им. У издыхающего организма хватило изворотливости, коварства и яда, но не достало жизненных сил. Лишь нескольким правителям удалось перескочить с тонущего партийного корабля на роскошный лайнер новой буржуазной «демократии».

Победили те, кто приходит на поле после боя. Мародеры, не тратившие сил на схватку, не подставлявшие тело под удары, а потому преисполненные энергии и бодрости. Они подняли наше знамя и потащили его на всероссийское торжище, где продается страна. Они присвоили прекрасное имя — Россия. Позаимствовали идею ее суверенитета. Десять лет «выбивали» мы русское телевидение — они воспользовались плодами наших усилий.

Но худшее не это. Оказавшийся в их руках суверенитет не прибавил русским ни свободы, ни денег. Обнищание продолжается. Уже встает вопрос о физическом выживании народа. А «российские» печать и телевидение не только не защищают население, — откровенно глумятся над болями и надеждами людей. Горе побежденным и тем, кто мог победить. За ними идут мародеры.



Обзор почты

«ПОБЕДА! КОГО ПОБЕДИЛИ?»

Канул в Лету год 1991. Перестройкв Горбачева. объявленная нвшему государству не на жизнь, а на смерть,— закончилась. Последние месяцы года, завершившегося раскройкой великой страны и трагической перекройкой миллионов человеческих судеб, принесли и соответствующие письма. Не стану лукавить — целый ряд прежних читателей «НС» отказались от журнала по двум вроде бы взаимоисключающим причинам: «антикоммунизм» и «антидемократизм» «НС». Вот такой парадокс. Причем демократические убеждения отказавшихся от подписки выражаются порою весьма своеобразно. Так, в ряде анонимных писем содержались, например, горячие пожелания отправить нас «всех на лесоповал». Потеря таких вертухаистых подписчиков, конечно, не может вызвать сожаление.

Истинное же беспокойство внушали сообщения, подобные нижецитируемому: «Мои знакомые опасаются подписываться — списки-то на почте есть! А по ним... Но я подпишусь, если не разгонят редакцию» И далее В. Волков из г. Воронежа продолжает: «Торжество «демократов» — пир во время чумы! События пойдут вскачь, и нет ориентиров на ближайшую перспективу. Держитесь! Ваше время еще не пришло, но они долго не продержатся. Кто придет? — Не знаю. Но успели вы многое, честь вам и хвала. Вы работали на будущее. Позвольте совет: присматривайтесь к Ельцину. Он готов продать Россию, но демократов продаст еще дешевле. Только чуть ветер переменится...»

Отмечу, что «отречение» от «НС» у многих читателей связано напрямую с личностью Б. Ельцина, чья деятельность на посту главы РСФСР неоднократно критически оценивалась нашими авторами. И основной пафос «отрекшихся» можно — с известной долей гротеска — представить филиппикой москвича П. А. Васильева: «Вы обливаете грязью нашего русского национального героя, которого еще при жизни его уже произвели в святые. Наш мученик, отказавшийся от всех привилегий, вам ненавистен. Как это понимать? Значит, вы сами замаскированные евреи».

А вот более расширенный перечень причин и лиц, заставивших другого читателя невзлюбить «НС»: «В № 6 прочитали «И бездны мрачной на краю...» Ерёмина. Все ему плохо, все не так. И Горбачев плох, и Ельцин такой-разэтакий, и Шеварднадзе — негодник, и Яковлев — неугодник... ему и Россию подавай, а не РСФСР, то есть со всеми входящими государствами... Это вы хотите разжечь гражданскую войну, а не демократы... А письма Турецкого, Сорокина, так называемого рабочего Титова, Кривоноса, Никитской? Вы что же, считаете, что если в Прибалтике есть русские, то надо «бросать» туда Армию? Да русские живут во всех странах мира! И что же? Объявлять войну всем, где притесняют русских?» (Н. М. Колыбердин, г. Луганск). В каких публикациях «НС» Колыбердин обнаружил призывы бросать Армию в бывшие республики нашей преступно погубленной страны — неизвестно. Зато хорошо известно, что те же США, на которые молятся нынешние «демократы», никогда своих не бросали — в какой бы точке земного шара и в каком бы числе своих ни шла речь.

Один из самых последних примеров — переворот на Гаити. США направляют в этот регион 500 морских пехотинцев, транспортные вертолеты, в гаитянских водах задействовано около 20 военных кораблей. И все это для того, чтобы не только не допустить возможных кровавых эксцессов, но и просто ущемления гражданских прав 7 тысяч американцев. Русских же, оставшихся после перестройки фактически и юридически без родины, десятки миллионов. И, честно говоря, трудно взять в толк, почему русские люди столь убийственно пренебрежительны к своим соплеменникам, оказавшимся против (!) собственной воли в «иных странах».

Вот, скажем, 7В-летний инвалид войны, как он себя аттестует, Л. Засорин (г. Волков, Ленинградская обл.) пытается представить наших читателей из республик чуть ли не подставными лицами: «...пишут не от себя, а от тех, кому это нужно, выгодно, чтоб очернить нашего всенародного избранника Ельцина, Силаева, Хасбулатова». Что ж, вот еще одно «подставное лицо»: «Боже, какое глубокое, низвергающее отчаяние сразило мою душу. «Кончилась Расея» — вспомнились слова, сказанные смоленским крестьянином в 1812 г. в «Войне и мире»... Нет у меня Родины. Ни чувством, ни сердцем, ни разумом не воспринимаю это суверенное образование. Как не стала для меня родиной та земля, на которой родился и рос. Кончилось славянское единство, миллионы россиян оказываются расколотыми по территориям, составлявшим единое целое. Коммунисты оставили после себя лишь только нарезанные по-живому территории. Вольно или невольно удар приняли здоровые русские силы, ибо народ у нас соединил «черную жабу с белой розой». Затопчат сейчас нашу белую розу... У нас в городе под шумок вместе с Ульяновым сняли пушку, воздвигнутую нашими предками, эту бесхитростную память о погибших товарищах. И никто — ни мы, молодые, ни один офицер, русский офицер! — не встал на защиту. Мне стыдно и больно» (В. Малаш, Литва, 25 авг.).

Стыдно и больно... Эти чувства овладевают многими, кто пытается хотя бы задуматься о том, что произошло со страной. Стыдно и больно... Но не всем, конечно же, не всем. Вот, например, колхозник А. С. Онянов из Томской области, совершенно непостижимым образом усмотревший в статье В. Еремина апологию коммунистической власти, «пылает праведным гневом» и прямо-таки по-смердяковски провозглашает: «Да! Пусть нас оккупируют США, я только рад буду такой оккупации... На худой конец пусть все к черту летит, лишь бы не было над нами вашей власти».

Отмечу, что большинство читателей-демократов обрушилось именно на статью В. Еремина, статью А. Салуцкого «Кочующая номенклатура» (№ 8), статьи А. Казинцева «Обиралы и ротозеи», «Общество, лишенное воли» (№№ 7, 9), обзор писем в № 8 и на читателей, чьи письма были опубликованы. Но неизмеримо большее число писем пришло в поддержку. «Не зная состояние дел журнала после августа с. г., считаю своим долгом уведомить: выписывал и буду выписывать ваш журнал до тех пор, пока он будет продолжать свой курс в отношении родного Отечества и народа... Но если вас заставят замолчать и уйти, то знайте: ваша работа за последние годы неоценима» (Б. И. Широков, Московская обл.); «Боюсь, что после августовских событий на вас обрушится настоящий террор заклятых друзей. Если сменят руководство журнала или вынудят резко изменить направленность публикаций, для меня это будет большой потерей, и не только для меня. ...Надеюсь на вашу стойкость и мужество» (С. Критский, г. Санкт-Петербург); «А. Яковлев по российскому ТВ (24.08.91) заявил, что патриотические издания, в том числе журнал «Наш современник», осуществляли идеологическую подготовку переворота. По существу, это сигнал к атаке на патриотические издания. В этих условиях я считаю своим долгом заявить, что поддерживаю позицию вашего журнала. Пожалуйста, не отступайте, будьте такими же честными и смелыми» (Н. Бугреев, инженер, 33 года, Московская обл.).

И все же основной, так сказать, блок писем — это оценка так называемого «путча» и его последствий. Просматривая почту, я не раз вспоминала слова В. Жириновского о том, что если бы был объявлен тайный референдум о поддержке ГКЧП, то процентов 70 он бы получил. Вероятно, те самые 70%, которые высказались за сохранение Родины на референдуме 17 марта и чья воля была напрочь проигнорирована власть предержащими.

Российский август 1991 г.— это, хотим мы того или нет,— отныне поле деятельности историков, и не сегодняшних. И даже если к моменту выхода в свет этого номера журнала состоится суд над «путчистами» и даже если он будет открытым, те и тогда — уверена — вопросов будет больше, чем ответов, ответов перед лицом Истории и Народа.

(Отмечу в скобках, что декабрьско-январский военный переворот в Тбилиси со всей очевидностью продемонстрировал, что значит настоящий путч — сотни убитых и раненых, сгоревшие дома, разрушенные кварталы, волна мародерства и т. д. и — как результат — взятие власти неправительственными, внезаконными структурами. Но что характерно: «демократические» силы не спешат осуждать истинных путчистов, хотя всем ясно, что с точки зрения закона, пра́ва — а ведь именно антиконституционность действий вменялась в вину гэкачепистам — оба события одного порядка.)

Тщательно просматривая газеты, внимательно знакомясь с сообщениями иных средств массовой информации, можно прийти к единственному выводу: истина или хотя бы правда о свершившемся будет достоянием следующих поколений. Нашим же «достоянием», помимо всего прочего, с самого начала являлась откровенная ложь, полуправда, снова ложь, но более правдоподобная, и так до бесконечности. Приведу всего два примера. В первые же дни «недоворота» (по меткому народному слову) президент РСФСР объявил о том, что ГКЧП заказал на Псковском заводе 250 000 наручников и что имеются секретные списки на расстрел (!!!) ведущих демократов. Прямо скажу, что когда услышала это — не поверила. Но ведь миллионы поверили и... осатанели, и озверели (о чем свидетельствует ряд полученных писем), совершенно искренние и справедливые в гневе своем. Проходит некоторое время, и мы узнаем, что наручники были заказаны МВД давным-давно, и не для демократов, а для уголовников; что так называемые списки на расстрел — фальшивка, что вообще все это — нелепость. Но сделано главное — раскручена спираль противостояния, подогрета взаимная, мягко говоря, неприязнь, торжествует «баррикадное» сознание.

Уверена, почти уверена, что президент РСФСР ни при чем. Как говорится, он был дезинформирован, но — как бы то ни было — он обязан отвечать перед народом за все свои слова и призывы. Как должен был бы (NB! В правовом государстве) отвечать и другой лидер за свои кровожадные вердикты. Когда глава российского правительства требует — до суда, до какого-либо разбирательства! — смертной казни, то остается только справлять панихиду по правовому государству. Прочитав в «Огоньке» это «пожелание» Силаева, я, скажем так, не поняла его как государственного мужа, как главу правительства; я могла бы понять обычного человека, рядового обывателя, испытавшего животный страх и готового, когда трясущий страх развеялся, уничтожить того, кто заставил его так перепугаться. Но здесь-то вроде другой случай?!

Еще пример: в первые же дни «недоворота» имя генерала А. Лебедя не

сходило с уст москвичей, радио- и тележурналистов. Генерала представляли то самоубийцей, то геройским мятежником, перешедшим на сторону Ельцина. Без конца говорилось о десятке его танков, вставших — супротив воли «путчистов» — на защиту «Белого дома». Мифы творились прямо на глазах. Между тем, как выяснилось, генерал Лебедь поставил свои бронемашины 19 августа возле «Белого дома», в точности исходя из полученного задания и следуя приказу маршала Язова (охрана здания Верховного Совета РСФСР). Язов вызвал Лебедя к себе 20 августа, чтобы еще раз подтвердить приказ на охрану. Генерал Лебедь встречался и с Б. Ельциным и получил от него «добро» на выполнение той же самой задачи, которую ставил и маршал Язов: не допустить провокаций и кровопролития. Вот так: задачи общие, а результаты...

И примеров подобного августовского мифотворчества — тьмы, тьмы и тьмы. Впрочем, что сейчас и на таком мизерном клочке журнальной площади пытаться что-то сопоставлять и анализировать. Следует предоставить слово нашим читателям, тем, кто в первые же дни «путча» и в первые же дни после него обозначил свою позицию, выразил свои взгляды, либо дал свою гипотезу происшедшего.

«Я никак не верю в серьезность намерений этого «переворота», так как здесь многое не стыкуется, особенно его концовка. Либо его делали интеллигенты в белых перчатках, либо его делали люди, для которых догма XX века — право и закон — дороже великой страны. По-моему, ни первое, ни второе здесь не подходит, а поэтому сей «переворот» — это дьявольская провокация Горбачева. «Переворот» нужен был Ельцину и просто необходим Горбачеву, как спасательный круг. Цена перестройки оказалась непомерно высокой, и ее потери уже невосполнимы, поэтому Горбачев уже играл ва-банк» (А. Ляшенков, Луганская обл., 23 авг.); «...истинно горбачевская нерешительность его недавних коллег и соратников вызывалась желанием капитал приобрести и невинность соблюсти, что годится лишь для дворцовых интрижек. А зубоскальство по этому поводу демократических шутников, советующих пригласить для консультаций Пиночета,— верх идиотизма. При широкомасштабном серьезном заговоре «чилийского образца» ВС РСФСР превратился бы в филиал бойни, Горбачев кормил бы черноморских крабов... К тому же у Пиночета не болела голова за экономику, завтрашний день в дипломатии и внешней торговле, ибо его с самого начала поддерживали США» (С. Поздняков, г. Севастополь); «В стране совершен государственный переворот. В итоге преступного заговора демократов существующий режим свергнут и власть захватила буржуазия. А Верховный Совет и Чрезвычайный Съезд, как зачарованные, потеряли способность к элементарной логике» (В. Вашкевич, г. Рига); «О событиях 19—21 августа узнала не сразу, так как радио и ТВ почти перестала слушать и смотреть: то реклама того, чего нет, то Курков, то очередное интервью с проституткой или политическим авантюристом. Позже я заплакала: мне стало страшно за людей, пытающихся противостоять развалу государства. Действия комитета ЧП развязали языки и руки сотоварищам по власти, кои направили сильнейшие удары как раз по тем силам, что противостояли их разнузданному цинизму и лицемерию... по всей стране понеслись доносы. Местная газета у нас изощренно выискивала врагов — и нашла: главного редактора и корреспондента, то есть своих сотрудников. Показателен такой факт: в выходной я на балконе мыла окна, на соседнем балконе шел разговор молодых людей в поддержку комитета ЧП. Я не удержалась и выглянула — на их лицах был испуг сильнейший, они сразу ушли с балкона. И этот страх уже вползает в души людей, мы стали бояться говорить о том, о чем думаем... Очень трудно противостоять этой лавине лжи и цинизма, прикрытого такими словами, как Россия, свобода и пр.» (Т. Ревяко, г. Череповец); «При прочтении обращений к народу 19 августа видно, что те В «заговорщиков» имели благие цели, но их добрые намерения вели в ад... С точки зрения не политики, где все дозволено, а общечеловеческой морали, действия ГКЧП честнее, чем ползучая контрреволюция средств массовой информации, их идеологов в лице бывших членов Политбюро, ЦК. По сути, ГКЧП пытался предотвратить государственный переворот, скрытую смену общественного строя, а их неудачу сразу использовали «демократы», осуществив свой контрпереворот» (Л. Шибанов, г. Москва); «...А как народ у нас радовался, когда Горбачева сместили (мы думали, всерьез). Незнакомые люди приветствовали друг друга с победой «хунты». Но победила настоящая хунта, от победы которой все в отчаянии... Теперь я все надежды возлагаю на то, что на Украине придут к власти националисты. Ведь не могут же националисты продать свою родину хаммерам, как это сделали в России космополиты. Россия просто разгромлена» (Фильчаков, Донецкая обл., 25 авг.) *; «Я буду долго помнить те дни августа 1991 г. Мы сидели и слушали радио — как понятно и близко было каждое слово в быстро забытом и проклинаемом ныне Обращении к нашему народу. Да, многое оставалось неясным, чувствовалась растерянность, но никогда, по-моему, не было столько собранности, единения и спаянной надежды на лучшее будущее у людей, которые ничего, кроме унижения, страха и усталости, от ЕГО перестройки не получили. Я видел и слышал это везде, и не один раз за три дня. И никакие вопли об угрозе демократии и т. п. не заставят меня поверить в обратное. И не наша вина, что все это оказалось ловко разыгранным спектаклем, вот только кто режиссеры и постановщики? ...И еще: почему москвичи-защитники и вся их шушера присвоили себе право говорить и действовать от имени многомиллионной России? Я не знаю, от кого и зачем они меня там защищали, но в итоге моя Родина унижена и оскорблена как никогда, и Великой России диктуют свою волю именно те люди, у которых нет ни капли русскости, ни намека на наши национальные интересы» (А. Аношин, студент, г. Екатеринбург);

«...Я ведь тоже была за демократию, но зачем мне демократия, если... нет моей Родины, Советского Союза (а это и есть историческая Россия), да и где она сама, эта демократия?.. Помню голоса старых дам после «путча»: «Ах, мы ругали молодежь, а они спасли Россию». Спасли Россию? Да они ее предали вместе со своими вдохновителями. Москва ослепла и оглохла, если она так думает» (Г. Куц, Ростовская обл.); «...И теперь один переворот, вдохнувший слабую надежду, что не все продадут демократы, сменился другим, демократическим переворотом. И нет сил смотреть, как сотни тысяч одураченных простых людей готовы жертвовать собой ради кучки предателей России, как они, как стадо, скандируют: «Ель-цин, Ель-цин!» (В. Никифоров, 32 года, г. Санкт-Петербург); «Трудно определить свое отношение к событиям 19—21 августа. Программа, выдвинутая Комитетом, очень хорошая. Хочется верить, что члены Комитета хотели сделать как лучше, а получилось хуже, чем было. ...Становится страшно за детей наших и внуков. Как они будут жить? Предпринимателями станут единицы, а остальные — кем? Как будем доживать свой век мы, пенсионеры, с нашей мизерной пенсией? Свою боль и обиду можно излить только вашему журналу. Наверное, начнутся гонения и на вас...» (В. Проскурякова, Самарская обл.).

Несколько отвлекаясь от непосредственно «путчевой» темы, приведу строки из письма москвича И. М. Шатилова, которые могут служить своего рода ответом на вопросы, поставленные в вышецитированном письме: «Вот так-то, русичи: снова они облапошили нас. 74 года, сидя на нашем горбу, понукали вперед к «светлому будущему», теперь погнали обратно, к «спасительному рынку». Уготованный для нас опытными и щедро финансируемыми «прорабами» развала «оазис счастья» не за горами: для тех, кто постарше,— бесплатная похлебка по безработице; для молодых — «равные условия» у конвейеров и мусорных ящиков; для дочерей и внучек — «свободная любовь» на панелях и в бардаках; для наших внутренних органов — имплантация в тела зарубежных и доморощенных миллионеров. Зато всюду желанные доллары, марки, франки... Соотечественники! Задумайтесь над всем этим хоть на минутку перед очередной опохмелкой. Может быть, шевельнется в глубине души чувство личного и национального достоинства...»

И снова — о «путче», ибо, как отмечалось, основная масса писем связана с августовскими событиями. «С ужасом и омерзением воспринимаю зловещий спектакль, кульминация которого началась 19 августа,— пишет А. Терентьев из г. Калининграда.— Уже и раньше было ясно, что патриотическое движение России обречено могущественным «альянсом», выступившим в нашей стране в форме совместных действий ретроградного коммунизма, нацбольшевизма и деморадикализма. Неужели снова потребуется 70 лет для понимания происшедшего в последние годы, а особенно в дни 19—21 августа?.. Уже начались публичные и закрытые расследования. Пахнет кровью и откровенной дьявольщиной. Жутко!»; «Не буду выписывать на 92-й год ни одну газету, даже местную, все кочуют в стан демократов... Сколько радости! Победа! Кого победили? Боже мой, сколько лжи, лицемерия, подобострастия, блюдолизы несчастные! Где же нам, простым людям, искать пристанища?! В душе оправдываю действия восьмерки, ведь они хотели нас, дураков, защитить... Стыдно, больно, что глупость торжествует. Сижу четыре дня с отключенным радио и телевизором, не могу слышать эти ненавистные голоса, эти рожи — извините — видеть... Боже мой! Победа! Кого победили? — разруху, хаос? Стариков в каталажку засадили и радуются: внутренний враг не прошел!.. Хочется крикнуть: где же ты, наша Россия?! Отзовись! — Тупое молчание... Отслужили молебен и почитали псалмы об убиенном Борисе (Пуго). Пусть как хотят судят, а мы понимаем событие вот так» (Н. Молодцова, г. Ярославль, 29 авг.); «Вчера покончил с собой маршал Ахромеев. Я рыдаю второй день: повесился (!?) русский офицер, защитник. Вы научили меня любить нашу русскую Армию. Я верю только Армии и русским писателям... Начали транслировать сессию ВС СССР, но их там пока не слышу. Слышу, что опять наши русские люди — «фашисты», «путчисты», «шпана» и т. д. в своей стране» (Н. Н. Иванова, Тюменская обл.). (NB! Шпана — это чудесное определение, данное А. Яковлевым «путчистам», позволяет задаться закономерным вопросом: если в обществе есть политическая шпана, то есть хулиганье, то почему бы не быть в нем профессиональным политическим уголовникам, мастерам своего дела, крутым паханам, в столкновении с которыми дилетанты неизбежно терпят крах?).

И вновь о С. Ф. Ахромееве. Имя этого последнего маршала державы трепали все сторожевые шавки перестройки. На гибель маршала, своего главного советника по обороне, президент СССР не отозвался ни единым словом. Но отозвался офицер нашей Армии, чье сумбурное письмо даже трудно цитировать: чувствуется, что писавший его человек пребывает в состоянии глубочайшего отчаяния: «Я — русский! Этим сказано все. ...Ахромееву — ему легче. Он поступил как человек чести. У меня растут мои «негодяйчики», поэтому я не имею права... Эти «демократы»

* Здесь уместно процитировать письмо И. В. Бондаренко из Запорожской области, которое во многом объясняет столь сокрушительные для страны результаты референдума на Украине: «Вместе с вами я с болью переживаю развал нашего Отечества. Через несколько дней я буду голосовать за «незалежну» Украину и за президента. И несмотря на то, что я против того и другого, я буду голосовать «за». По той же причине, что Россия проголосовала за Ельцина, — против Горбачева. Теперь мы, голосуя против этой пары Горбачев—Ельцин, вынуждены будем голосовать против себя. У нас на Украине «защитников» Белого дома поддержали «бандеровцы» и «руховцы», они же выступают против всяких разговоров с Россией».

завтра предадут. Это спектакль. Они играют на чувствах народа. ...Мне больно сегодня. Один мой товарищ сказал мне: ты офицер. Я — ему: кого защищать? Он говорит: страну. Я ответил, что не знаю, в какой стране живу. Перестроиться не могу, а подстраиваться честь не дает... Я давал Присягу Советскому правительству, Советскому народу, а не конкретным людям...» (Ю. Б. Коногоров, Калининградская обл., 27 авг.).

Отмечу, что перед тем, как процитировать это письмо в печати, я обратилась к его автору с предложением, учитывая открывшуюся «охоту на ведьм», подписать письмо инициалами. И, честно скажу, на меня произвел глубокое впечатление его ответ, полный достоинства и настоящей офицерской чести.

То, что сейчас происходит в стране по отношению к инакомыслящим, опасения по поводу возможной эскалации этих процессов отражены и в письмах читателей.

Так, А. Сорокин из г. Саратова пишет: «...после августовских событий вижу, что наша родина уже летит в пропасть, и толкают ее туда так называемые демократы.

Открылось гонение на инакомыслие. Обращаюсь к вам всем, редакторам и писателям: защитите настоящую демократию, боритесь за соблюдение законов, так как сейчас творят беззаконие». Ветеран Великой Отечественной войны из Приморского края В. А. Богаевский проводит своего рода исторические аналогии: «...немалое число наших сограждан увлекается искариотским промыслом — стуком. Стучат по телефону, письмами, стучат по радио, в газетах, стучат на собраниях и митингах. И требуют расправы. Если в 1917 г. стучали больше дворники и только частично интеллигенты, если в 1937-м стук был «двухупряжный» — дворников и интеллигентов в разной пропорции, то сегодняшний стук стал трудом интеллигентным. Включи ТВ с трансляцией сессий народных депутатов — и какие лица нам продемонстрируют стук! — этакие рондо-каприччиозо на ксилофоне. И клики: «Брависсимо-расправиссимо!»

В связи с вышепроцитированным письмом хочу отметить особо тему стука в писательской среде, благо в редакцию поступило немало писем в поддержку СП РСФСР. Так, например, М. Л. Курганова из Воронежской области прислала в адрес редакции письмо к Борису Ельцину: «Уважаемый Борис Николаевич! Почему при новой демократии так издевательски относятся к настоящим русским писателям?.. Эмигрантов приглашаем, принимаем со всеми почестями, в своим, которые по-настоящему болеют душой за Россию и немало для нее сделали, выходит, нет уже места на своей земле?» (Отмечу в скобках, что когда префект Центрального округа г. Москвы А. Музыкантский, сообразно доносу Е. Евтушенко, взялся опечатывать здание СП РСФСР, на защиту Дома российских писателей встали и демократы, и коммунисты, и монархисты — никто не спорил о политических платформах, не выяснял групповых отношений, ибо новые, «демократические» власти попрали свободу — единую для всех, независимо от идеологических пристрастий.) «Сейчас время великих перемен и предательств,— печально констатирует А. Токунов из г. Донецка.— Перевороты не обошли и Союз писателей. К власти приходит не талант, а нахальство. Вот уже верховодит вылезший из «кучи», с которой «фехтовал», и даже еще не обсохший Евтушенко».

Но еще раз вернемся к «путчу»: «Все, о чем вы предупреждали на страницах своего журнала, в эти дни получает трагическое завершение. Но даже и сейчас народ безмолвствует, так и не осознав весь трагизм уготованной ему судьбы. Весь ужас происходящего я почувствовала в минуту, когда по ЦТ закончилась демонстрация митинга с площади «Свободы». С видом истинного Хозяина на экране появляется «прояпонившийся» Цветов, который с первых же секунд затевает омерзительную политическую склоку, объявив выдающегося писателя России изменником Родины. Ему теперь все дозволено!» (И. Матвеева, г. Екатеринбург). Что же касается темы «хозяев», то в письмах читателей, поддерживающих «НС», наметился небольшой разнобой. Так, скажем, офицер А. С. Студеницкий (Московская обл.) радостно сообщает, что «ультрадемократ Ельцин, ставя на кон свой авторитет, обостряет отношения с республиками, не желая отдавать Украине и Казахстану исконно русские земли», и откровенно недоумевает, «почему умнейшие головы нашего движения не заметили, что российскую Думу отстаивали под нашим трехцветным флагом».

К слову сказать, «пробный шар» территориальных претензий лопнул как мыльный пузырь в первые же дни, чего и следовало ожидать, ибо та политика, которую проводил Борис Ельцин в борьбе за власть с Центром, не предполагала никакого учета национальных геополитических интересов, и даже более того — эти интересы приносились в жертву, так как именно отказ от них служил мощнейшим орудием столь увлекательной борьбы. В этой связи уместно процитировать даже крайние взгляды, резко выраженные, например, в письме рабочего В. Кухврева (г. Череповец): «Ах если бы вместе с возвращением имени Санкт-Петербург поднялся из гроба император Петр I, взял бы в руки стоеросовую дубину, да и принялся охаживать по башкам «белодомовских» сепаратистов-раскольников. Р-раз! — это за Эстляндию. Два! — это за Лифляндию и т. д. И еще! — авансом за Курильские острова. Сердце кровью обливается, когда смотришь на разрушителей тысячелетнего Отечества». А что касается трехцветного флага, то, как сказал русский писатель, похоронить Россию можно и под трехцветным знаменем. В памятные августовские дни Российская товарно-сырьевая биржа под начальством К. Н. Борового выдала «на гора» стометровое трехцветное полотнище, которое таскали взад и вперед по столице довольно продолжительное время «защитники Белого дома», в том числе предприниматели «всех рангов и мастей». И вот в день празднования годовщины учреждения РТСБ проходившего ни много ни мало в Кремлевском Дворце съездов (NB! Весьма примечательно, что в дальнейшем он стал местом грандиозного ханукального торжества), гостей ожидал сюрприз — огромный торт в виде «Белого дома». Не знаю, кому как, но лично мне эта «символика» показалась очень выразительной: сожрут, ей-ей, сожрут с потрохами все это самое законодательно-исполнительное ведомство новоявленные «хозяева». Тем более что, по словам самого Константина Натановича, РТСБ ведет свыше 50% операций, то есть является своего рода монополистом среди нескольких сотен значительно более мелких бирж.

А вот какое мнение о «хозяевах» высказала москвичка Е. Санькина: «Я люблю свою Россию. И всю вашу редакцию. Вы — есть! И есть надежда. Но я ... плачу и плачу потому, что слушаю радио «Эхо Москвы» и одновременно читаю статью Льва Николаевича Гумилева «Князь Святослав Игоревич». И комментировать дальше нечего. Князя Святослава нет, а потомки недобитых им врагов Руси призывают на баррикады защищать Ельцина и посмешище всей страны — российский парламент, которым руководит не Ельцин, а Старовойтова из Лондона...»

Было бы неправильно, если бы я умолчала о тех нескольких письмах, в которых дается нелицеприятная оценка деятельности «НС» именно в связи с «путчем». И хотя таких писем мало, я считаю необходимым процитировать наиболее характерные сочинения: «С 1991 г. журнал становится все более реакционным. Особенно № 8, полученный мною 19 августа. Я убедилась, что вы планомерно и целеустремленно работали на успех переворота, который, к счастью для нашего народа, не удался» (Ариадна Ярошинская, г. Томск). Более «аргументированно» послание семьи Городенцевых из Московской области: «ОТРЕКАЕМСЯ ОТ ВАС!!! Весь мир живет в демократическом обществе, и как живет. Вы что, не бывали за рубежом, не видели, как там живут? Не поняли, что такое ДЕМОКРАТИЯ, что такое права человека? Что вы все орете на каждой странице — «Россию продают демократы». Как же все страны торгуют друг с другом? Отчего Россия до прòклятой Богом революции торговала со всеми странами, и никто не орал о ее «распродаже», колонизации и о всякой другой глупости? Что предлагаете Вы, а ничего. Просто поболтать хочется, да? Или монархии хочется?» В этом письме можно сказать, концентрированно выразились претензии многих «отрекшихся», поэтому позволю себе занять читательское внимание небольшим комментарием. Весьма интересен и показателен вопиющий алогизм, допущенный авторами письма (а это «7 человек, русские, место рождения прадедов, дедов и родителей — Рязань, а то ведь вы не любите евреев»): иронически-пренебрежительный вопрос о монархии и «воспевание» успехов России именно во времена монархического строя. Не менее занятна «апелляция» ко всему миру, который, по мнению этой исконно русской семьи, только и делает, что безудержно процветает. Между тем 75 процентов жителей «всего мира», имея понятие о правах человека и демократии, находятся на грани нищеты. Это объективная реальность, и спорить здесь не о чем, спорить можно лишь о масштабах «распродажи и колонизации» множества стран мира, в кильватер к которым ныне пристраивается бывший СССР. И в нашем журнале, и в прессе (даже демократической) приводилось множество конкретных фактов, примеров и т. п. Ясно, что «торговать со всеми странами» мы ныне можем лишь сырьем, энергоносителями да грошовой рабсилой «исконно русских семей».

О том, каким образом может производиться такая торговля, свидетельствует масса сообщений. Так, например, на Западе подготовлен проект, исходя из которого «Европейская энергетическая хартия» гарантирует равноправное участие ведущих индустриальных держав в освоении нефтегазовых месторождений в нашей стране. Итак, транснациональные компании уже видят себя хозяевами недр Сибири, Дальнего Востока! А что до евреев, которых мы «не любим», то... Во-первых, на страницах «НС» достаточно широко публикуют свои произведения авторы еврейской национальности, как обеспокоенные возможностью превращения нашей страны в «большой Израиль», так и ее оптовой распродажей. Во-вторых, то, что мы действительно «не любим», очень четко отражено во многих письмах читателей, два из которых считаю нужным процитировать:

«Временами меня охватывает гнев на родной мой русский народ, который еще с 1917 года позволяет с собой так поступать. Кто виноват? Все — кто больше, кто меньше, но все: баран-народ и козлы-вожди... Народ-бедолага видит, что жизнь идет как-то не так, но не понимает, в чем дело... И гоняют это беспомощное стадо в любую сторону. С таким стадом можно делать все, что хочешь. Можно баранов резать руками таких же баранов, можно доразваливать экономику, морить голодом, заставить работать на новых господ и т. д. ...Вот и получается, что весь народ, за незначительным исключением,— это скопище придурков, ничего не понимающих и не способных поднять глаза выше корыта; у кого с хряпой, у кого с черной икрой... А начинается все с негодных вождей. К власти приходят те, кто обладает специфическими способностями, проходимцы и ловчилы, мастера политических игр и комбинаций. И когда очередные проходимцы приходят к власти, обнаруживается, что делать государственное созидательное дело они не умеют... И еще: поражает детское шараханье нашей публики, даже образованной, из одной крайности в другую. Сначала, к примеру, все были за коммунизм, теперь все категорически против. До чего же тошно! Сначала все поверили в коммунизм в виде большого корыта с черной икрой, где у каждого есть место и большая ложка. А потом, когда эта сказочка не осуществилась, обиделись и отвернулись. Вот вам и мудрость народная!.. ...Похоже, опять придется ждать, ког-

да появится новый Калита и теми же средневековыми методами сольет силы воедино и избавится от теперешних поработителей. ...Гляжу на русский свой народ и думаю: «Ради кого, собственно, стараться-то? Ради вот этих мурл, искаженных завистью и боязнью упустить свое? Которые расплачиваются сейчас за грехи дедов и отцов, за их глупость, жадность, безнравственность. И творят свои грехи и преступления». Но я — русский, и это мой народ и моя земля, и мы еще поборемся...» (О. Копошилов, Московская обл.); «Для меня ваш журнал что свет в окошке,— пишет 25-летняя Галина Гаврина из Тверской области,— но, в отличие от вас, я не верю в возрождение России. Ее больше нет. Мы, русский народ, ленивый, глупый и самый никчемный. Мы продаем свою землю, детей, веру сначала за «светлое будущее», потом за «цивилизованный западный образ жизни». Нам никому ничего не нужно, только набить живот и поярче напялить шмотки».

Возможно, многим нашим читателям покажутся такие оценки несправедливыми, излишне самокритичными и т. п., но, как говорится, время покажет, ибо, если суждено России вновь воскреснуть из небытия, само это воскрешение опровергнет подобные суждения, эти горькие и — увы — во многом справедливые слова.

И в заключение я приведу выдержки из писем, так или иначе связанных с известным «Словом к народу». «Передайте мои самые дружеские чувства В. Распутину, Ю. Бондареву, А. Проханову,— пишет С. Чайковский из г. Казани.— Слушая по ТВ выступление Г. Бакланова, а перед тем вдову Сахарова, я понял одно — русским писателям нужна моральная поддержка. Меня поразило, с какой циничностью и надрывом говорила вдова о возможности жить где-то в Бостоне, но променявшая рай на нищенскую Москву. Но эта возможность у нее осталась. Нет запрета. И это вдвойне цинично! Пусть-ка она ответит русскому народу, куда может уйти от своего «Берега», «Горячего снега» Ю. Бондарев? Может быть, она знает, каким путем можно переправить в Оклахому Байкал, чтобы там спокойно мог доживать Распутин? У нас, русских, нет вариантов «самоспасения» за фунты и доллары». Из письма М. Г. Красильникова (Белгородская область): «Хочу сказать спасибо писателям, подписавшим «Слово к народу», за мужество и любовь к России. Время покажет вашу правоту. ...С негодованием прочитал в «Комсомольской правде» выступление В. Астафьева по телевидению России. Надо сказать, что в личную честность и порядочность В. Астафьева я верю. Может, перед выступлением ему следовало помолиться, чтобы стряхнуть с себя наваждение бесовских сил. Он называет писателей, подписавших «Слово», советскими барами. Но позвольте, разве лидеры «демократов» бедствовали в эпоху застоя? И все они были коммунистами (отмечу, что среди трех писателей, лишь один коммунист — Ю. Бондарев.— М. Б.) и точно выбрали время, когда можно побросать партбилеты. И это теперь «патриоты» России. Но не странно ли, когда такие «патриоты» разрабатывают планы разделения России, не странно ли, что они полностью игнорируют интересы русского населения в республиках. Помните, еще в «Бесах» Достоевского либералы говорили о «полезности раздробления России по народностям с вольной федеративной связью». Еще Христос сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их».

По плодам их узнаете их... «Плоды» демократических побед так или иначе нашли отражение в настоящем обзоре. Своего рода «подведением итогов» может служить письмо москвича Н. Семина: «Так что же рушим? Или лучше — что воздвигаем в душах наших детей бесконечно повторяемым вопросом: «Где ты был 19—21 августа?» Душок-то от всего этого какой? Не припоминаете? Монополию КПСС — на слом! Трудно спорить с тем, что это необходимо. Вот только чья монополия ее заменяет?.. Очень сомнительно, что материальные и финансовые средства вымирающего гиганта — КПСС — достанутся детям и престарелым: уж больно много в стране демократических сил, а вернее — их организаций, ранее, как известно, нещадно преследовавшихся. Как говорится, «кто был ничем...». Припоминаете? Рушим старый госаппарат? Правильно, ибо приспособлен он был по всей своей сути, да и по форме для служения «руководящей и направляющей». А кто нынче на должностях? В московской милиции — теплофизик, в московском КГБ — просто физик и т. д., и уж несть им числа. Всё, как и раньше, при почившей в бозе коммунистической власти: на ключевые посты — своих, главное, чтоб был «демократ» или на худой конец хороший знакомый Г. Попова. Что там Ленин о кухарках говорил? Припоминаете?»

Конечно, припоминаем, очень даже хорошо припоминаем. Недаром в еще не успевшей толком «обновиться» «Правде» (24.09.91) кандидат исторических наук А. Абрамов ничтоже сумняшеся восторженно провозгласил: «Пройдет некоторое время, и станет ясно, что август 91-го — это продолжение октября 17-го, преданного Сталиным. Если бы Ленин воскрес и увидел баррикады, увидел поднявшийся на борьбу за свободу народ, увидел, что революция снова вышла в локомотивы истории, он встал бы рядом с Ельциным на танке и сказал: «Ты прав, Борис!»

Честное слово, это не из фельетона, а из, так сказать, серьезной статьи... И напрасно автор не подсадил на танк еще и Троцкого — то-то бы старик порадовался: ведь «перманентная революция» — это возлюбленная идея Льва Давидовича. Остается надеяться, что Борис Ельцин отвергнет ревпомощь выдающихся большевиков, ибо задача у президента не разрушать, а строить. Разрушать-то уже нечего.

Марина БЕЛЯНЧИКОВА.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

**При журнале создан Фонд "Наш современник"
для поддержки патриотической прессы
в наши трудные времена**

**Деньги вы можете перечислить на счет МП "Русло":
расчетный счет № 2609704 в коммерческом банке "Пресня Банк"
МФО 201144 – для "Нашего современника".**

• • •

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

**Желающие подписаться на журнал "Наш современник"
могут посылать деньги на подписку на счет МП "Русло"
№ 07005232 в Агропромбанке, г. Москва, через следующие счета:**

в долларах США – 100 долларов за 12 номеров –

Account of Agroindustral Bank, Moscow № i. 227594.001.00 with Credit Lyonnais, New York Branch. 95 Wall Street, New York, N.Y., 10005, USA. Telex: 423494, 82723, 62410.

в марках ФРГ – 170 марок за 12 номеров –

Account of Agroindustrial Bank, Moscow № 1110007630 with Dg Bank (Deutsche Genossenschaftsbank). Am Platz der Republik, D-6000, Frankfurt/M, BRD. Telex: 699796, 699797

• • •